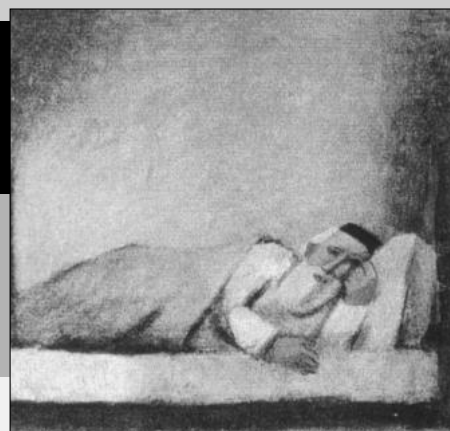


ДЕРИЖАСОВСКАЯ РИШЕЛЬЕВСКАЯ



АЛЬМАНАХ



21

ОДЕССКИЙ

Первая Одесская мастерская бамбуковой мебели в итальянск. и др. стилях

У. Дивизицъ

Прѣдъ-курanty выставляются по вострѣ-бованію



и также имѣется

ГОТОВАЯ МЕБЕЛЬ

Карлскаа, 50, уг. Аччиновск. пр.

Художественная мебель

ОДЕССА, 2005

ББК 84(4Укр-4Оде-2Од)63-47я430+63.3,014(4Укр-4Оде-2Од)63я430
Д 362
УДК 821.161.2'06=161.1(477.74-21)-92(082.1)+908(477.74-21)(09)"452.2"

Д 362 Дерибасовская — Ришельевская: Одесский альманах (сб.) / кн. 21
Всемирн. клуб одесситов: Сост.: Ф.Д. Кохрихт, Е.М. Голубовский,
О.И. Губарь. — Одесса: "ВМВ", 2005. — 340 с.

ISBN 966-8099-99-0

Д 4702640204 + 0503020902
2004 **2004**

Редактор Феликс Кохрихт
Редколлегия: Евгений Голубовский
(заместитель редактора)
Олег Губарь

Редакционный совет:

Виталий Амурский (Париж), Андрей Добролюбский,
Игорь Коваль, Татьяна Липтуга,
Григорий Поженян (Москва), Игорь Померанцев (Прага),
Аркадий Львов (Нью-Йорк), Александр Мардань,
Юрий Стоянов (Санкт-Петербург), Михаил Рашковецкий,
Нелли Харченко (Берлин), Кармелла Цепколенко.

Фото:

Вячеслав Теняков, Иван Череватенко, Олег Владимирский.

Editor Felix Kokhrikht
Editorial board: Yevgeniy Golubovsky (deputy editor)
Oleg Gubar

Editorial council:

Vitaliy Amoursky (Paris), Andrey Dobrolyubskiy,
Igor Koval, Tatyana Liptuga, Gregory Pogenyan (Moscow),
Igor Pomerantsev (Prague), Arkadiy Lvov (New York),
Alexander Mardan, Yuriy Stoyanov (St. Petersburg),
Mikhail Rashkovetsky, Nelly Kharchenko (Berlin),
Karmella Tsepkoленко.

Photos by:

Viacheslav Teniakov, Ivan Cherevatenko, Oleg Vladimirskiy

ISBN 966-8099-99-0

© Авторство художественных текстов, 2005

От редакции

Почта нашего альманаха содержит и отклики читателей на публикации, и воспоминания одесситов, живущих в других странах, и не известные ранее факты из истории, и литературные произведения, которые редколлегия по мере их достоинств и наших возможностей публикует в очередных выпусках.

Сегодня мы предлагаем читателям фрагменты письма, полученного из Вашингтонского университета, но не того, который находится в столице США, а расположенного на крайнем северо-западе, в одноименном штате. Автор — профессор Марк Гальперин — работал в Одесском национальном университете по обмену. Читал курс современной американской литературы, хотя дома преподает русскую. Он переводит Пушкина, Мандельштама, Сосюру... Его сразу же полюбили коллеги, зауважали студенты, он стал своим в кругу наших поэтов и музыкантов. Страстный поклонник джаза, блюзовый гитарист, он мечтал сыграть в джем-сейшне с одесситами, но приболел и был вынужден вернуться раньше срока к Тихому океану... Поклонникам поэзии Марк наверняка запомнился вдохновенным чтением английского перевода отрывка из одесской главы "Евгения Онегина" в Золотом зале Литературного музея.

Вернувшись на родину, Марк Гальперин написал следующее:

"...Я думал об Одессе как о городе моих снов... А в то же время Одесса была городом, где когда-то, давным-давно, учился мой отец.

В доме моего детства мы говорили только по-английски. Но однажды к нам в гости приехала тетя Дуня, и я впервые услышал, как она говорит с отцом по-русски. Может быть, повлияло именно это, может быть, у меня интерес к языку предков был в крови, но, в конце концов, спустя много лет я решил изучить русский язык и побывать в Одессе. И было мне тогда уже 48 лет...

...И вот я в Одессе. Конечно, из фильма "Броненосец Потемкин" я знал о Потемкинской лестнице, но я и не мечтал ранее о тенистых деревьях на Пушкинской, я и представить себе не мог, что увижу виноградные лозы в запястье толщиной, которые поднимаются на два-три этажа, чтобы в зной принести полумрак в квартиры... Мне повезло — я приехал в дни, когда в городе проходил фестиваль памяти великого скрипача Давида Ойстраха. Я побывал на концертах в филармонии. Зал был полон, как и в дни международного джазового фестиваля. В моем любимом Художественном музее я любовался видами Одессы...

Мне было хорошо в Одессе, но я, признаюсь, бывало, скучал по жене и близким, оставшимся в Америке. Чтобы развеяться, я шел на Привоз. Там, среди веселых, энергичных, снующих туда-сюда людей, я набирался сил и бодрости... Сегодня мне так не хватает Одессы..."

А нам не хватает Марка.

Фонд А.Г. Строганова в Научной библиотеке Одесского национального университета им. И.И. Мечникова

История каждой большой библиотеки тесно связана с историей своего города, своей страны. Книжные фонды таких библиотек, как геологические пласты, несут на себе следы прошлых лет. Старейшие библиотеки хранят на своих полках опыт, достижения и ошибки прошлых поколений. Библиотека университета, без которой немыслима учебная и научная жизнь, играет особую роль в формировании культуры города. Мы не умеем в цифрах учесть воздействие библиотек на формирование людей, вышедших из стен университета, тех, кто своими именами прославил нашу Родину. Воздействие это безусловно.

Случайно уцелевшие в нашей библиотеке, одной из старейших библиотек страны, основанной в 1817 году, абонементы, или, как их называли в прошлом, — личные счета профессоров А.О. Ковалевского, И.И. Мечникова, Ф.И. Успенского рассказывают, насколько разносторонни интересы ученых и как широко они черпали знания из собраний университетской библиотеки. Изучение круга чтения помогает понять, как формировалось их мышление, взгляды, идеи.

Научная библиотека хранит на своих полках 4 000 000 книг и журналов. Одной из особенностей нашей библиотеки является наличие в ее составе крупных и уникальных по своему содержанию именных фондов. Это отдельные личные библиотеки, завещанные университету их владельцами или купленные у наследников собирателя. Какова цель создания именных фондов? Опыт показал, что специалист, собирающий книги по той отрасли знаний, которая его интересует, может собрать библиотеку, полнее и разностороннее отражающую любимую этим человеком тему, чем самый опытный библиотекарь. Личные библиотеки своим подбором книг часто характеризуют не только личность собирателя (а это обязательно), ибо можно смело сказать: "Покажи, что и как ты собираешь, я скажу, кто ты", — но и его эпоху. Библиотека вельможи XVIII в. отличается от библиотеки вельможи середины XIX в. не только годами издания книг, но и содержанием и даже внешним видом. С первых дней существо-

вания библиотеки одесского университета установилась традиция дарить библиотеке книги, отдельные оттиски статей, авторами которых являлись преподаватели, сотрудники, выпускники и студенты университета.

Рост общественного веса библиотеки особенно ярко проявляется в том, что число лиц, завещающих ей свои книжные собрания, растет. Книги, подаренные библиотеке, остаются на многие годы лучшим памятником их владельцам, часто более надежным, чем гранитные и мраморные надгробия. Ученые, собиравшие всю жизнь книги по своей специальности, библиофилы, имеющие часто неповторимые коллекции, владельцы родовых библиотек, например, библиотеки Воронцовых, знали, что сокровища, ими собранные, не разбредутся по рукам многих владельцев, а, тщательно хранимые, многие годы будут служить последующим поколениям. Большая часть дарственных поступлений влилась в основной фонд библиотеки, и только записи в инвентарных книгах или экслибрисы владельцев говорят о том, кто передал эти книги. Но некоторые собрания оставлены в том виде, в котором они были у владельцев. Эти собрания и носят название именных фондов. Воронцовская и Строгановская библиотеки, завещанные в XIX в., сохранены, потому что сами эти библиотеки по характеру подбора книг являются историческими памятниками.

Вторым по размеру и ценности (после библиотеки Воронцовых) является фонд Александра Григорьевича Строганова.

История этого собрания мало известна. В некоторых биографиях А.Г. Строганова пишут, что свою библиотеку он пожертвовал Томскому университету ("Громадная его библиотека согласно завещанию досталась Томскому университету" // Русский биографический словарь. СПб., 1909. Т. 17, с. 485). Это не соответствует действительности. Библиотека, пожертвованная Томскому университету в 1877 г., была майоратной (родовой) библиотекой фамилии Строгановых. "Осенью 1875 г. будущий строитель Томского университета профессор В.М. Флоринский случайно встретился в Одессе с проживавшим там А.Г. Строгановым и упросил его передать родовую библиотеку в дар будущему университету Сибири. В беседе с Александром Григорьевичем профессор Флоринский напомнил, "что знаменитый род Строгановых триста лет назад принимал участие в снабжении дружины Ермака материальными средствами и оружием при разгроме Сибирского царства Кучума, поэтому было бы логично, если бы потомки Строгановых помогли России покорить Сибирь духовно через книгу". Графу это польстило, и он дал согласие на передачу родовой библиотеки. Это книжное собрание положило начало книжному фонду

библиотеки Томского университета (Вузовские библиотеки Западносибирской зоны. Опыт работы. Иркутск, 1980. Вып. 8, с. 20-21).

Личная библиотека А.Г. Строганова хранится в Научной библиотеке Одесского национального университета.

Умер А.Г. Строганов в 1891 г. В завещании его среди прочих пунктов имелся и параграф, предусматривающий передачу его личной библиотеки Новороссийскому университету. Библиотека была передана наследниками Строганова и принята по описи представителями университета в 1894 г. (Новороссийский телеграф. 1894, 3 мая, № 61107).

Владелец библиотеки граф Александр Григорьевич Строганов был человеком незаурядным, сложным, как следствие своеобразия его натуры отзывы людей, знавших его, очень разные. Понять, как собиралась библиотека, можно, только ознакомившись с его биографией. Каждый период жизни и деятельности А.Г. Строганова как в зеркале отразился в его библиотеке. А.Г. Строганов происходил из рода "именитых людей Строгановых", игравших большую роль в истории Московского государства.

Достаточно напомнить, что с именем Строгановых связано освоение Приуралья, организация солеварного промысла на Каме. При Елизавете Петровне и Екатерине II Строгановы получили баронские и графские титулы, из их фамилии выдвинулся ряд видных деятелей, они вошли в ряды придворной аристократии и высшего чиновничества (Колмаков Н.М. Дом и фамилия графов Строгановых // Русская старина. 1887. Т. 54, № 3, с. 67).

Александр Григорьевич Строганов родился 31 декабря 1795 г. Отец его, Г.А. Строганов, учился в Швейцарии и Париже, а по возвращении в Россию в 1789 г. работал в Берг-коллегии, был послом в Мадриде (1808-1810), Стокгольме (1812-1816), Турции (1816-1821). Будучи послом в Турции, прославился как защитник ее славянских подданных. Его деятельность по поддержке греческого национально-освободительного движения противоречила взглядам Александра I, и он ушел в отставку, уехал путешествовать и вернулся в Россию только в 1827 г. Был назначен членом Государственного совета, в котором и прослужил до смерти (1857).

Большое влияние на формирование мировоззрения молодого Александра Строганова оказал его дядя Павел Александрович Строганов, человек очень либеральных взглядов для своего положения. Он был членом Якобинского клуба, убежденный сторонник реформ, возглавлял так называемый "негласный комитет", состоявший из "молодых друзей" Александра I, разрабатывавший проекты реформ. (Николай Михайлович, Великий

князь. Граф Павел Александрович Строганов (1774-1817) // Историческое исследование эпохи Александра I. С.Пб., 1903. Т. 1-3.) Воздействие отца и дяди, очевидно, и объясняет ряд действий А.Г. Строганова, находившихся в противоречии с его репутацией реакционера и убежденного монархиста.

О его детстве и воспитании мы никаких данных в доступной нам литературе не обнаружили. Впервые его имя появляется в списке лиц, окончивших "Корпус инженеров путей сообщения, куда он поступил в 1810 г. и окончил его 11 июля 1812 г. в чине прапорщика в 16 лет, и согласно желанию переведен в лейб-гвардии артиллерийскую бригаду". (Список лицам, окончивших курс наук в Институте путей сообщения с 1811 по 1882. С.Пб., 1883/84.) Служа в ней, он участвовал в сражениях под Дрезденом, Кульмом, Гейдельбергом, Лейпцигом в 1813 г. В 1815 г. участвовал в занятии Парижа. С 1831 г. по 1834 г. служил полковником в Польше. В 1834 г. в чине генерал-майора был назначен товарищем министра внутренних дел и одновременно получил почетное звание генерал-адъютанта. С 1836 по 1839 гг. А.Г. Строганов — генерал-губернатор Черниговской, Харьковской и Полтавской губерний. С 1839 г. снова в МВД. В 1841 г. уволен и уезжает во Францию, с 1854 г. снова на службе, назначен военным губернатором Петербурга, с 1855 г. А.Г. Строганов — генерал-губернатор Новороссии и Бессарабии. Благодаря хлопотам Строганова в Петербурге Одесса получила самое демократичное среди городов России городское самоуправление.

Велика заслуга Строганова в организации в Одессе университета. По планам Министерства народного просвещения Новороссийский университет надлежало открыть в Николаеве, так как, по мнению руководителей министерства, университет должен быть в маленьком городе. Строганов, добившийся приема у Александра II, доказал преимущество Одессы, и на основании доклада царь отменил решение Министерства народного просвещения.

11.06.1862 г. в связи с 50-летием государственной службы Одесское городское самоуправление в знак его больших заслуг перед нашим городом преподнесло ему звание первого вечного гражданина г. Одессы. В 1863 г. уволен в отставку. Поселившись в Одессе, он принимает активное участие в общественном управлении города: член Одесской городской Думы. Избран городским головой, но от должности отказался. С 1856 г. по 1877 г. А.Г. Строганов президент Одесского общества истории и древностей (Записки Одесского общества истории и древностей. Одесса, 1893. Т. 16, с. 5-6).

Как уже говорилось, современники в своих отзывах об А.Г. Строганове резко расходились во мнениях. Вот некоторые характеристики этого безусловно неординарного человека: С.М. Соловьев (известный историк), служивший воспитателем детей Строганова, писал: "А.Г. Строганов, бывший министр внутренних дел, принужденный оставить должность по неудовольствию императора, служил страшным примером, какие люди в России в царствование Николая I могли достигнуть высших ступеней служебной лестницы... Александр Григорьевич был честен, неспособен брать взятки, имея ум чрезвычайно поверхностный, мечтал, что обладает способностями государственного человека и не знал границ своей умственной дерзости; с важностью выкладывая какую-нибудь нелепую мысль, и старался ею озадачить..." (Записки С.М. Соловьева. С.Пб., Б. г. с. 66-67).

А вот другая характеристика, автором ее является К.А. Скальковский, долголетний начальник горного департамента, хорошо знавший мир "высшей бюрократии", умный, проницательный человек и бойкий фельетонист: "Граф Строганов был оригинальный тип подлинного ученого самодура-аристократа. Обладая обширными познаниями, особенно по математике, он представлял сочетание редких противоречий: с одной стороны просвещенного администратора, с другой — грубияна". (Скальковский К.А. Из моря житейского. С.Пб., 1906. С. 76.)

Александр Дерибас, бытописатель Одессы, много лет встречавшийся со Строгановым в Обществе истории и древностей в Одессе, пишет: "Вот граф Строганов первый вечный гражданин Одессы... Личность еще мало оценена. О нем рассказывают больше анекдотов нежели правды. Это был человек прямой и несомненно светлого направления". (Дерибас А. Старая Одесса. Одесса, 1913. С. 252.)

Для полноты характеристики Строганова можно привести два его поступка, которые одесситы помнят, несмотря на более чем столетнюю давность событий. Памятник А.С. Пушкину в Одессе был открыт в 1889 г. и сооружен на деньги, собранные гражданами города. Сборщики средств обратились среди прочих к Строганову, но он выгнал их, заявив им, что считает недопустимым устройство памятника А.С. Пушкину, так как тот был автором стихотворения "Кинжал", а кинжальщикам, восхваляющим убийства, он памятников не ставит (Шимановский М.В. Граф А.Г. Строганов и граф М.Д. Толстой о А.С. Пушкине // Из прошлого Одессы. Одесса, 1894. С. 148-151).

Вторым его "оригинальным" поступком было потопление личного архива. Им было заказано 7 дубовых ящиков, куда были сложены бумаги ар-

хива и потоплены в море. (Егоров (Конспаров) А. Из прожитого. Страницы прошлого. Одесса, 1913. Т. 2, с. 141.) Причина такого решения за отсутствием данных в литературе автору неизвестна. Но наряду с вышесказанным есть факты, показывающие Строганова в ином свете. В Одесском областном архиве хранятся аккуратно переплетенные годовые комплекты "Колокола" с экслибрисом Строганова. В интересной статье профессора С.Я. Борового "Колокол" и общественно-политическая жизнь Одессы в годы первой революционной ситуации" приведено немало фактов странного равнодушия и явного нежелания помешать проникновению "Колокола" через одесский порт в Россию, а ведь на страницах "Колокола" генерал-губернатору Новороссии доставалось несколько раз (Революционная ситуация в России в 1859-1861 гг. М., 1974. С. 194-206). Этот странный человек, которому "как-то не повезло в нашей исторической литературе" (Там же, с. 203) завещал Одесскому университету, в создании которого есть и его лепта (Записки императорского Новороссийского университета. 1890. Т. 54, с. 45-69), первоклассную библиотеку: 18891 единицу книг и журналов на русском, французском, польском, немецком, латинском, английском языках (перечислены в порядке количества названий). Основная масса книг на французском и русском языках, их почти поровну. Поражает исключительно малое число книг на английском языке. Тут, очевидно, сказались причуды Строганова, который терпеть не мог англичан, хотя язык знал, так как по воспоминаниям современников еженедельно приходил в Английский клуб и просматривал свежие газеты и журналы, прибывшие из Англии.

Хронологические рамки книжного собрания: издания XVI — второй половины XIX в. Среди редких изданий отметим сочинения Плутарха на французском языке* (Париж, 1572), сочинения Публия Овидия Назона в трех томах (Амстердам, 1676) на латинском языке. Как уже отмечалось выше, каждый период деятельности Строганова отражался на содержании библиотеки. Например, пребывание Строганова в Польше отразилось в виде собрания разных законодательных актов на польском языке: "Статута Великого княжества Литовского" (С.Пб., 1811. Ч. 1-2), "Конституционного устава королевства Польского" (Варшава, 1815). Интересной частью является коллекция польских журналов, в том числе и таких редких, как "Газета Варшавская", "Курьер Польский", "Патриот", "Курьер Варшавский" за 1830-1831 годы.

Военному делу посвящено много книг. Укажем на книги Дениса Да-

* Названия книг и журналов представлены в русском переводе

выдова "Опыт партизанских действий" и очень редкие "Записки Дениса Васильевича Давыдова в России цензурой не пропущенные" (Лондон, 1863). Среди изданий по военной технике нужно отметить книги об устройстве и использовании боевых ракет — предшественников нынешней ракетной техники нашей армии.

Двадцать процентов книг посвящены различным вопросам права. Это собрания законов, указов, инструкций, кодексов на русском и французском языках.

Будучи во Франции, Строганов знакомился с опытом и деятельностью французских местных органов власти и техникой управления. В его коллекции огромная подборка материалов: "Собрание циркуляров и инструкций МВД Франции". По международному праву — небольшое количество названий, среди них 8 книг, посвященных Суэцкому каналу, на одной из них автограф строителя канала Лессепса. Строганова интересовали вопросы деятельности полиции. В числе разной литературы по этой теме есть такие редкие издания не только для отечественных, но и для французских библиотек, как Фромен "Разоблачение полиции" (Париж, 1830). Среди трудов по гражданскому праву привлекает внимание сочинение Александра Дюма (сына) "О разводе". Современный читатель, наверное, не знает, что известный драматург, автор "Дамы с камелиями", был и автором четырехсотстраничного исследования о разводе по французским законам.

Строганов очень внимательно следил за проблемами, связанными с растущей ролью рабочего класса. Он считал, что концентрация большого количества рабочих угрожает безопасности государства.

Большой раздел библиотеки занимают книги по народному образованию в России. Хорошо подобрана тема по истории России. Здесь представлены все крупнейшие историки XIX в. История Украины представлена редкими изданиями на французском языке: Лезюр "История казаков" (Париж, 1814), написанная по указанию Наполеона, Г. Боплан "Описание Украины" (С.Пб., 1832), Ж.Б. Шерер "Анналы Малороссии, или История запорожских и украинских казаков" (Париж, 1788).

Собиратель библиотеки интересовался историей Франции. Среди уникальных изданий есть полный комплект "Официального журнала Парижской коммуны" за все три месяца ее существования.

Почти третья часть Строгановского фонда — это книги по прикладным знаниям. Ведущее место тут занимают книги по медицине. Ожидая, что будет назначен министром внутренних дел, в состав которого входил департамент народного здоровья, он считал, что обязан знать, чем управ-

ляет, и поэтому в возрасте 47 лет поступает на медицинский факультет Сорбонны (в 1842 г.) и в течение трех лет слушает там лекции.

Насколько серьезно собиралась библиотека, видно также из раздела энциклопедий. Очевидно, он широко ими пользовался. Тут представлены как универсальные, так и специальные энциклопедии: первая русская энциклопедия в издании Плюшара "Энциклопедический лексикон" (С.Пб., 1841), французская "Энциклопедия для светских людей" (Париж, 1833-1844), "Словарь медицинских наук" (Париж, 1812-1822).

Раздел художественной литературы характерен для дворянской библиотеки XIX в. Видно, что для собирателя, как и для многих представителей его класса и его эпохи, французский язык был основным языком культурного общения, вероятно, первым языком, на котором его учили читать. Первое место по количеству названий принадлежит французской литературе. Литература других зарубежных народов, включая и античную литературу, имеется в небольшом количестве и почти исключительно во французских переводах.

Литература Франции представлена собраниями сочинений и отдельными изданиями большинства известных в то время писателей, поэтов, драматургов: Бомарше, Руссо, Вольтера, Мармонтеля, Гюго, Беранже, Сент-Бева.

Русская литература по количеству названий идет вслед за французской. Большинство известных при жизни Строганова поэтов, прозаиков, драматургов попали в его библиотеку. Тут представлены поэты XIX в.: Вяземский, Дельвиг, Жуковский, Крылов, Лермонтов, А.К. Толстой. Прижизненные издания А.С. Пушкина ("Братья-разбойники", "Кавказский пленник", "Цыгане"), "Собрание образцовых русских сочинений и переводов в стихах" (С.Пб., 1815-1817), "Пантеон русской поэзии" (С.Пб., 1814-1815). Проза представлена классиками русской литературы в прижизненных изданиях: "Война и мир" (1868-1869) Л.Н. Толстого. И.С. Тургенев только в зарубежных изданиях на русском языке: "Вешние воды" (Лейпциг, 1873), "Дым" (Лейпциг, 1876); "Братья Карамазовы" (С.Пб., 1882), "Подросток" (С.Пб., 1876) Ф.М. Достоевского; "Мелочи архирейской жизни" Лескова (С.Пб., 1879). Привлекает внимание и ныне уже совсем забытая книга, но пользовавшаяся известностью в 70-е годы, "Тайны современного Петербурга": Записки магистра Степана Бова (С.Пб., 1878). Очевидно, владелец внимательно ее читал, так как на полях виднеются карандашные пометки и между страниц сохранились листочки с выписками из книги почерком Строганова.

Высокие административные посты, им занимаемые, практически неограниченные материальные возможности позволили Строганову собрать в своей библиотеке богатейшую коллекцию русской зарубежной подцензурной прессы. Особенно хорошо были представлены издания герценовской Вольной русской типографии.

После поступления Строгановского фонда в библиотеку Одесского (тогда Новороссийского) университета до двадцатых годов им не пользовались.

В 1940 г. из Строгановского фонда были изъяты для кабинета исторической географии 346 карт, атласов, планов, большая часть их погибла во время Великой Отечественной войны при обороне Одессы, так как помещение, где они хранились, сгорело во время артиллерийского обстрела, спасти удалось только 68 наименований, которые в настоящее время входят в состав фонда. Среди них есть очень редкие, как, например: "Чертеж и описание проливов Константинопольскому и Дарданелльскому...", гравин в 1807 г.

В период оккупации Одессы (1941-1944) благодаря героизму группы сотрудников библиотеки (А.Н. Тюнеева, Т.З. Ходжаш, Е.М. Чернецкий, Н.В. Аргиропуло, В.Е. Демяненко) Строгановский фонд был спрятан в подвалах библиотечного здания, и оккупанты не знали о его существовании.

Библиотека вельможи служит народу.



Мирон БЕЛЬСКИЙ

"Бой цветов", "Одесский листок" и Василий Навроцкий

"Из-за чрезмерного любопытства был потерян рай".

Бен Аффа, английская писательница

Каждой эпохе принадлежат свои праздники, забавы и развлечения, которые иногда становятся традиционными, а чаще исчезают вместе с эпохой.

В канун XX века в Одессе проводился "Бой цветов". Естественно, никаких рыцарских поединков между цветами не совершалось. Так кто-то окрестил соревнование между владельцами конных карет, происходившее при большом стечении заинтересованной публики. Потом поменялось время: исчезли в городе лошади, кареты, экипажи, и сам по себе исчез красивый нарядный праздник.



Навроцкий В.В. Шарж М. Линского

К началу проведения сего зрелища на Маразлиевской улице, по четной стороне, где находятся дома, напротив Александровского парка сооружался временный деревянный помост с трибуной для знатных гостей (градоначальник, городская власть и местная знать), среди которых было много прелестных дам в модных нарядах, доверенные судьи или, как сегодня говорят, члены жюри для определения победителей и, конечно, солидный духовой военный оркестр, под бодрые звуки которого происходило представление.

В назначенное время со стороны Бярятинского переулка на Мараз-

Высокие административные посты, им занимаемые, практически неограниченные материальные возможности позволили Строганову собрать в своей библиотеке богатейшую коллекцию русской зарубежной подцензурной прессы. Особенно хорошо были представлены издания герценовской Вольной русской типографии.

После поступления Строгановского фонда в библиотеку Одесского (тогда Новороссийского) университета до двадцатых годов им не пользовались.

В 1940 г. из Строгановского фонда были изъяты для кабинета исторической географии 346 карт, атласов, планов, большая часть их погибла во время Великой Отечественной войны при обороне Одессы, так как помещение, где они хранились, сгорело во время артиллерийского обстрела, спасти удалось только 68 наименований, которые в настоящее время входят в состав фонда. Среди них есть очень редкие, как, например: "Чертеж и описание проливов Константинопольскому и Дарданелльскому...", гравин в 1807 г.

В период оккупации Одессы (1941-1944) благодаря героизму группы сотрудников библиотеки (А.Н. Тюнеева, Т.З. Ходжаш, Е.М. Чернецкий, Н.В. Аргиропуло, В.Е. Демяненко) Строгановский фонд был спрятан в подвалах библиотечного здания, и оккупанты не знали о его существовании.

Библиотека вельможи служит народу.



Мирон БЕЛЬСКИЙ

"Бой цветов", "Одесский листок" и Василий Навроцкий

"Из-за чрезмерного любопытства был потерян рай".

Бен Аффа, английская писательница

Каждой эпохе принадлежат свои праздники, забавы и развлечения, которые иногда становятся традиционными, а чаще исчезают вместе с эпохой.

В канун XX века в Одессе проводился "Бой цветов". Естественно, никаких рыцарских поединков между цветами не совершалось. Так кто-то окрестил соревнование между владельцами конных карет, происходившее при большом стечении заинтересованной публики. Потом поменялось время: исчезли в городе лошади, кареты, экипажи, и сам по себе исчез красивый нарядный праздник.



Навроцкий В.В. Шарж М. Линского

К началу проведения сего зрелища на Маразлиевской улице, по четной стороне, где находятся дома, напротив Александровского парка сооружался временный деревянный помост с трибуной для знатных гостей (градоначальник, городская власть и местная знать), среди которых было много прелестных дам в модных нарядах, доверенные судьи или, как сегодня говорят, члены жюри для определения победителей и, конечно, солидный духовой военный оркестр, под бодрые звуки которого происходило представление.

В назначенное время со стороны Бярятинского переулка на Мараз-

лиевскую улицу начинала медленное движение украшенная цветами колонна частных карет, открытых экипажей, различных колясок, запряженных лошадьми. Каждое из средств передвижения украшалось по вкусу и фантазии владельца.

Внутри кареты обычно находился владелец с домочадцами. Появление очередного экипажа перед трибуной награждалось аплодисментами, возгласами восторга и криками публики. Веселье и хорошее настроение были всеобщими. После окончания своеобразного парада объявлялись и награждались победители. Их фотографировали в экипажах, а снимки помещались в местных газетах.

"Одесский листок" в иллюстрированном приложении к № 112 от 7 июня 1898 года поместил снимки известного фотографа г. Чеховского, очевидно, наиболее удачно-нарядных участников забавного зрелища. Мое внимание привлек нижний снимок листа газеты, где был изображен экипаж редактора-издателя "Одесского листка" В.В. Навроцкого. Экипаж его украсил разнообразными гирляндами цветов садовник Э. Беркмейстер. На сидениях открытого экипажа чинно восседали вместе с В. Навроцким женщина и двое детей. Что за пассажиры? Кто такие? Вопрос вызван не праздным любопытством, ибо мне известно, что темпераментный Василий Васильевич был женат трижды, и две последние жены имели прямое отношение к издаваемой им газете.

Безобидная фотография в иллюстрированном приложении предоставила мне повод, чтобы прикоснуться к некоторым страницам истории газеты, 25-летний юбилей которой хозяин собирался отметить в конце того же 1898 года.

Дело в том, что дата возникновения газеты многими исследователями называется по-разному, ибо сам господин Навроцкий приложил к тому руку, тем самым помогая запутать существо вопроса.

Личность Василия Васильевича Навроцкого (1851-1911) весьма примечательна, а его жизнь, деяния и заслуги перед городом поучительны, достойны всяческого уважения и памяти потомков.

Василий Васильевич происходил из дворян. Родился в Кременчуге, а воспитание получил в полтавской гимназии. Отец был чиновником Кременчугской провиантской комиссии и арендатором земли под Кременчугом, где владел собственным имением. 17-летним юношей Василий Васильевич приехал в имение помогать отцу. Однажды налет крыс на их хлебные поля полностью уничтожил урожай. Отец разорился, а неустроенный юноша отправился в Одессу для приискания какой-либо должности. Там

он поступил в типографию Петра Францова, где исполнял довольно скромную должность экспедитора.

В ноябре 1873 года В. Навроцкий, которому исполнилось 23 года, приобрел у губернского секретаря, редактора-издателя "Новороссийского телеграфа" Александра Серебренникова право на издание газеты "Одесский листок объявлений".

Вокруг известных людей зачастую сложено немало легенд, которые не всегда возможно проверить документально. О том, как В. Навроцкий начинал в приобретенной им газете, я прочитал в некрологе: "В автобиографическом очерке, напечатанном в одном из давнишних номеров "Одесского листка", он сам рассказал, что был рад, когда было получено разрешение". Предприимчивый молодой издатель для открытия своего дела имел в наличии всего пять рублей. Однако он не растерялся и тут же отправился по торговым фирмам за сбором объявлений. В течение нескольких дней удалось собрать 1500 рублей. Сей рассказ звучит как легенда, но с В. Навроцким все могло быть.

Уместно остановиться на хронике жизни "Одесского листка объявлений" и постепенного превращения его в газету "Одесский листок".

В некоторых неофициальных источниках проскальзывают сообщения, что первоначально "Одесский листок объявлений" расклеивался на столбах и заборах. В частности, в очерке "Чудо Одессы" писатель Игнатий Николаевич Потапенко (1856-1929) писал: "Одесский листок объявлений" каждое утро появлялся на заборах и собирал около себя толпы..." О такой особенности газеты можно найти упоминание в "Известиях книжных магазинов товарищества И.О. Вольфа", но оно, очевидно, перепечатано из одесских источников. Об этом, кстати, вспоминает и А. Дерibas в статье "Начало "Одесского листка" (Старая Одесса: Забытые страницы. — Киев. Мистецтво. 2004). Да и само название печатного органа можно трактовать так, что это издание не является газетой, а предназначено для расклейки в виде рекламных объявлений. Чтобы установить истину, пришлось посмотреть де-визо газеты в подшивке ОГНБ с № 1 (редактор-издатель А. Серебренников) и первые номера, изданные В. Навроцким. Оказалось, что газеты имеют текст с обеих сторон страницы, что ставит под сомнение расклейку их на улицах. Нужно заметить, что в то время расклейку объявлений осуществляла специальная артель, имеющая на это свидетельство, а клеить объявления где попало научились уже в наше время.

В жизни каждый решает, когда праздновать свой день рождения, но если подходить к вопросу серьезно, то для установления истины необходимо

прибегать к метрическим книгам. Когда подобный вопрос возникает в организации, печатном органе, то здесь желательно пользоваться специальными свидетельствами, подтверждающими право на начало деятельности.

13 июля 1872 года губернскому секретарю, редактору-издателю местной газеты "Новороссийский телеграф" Александру Серебренникову разрешено было издавать в Одессе с дозволения цензуры под его ответственным редакторством газету "Одесский листок объявлений". Издание должно было выходить два раза в неделю (вторник и пятницу) по строго утвержденной программе: городская жизнь и всякого рода объявления. И ничего больше! Первый номер газеты вышел 2 (14) августа 1872 года. Сразу после появления газет под №№ 1 и 2 редактор получил замечание от цензора за печатание фельетона "чисто литературного содержания", что не соответствовало программе издания.

14 июня 1873 года по просьбе редакции издание было временно приостановлено вследствие "недостатка материала". Очевидно, господин Серебренников, обремененный заботами "Новороссийского телеграфа", не сумел уделить должного внимания молодой газете: объявлений стало маловато, выглядели они довольно бледно, эффект от такой рекламы был ничтожен, и количество рекламодателей резко сократилось. Нужно было "крутиться", как говорят в Одессе, а господин Серебренников сего не умел или не хотел. А ведь в Одессе, городе находчивости и юмора, рекламу делать умели. Оцените соответствующее объявление конца XX века в "Одесских новостях": *"Идеальное слабительное средство "PURGEN". Вкусно. Нежно. Надежно"*.

По существовавшим правилам, если в течение года не появлялся хотя бы один номер издания, то оно автоматически признавалось прекратившим свои действия, и свидетельство на право издания теряло законную силу. За пять месяцев после временного прекращения выхода газеты А. Серебренников, не увидев будущего для "Одесского листка объявлений" и не найдя путей для его спасения, 6 ноября 1873 года передал право на издание дворянину Василию Васильевичу Навроцкому (Свидетельства №№ 6837 и 6838).

С сего момента газета меняет свое лицо, а новый издатель, он же редактор, возвращает ее к жизни. С 23 декабря 1873 года возобновился выход "Одесского листка объявлений", однако В. Навроцкий не пожелал продолжить прежнюю нумерацию вновь выходящей газеты и присвоил ей № 1, тем самым как бы отбросив факт существования газеты до него, т. е. с августа 1872 года. Действия хозяина газеты способствовали в будущем

путанице при изучении сего вопроса. В дальнейшем, отмечая различные юбилейные даты, он считал день рождения газеты — 23 декабря 1873 года. С точки зрения подлинности даты рождения издания это неправильно, но таково было желание владельца...

В последующие годы Василий Васильевич прилагает усилия, чтобы расширить программу издания, и только спустя семь лет ему удается кое-чего добиться: с 1 июля 1880 года газете разрешено печатать правительственные распоряжения, телеграммы из русской и заграничной жизни, внутренние известия из России и коммерческую хронику, а с 11 августа 1860 года газета получает новое название "Одесский листок". Позже были получены разрешения на печатание фотографий и рисунков в газете, ежедневный выход газеты вместо шести раз в неделю и др.

Таковы факты, основанные на документах. Конечно, каждый из исследователей волен считать днем рождения и 1872, и 1873, и 1880 годы, но при этом нужно не забывать, что когда произошло: что "Одесский листок объявлений" родился 2 августа 1872 года (ред.-изд. А. Серебренников), что под началом В. Навроцкого газета начала выходить с 23 декабря 1873 года, а "Одесский листок" родился 11 августа 1880 года, заменив собою "Одесский листок объявлений".

Во избежание новых "открытий" и недоразумений необходимо отметить, что в Одессе позже было несколько попыток издавать газету с названием "Одесский листок объявлений". Например, с 1889 года выпускал газету с подобным названием губернский секретарь Алексей Амуратович Туган-Мирза-Барановский. Через год его газета скончалась. А в июне 1913 года получили свидетельство под № 200 на издание газеты того же названия владелец типографии, жванецкий мещанин Мошко Перцов Гольдгабер и бердичевский мещанин Лейба Уосев Шердер под ответственным редакторством потомственного дворянина Евстафия Петровича Сильвановского. Обе вышеназванные газеты никакого отношения к изданиям В. Навроцкого не имеют.

Небольшая справочная, торговая и биржевая газета в руках Василия Васильевича превратилась в самое большое провинциальное издание. Уже в 1876 году тираж был 3000 экземпляров. Успех издателя был поразительно сказочным. Неутомимый и энергичный владелец развивал и совершенствовал свое дело. Это был прогрессивный печатный орган по типу столичных газет. Она получила название иллюстрированной научной, литературной, общественной и коммерческой, а возглавлял ее человек кипучей энергии и большой практической сметки. Он все силы отдавал

своему детищу, оберегая его от нападков свирепой цензуры, обеспечивая газету средствами и литературными силами. В "Одесском листке" были сгруппированы лучшие силы провинции. По сообщению торгово-библиографического журнала с иллюстрациями товарищества М.О. Вольфа, он первый стал приглашать сотрудничать у себя столичных литераторов и журналистов. Страницы "Одесского листка" украсились известными литературными именами: П.Н. Боборыкин, В.М. Дорошевич, А.И. Амфи-театров, И.Ф. Василевский-Буква, Д.Д. Минаев, В.И. Модестов, Л.Е. Оболенский, Барон Икс (С.Т. Герцо-Виноградский) и мн. др.

Вначале газета была подцензурной, но с 1905 года было разрешено выпускать ее без предварительной цензуры. Благодаря возросшей популярности среди читателей постоянно рос ее тираж. Иногда он был самым высоким среди подобных изданий города. Если в 1887 году газета выходила тиражом 6000 экземпляров, то в 1902 году число это увеличилось в два с половиной раза и составило 15000 экземпляров, а в 1914 году достигло 20000 экземпляров.

Как владелец В. Навроцкий заботился о техническом оснащении своего печатного заведения. В 1896 году в типографии газеты (Ланжероновская, 8) была установлена ротационная машина, приобретенная за 40000 франков у парижского фабриканта. Машина печатала 8000 экземпляров газет в час, с ее помощью "Одесский листок" стал выходить в обновленном виде. Событие сие было отмечено благодарственным молебствованием. В 1907 году была выписана наборная машина берлинской фабрики "Монолеин", которая была способна набрать 9000 букв в час, заменив каторжный труд восьми наборщиков.

Газета приносила владельцу солидную прибыль, что позволило в 1892 году построить собственный дом на Ланжероновской, 8, где помещались редакция, контора и типография. В этом же здании открывается бесплатная читальня для подписчиков газеты и кабинет для чтения. По случаю окончания строительства 26 октября состоялось торжественное освящение дома, на котором присутствовали Маразли, представители власти, печати, артисты и много именитых гостей. По отзывам присутствовавших, кабинеты для чтения хорошо освещены, удобно меблированы и производят прекрасное впечатление. Отметим попутно, что в построенном доме В. Навроцкий устроил электрическое освещение, что было довольно смелым новшеством по тем временам.

Благодаря В. Навроцкому в 1891 году в Одессе появился первый автомобиль: возвращаясь из поездки по Франции, Василий Васильевич при-

вез автомобиль фабрики "Бенц", один из первых экземпляров в последующем знаменитой фирмы. Следует отметить, что это был первый автомобиль в России. В том же 1896 году Василий Навроцкий покупает расположенную у Малого Фонтана дачу тайного советника В.А. Аристов.

В. Навроцкий был весьма видной фигурой одесского общества и общественной жизни города. Он поддерживал все прогрессивные силы и течения. От природы был очень способным человеком, одарен незаурядной энергией, потрясающей работоспособностью, обладал даром инициативы, за что его в шутку называли "одесским американцем". В течение нескольких четырехлетий Василий Васильевич состоял гласным Одесской городской Думы, уполномоченным городского кредитного общества. Когда Дума сделалась черносотенной, он порвал с нею всякие отношения. В. Навроцкий принимал живое участие во многих благотворительных учреждениях: был почетным попечителем в одной из женских гимназий, членом общества литераторов и ученых, членом-учредителем Федоровского общества печатного дела в Одессе, почетным членом общества правильной охоты, попечителем бондарной артели и др.

В то же время Василий Васильевич был известен своею благотворительностью и добротой. В 1898 году, когда отмечался 25-летний юбилей "Одесского листка", на торжественном обеде, где присутствовало 400 сотрудников и различных гостей, он предложил учредить приют для престарелых и неспособных к труду тружеников печатного слова Юга России, без различия национальности, вероисповедания, звания и класса, пожертвовав тут же 3000 рублей. Открытая подписка, предложенная градоначальником Зеленым П.А. среди гостей, дала свыше 8000 рублей. В дальнейшем В. Навроцкому удалось на сие богоугодное дело собрать до 100000 рублей. Убежище для неимущих тружеников свинцовой армии, получившее название имени А.С. Пушкина, было сооружено на 3-ей станции Среднефонтанской дороги; судьба его сложилась не особенно удачно. За собственные средства В. Навроцкий содержал в городе бесплатную столовую для неимущих литераторов и журналистов.

Для полноты оценки современниками личности В. Навроцкого и его газеты не будет лишним привести две небольшие цитаты из воспоминаний бывшего цензора в Одессе Егорова А.Е. (псевдоним — Конспаров):

"Навроцкий начал свою публицистическую карьеру с "Листка объявлений", довел постепенно его до размеров большого органа, насчитывающего, в сравнении с остальными газетами, наибольшее число подписчиков. Такому успеху "Одесский листок" обязан своему патрону, который,

если и пасовал как публицист, то зато по части юркости и находчивости рекламиста не имел себе соперников в одесской прессе. Меняя свое направление "по духу времени и постоянно держа нос по ветру", он умел ловко лавировать на своей утлой ладье"...

6 мая 1911 года Василий Васильевич скончался от аневризма сердца. Работал он до последней минуты своей жизни, не обращая внимания на предупреждения врачей и не принимая пищи в течение нескольких дней. Покойный все свое имущество, дом, дачу и газету завещал жене Софье Матвеевне Навроцкой, которая в дальнейшем продолжила его дело, но это уже другая история, которая выходит за рамки сегоднешнего очерка.

Похороны В. Навроцкого проходили при огромном стечении народа. Его уважали, любили и любезно принимали на всех уровнях общества. Две особые колесницы везли около ста венков с прочувственными надписями: "Газетному Льву", "Доброму и отзывчивому человеку-учителю" и т. п. В те скорбные дни было получено много телеграмм-соболезнований из Санкт-Петербурга и других городов. На Соборной площади, по которой двигалась траурная процессия с металлическим гробом ко II Христианскому кладбищу, были зажжены фонари, перевитые траурными лентами. Похоронили В. Навроцкого на 26 участке. В конце прошлого века черная плита, заросшая травой, еще покоилась на его могиле. Так закончился земной путь славного жителя Одессы — редактора-издателя "Одесского листка" Василия Васильевича Навроцкого.

Осталось выяснить, кто находился в экипаже Василия Васильевича в 1898 году во время праздника "Бой цветов".

В метрической книге Кафедрального собора за 1875 год (бракосочетание) находится запись о том, что 16 ноября Василий Васильевич Навроцкий в возрасте 24 лет, православный, *вторым браком* (подчеркнуто мною. — **М. Б.**) соединил свою судьбу с дочерью отставного поручика Владимира Кириллова Квашинского, девицею Александрой, православною, 20 лет, для которой это был первый брак. К сожалению, мне ничего не известно о первой супруге В. Навроцкого: не удалось ничего найти о ее происхождении и девичьей фамилии, где и когда произошло бракосочетание их, и почему прекратился их брак.

Отношения со второй женой складывались не лучшим образом. Возможно, что она была сотрудницей редакции газеты, которую выпускал ее супруг. 27 апреля 1878 года жена дворянина Александра Владимировна Навроцкая обратилась в Главное управление по делам печати в Санкт-Пе-

тербурге с прошением "об утверждении ее в звании редактора газеты "Одесский листок объявлений", приобретшей от мужа право на его издание".

Обычно при смене владельца издания новый и старый хозяин газеты должны были обратиться в Главное управление по делам печати отдельно с соответствующими прошением. При положительном решении вопроса прежнее свидетельство аннулировалось, новому владельцу выдавалось новое свидетельство. В нашем случае прошения от Навроцкого, очевидно, не было, и бумагу А.В. Навроцкой из Санкт-Петербурга направили одесскому градоначальнику для заключения. Градоначальник генерал-майор Александр Константинович Гейнц сообщил в Санкт-Петербург, "что с его стороны он бы отклонил ее ходатайство". Мнение хозяина города, вероятно, было решающим: смены владельца печатного органа не произошло, газета продолжала выходить, и по-прежнему редактором-издателем значился В. Навроцкий.

В 1893 году Одесская судебная палата рассматривала иск г-жи Полтавцевой (фамилия второй супруги В. Навроцкого после ее вторичного брака) к ее бывшему супругу по поводу денег на воспитание их совместных детей. Я не буду рассказывать все перипетии сего дела, в котором иск г-жи Полтавцевой был отклонен. Однако этот иск раскрыл ряд сведений, которые представляют интерес. Во втором браке супруга подарила Василию Васильевичу двух дочерей — Александру и Марию. Супруги окончательно разошлись в 1880 году, но лишь в 1890-м были формально разведены, причем девочки остались жить у матери. Таким образом, в 1890 году Александра Владимировна и Василий Васильевич оказались свободными: она повторно вышла замуж и стала г-жой Полтавцевой, а он пока официально не был женат.

К сему времени на горизонте его холостяцкой жизни появилась будущая третья жена — дочь титулярного советника София Матвеевна Сутормина, которая, возможно, трудилась также в его редакции и имела отношение к литературной работе: в ноябре 1908 года в типографии газеты "Одесский листок" была отпечатана тиражом в 300 экземпляров ее пьеса в 2-х действиях "Брак". 19 сентября 1890 года София Матвеевна родила незаконнорожденного сына Константина. Через два года, 19 июня 1892 года, на свет Божий появился второй незаконнорожденный сын Василий, а 4 октября 1894 года родилась также незаконнорожденная дочь Валентина. Отцом трех детей был Василий Васильевич Навроцкий, который, вполне возможно, состоял в гражданском браке с Софьей Матвеевной. Свои отношения с ней он, наверное, не скрывал, и везде открыто

с нею появлялся. Не могу, к сожалению сказать, когда их брак был освящен в церкви, но в трех метрических книгах Кафедрального собора о рождении детей в одно и то же время появилась запись — "определением Одесского окружного суда от 21 сентября 1904 года узаконен (либо "узаконена" в случае дочери Валентины. — **прим. М. Б.**) дворянином Василием Васильевичем Навроцким и *законной* (подчеркнуто мною. — **М. Б.**) его Софией Матвеевной, урожденной Суторминой".

Отсюда легко найти ответ на наш вопрос: в карете сидит София Матвеевна Сутормина, будущая супруга В. Навроцкого, их дочь Валентина и один из сыновей — Константин или Василий. Я склонен считать, что это младший сын Василий...

Вот к какому итогу привело чрезмерное любопытство при изучении ушедшего прошлого. Остается выразить сердечную благодарность сотруднику ГАОО старшему научному сотруднику Татьяне Евгеньевне Волковой за бескорыстную помощь в поиске необходимых документов о семейных делах В.В. Навроцкого.



Продолжаем серию публикаций, посвященных традициям градостроительства, архитектуры, риэлторства Одессы и связанным с ними ретроспективным общественным бытом. Незменный спонсор рубрики — агентство недвижимости "Капитал", давно и плодотворно работающее на отечественном рынке недвижимости. Предлагаемый вниманию читателей сюжет касается небезынтересной во многих отношениях истории одного из самых старых особняков Приморского бульвара.



Предыстория

Как свидетельствуют результаты археологических исследований, проведенных на территории современного Приморского бульвара в последние годы, и ряд случайных находок, сделанных в ходе строительных и хозяйственных работ разных лет, здесь не позднее середины VI века до нашей эры уже существовало древнегреческое поселение. Его жители занимались земледелием и рыболовством. Различные населенные пункты возникали и хирели тут в разные эпохи: итальянская якорная стоянка Джинестра, татарский и польско-литовский Качибей, турецкий Ходжабей (Ходжабай) и др. Последним был татарский Хаджибей с турецкой крепостью Ени-Дунья, остатки одной из башен которой недавно обнаружены археологами Южноукраинского педагогического университета под руководством доктора исторических наук, профессора А.О. Добролюбского, на бровке приморского плато близ Воронцовского дворца. Крепость, вероятно, занимала и территорию двух-трех примыкающих к дворцу домов, №№ 1-3. На месте же самого дворца, несколько дальше от обрыва, находилось сравнительно большое здание турецкой еще постройки, возможно, резиденция начальствующего двухбунчужного бея — Ахмет-паши.

Большая же часть нынешнего Приморского бульвара, включая площадь интересующего нас здания, в самые первые десятилетия истории Одессы не застраивалась. Правда, некоторое время в этом районе просуществовали воинские казармы, лазарет, солдатская пекарня и "особый дом, в котором в первые годы основания Одессы помещалась полковая церковь" (снесены в 1820-1821 гг., тогда же разобраны частично сохранив-

с нею появлялся. Не могу, к сожалению сказать, когда их брак был освящен в церкви, но в трех метрических книгах Кафедрального собора о рождении детей в одно и то же время появилась запись — "определением Одесского окружного суда от 21 сентября 1904 года узаконен (либо "узаконена" в случае дочери Валентины. — **прим. М. Б.**) дворянином Василием Васильевичем Навроцким и *законной* (подчеркнуто мною. — **М. Б.**) его Софией Матвеевной, урожденной Суторминой".

Отсюда легко найти ответ на наш вопрос: в карете сидит София Матвеевна Сутормина, будущая супруга В. Навроцкого, их дочь Валентина и один из сыновей — Константин или Василий. Я склонен считать, что это младший сын Василий...

Вот к какому итогу привело чрезмерное любопытство при изучении ушедшего прошлого. Остается выразить сердечную благодарность сотруднику ГАОО старшему научному сотруднику Татьяне Евгеньевне Волковой за бескорыстную помощь в поиске необходимых документов о семейных делах В.В. Навроцкого.



Продолжаем серию публикаций, посвященных традициям градостроительства, архитектуры, риэлторства Одессы и связанным с ними ретроспективным общественным бытом. Незменный спонсор рубрики — агентство недвижимости "Капитал", давно и плодотворно работающее на отечественном рынке недвижимости. Предлагаемый вниманию читателей сюжет касается небезынтересной во многих отношениях истории одного из самых старых особняков Приморского бульвара.



Предыстория

Как свидетельствуют результаты археологических исследований, проведенных на территории современного Приморского бульвара в последние годы, и ряд случайных находок, сделанных в ходе строительных и хозяйственных работ разных лет, здесь не позднее середины VI века до нашей эры уже существовало древнегреческое поселение. Его жители занимались земледелием и рыболовством. Различные населенные пункты возникали и хирели тут в разные эпохи: итальянская якорная стоянка Джинестра, татарский и польско-литовский Качибей, турецкий Ходжабей (Ходжабай) и др. Последним был татарский Хаджибей с турецкой крепостью Ени-Дунья, остатки одной из башен которой недавно обнаружены археологами Южноукраинского педагогического университета под руководством доктора исторических наук, профессора А.О. Добролюбского, на бровке приморского плато близ Воронцовского дворца. Крепость, вероятно, занимала и территорию двух-трех примыкающих к дворцу домов, №№ 1-3. На месте же самого дворца, несколько дальше от обрыва, находилось сравнительно большое здание турецкой еще постройки, возможно, резиденция начальствующего двухбунчужного бея — Ахмет-паши.

Большая же часть нынешнего Приморского бульвара, включая площадь интересующего нас здания, в самые первые десятилетия истории Одессы не застраивалась. Правда, некоторое время в этом районе просуществовали воинские казармы, лазарет, солдатская пекарня и "особый дом, в котором в первые годы основания Одессы помещалась полковая церковь" (снесены в 1820-1821 гг., тогда же разобраны частично сохранив-

шие руины турецкой крепости и недостроенная церковь Святой Екатерины на одноименной площади). В 1798 году известный гидрограф, участник экспедиции Джеймса Кука Джозеф Биллингс, состоя на российской службе, производил "опись" берегам Одесского залива и зарисовал вид Одессы со стороны моря. Комментируя эту уникальную "картинку" младенчества города, "Геродот Новороссийского края" А.А. Скальковский пишет: "На месте теперешнего Николаевского бульвара была пустыня с обваливающимися берегами. Впрочем, еще долго и после 1798 года Николаевский бульвар служил местом свалки мусора, почти до самых 30-х годов текущего (то есть XIX. — О. Г.) столетия".

В 1821 году инженер-полковник (впоследствии генерал-майор) Карл Иванович (Шарль Мишель) Потье (1785 или 1783 — 1855) и подчиненные ему военные инженеры спроектировали будущий Приморский бульвар, длина которого была определена в 250 сажений. В следующем, 1822, году ("Высочайше утвержденный план устройства бульвара" датируется 24 августа 1822 года) эта стихийно возникшая и регулярно пополнявшаяся городская свалка была убрана, территория расчищена и выровнена по нивелиру (военный инженер М.Н. Бугайский). В 1822-1824 годах садовник Ганс Герман впервые посадил здесь 454 дерева, выращенные им же на городской плантации, учрежденной герцогом де Ришелье в 1812 году. Три аллеи бульвара утрамбовали, покрыли слоем щебня, а затем засыпали доставленным из Люстдорфа песком и гравием. Тротуары вымостили ракушечником-дикарем, а всю территорию бульвара оградил окрашенными зеленой краской деревянными перилами (военный инженер Ж.В. Гаюи). Впрочем, экономный подрядчик И. Потапов и другие лица иногда не совсем исправно исполняли взятые на себя обязательства: чахлые на первых порах древесные насаждения в зеленых "клетках", вмонтированные в неровную известняковую мозаику тротуаров и мостовых, не слишком привлекали по горло занятых разнообразными делами горожан. Подлинная жизнь пришла сюда вместе с новым генерал-губернатором Новороссийского края и полномочным наместником Бессарабской области графом М.С. Воронцовым. В связи с постройкой дворцового комплекса военный инженер Ф. Шаль корректировал планировку бульвара.

Воронцов выступал здесь не только как "главный начальник", но и как человек лично заинтересованный. Дело в том, что еще в 1820 году он приобрел у помещика Николая Куликовского небольшой двухэтажный дом, магазины (склады) и сад на оконечности будущего бульвара, над Военной балкой, на базе которого впоследствии устроил свою дворцовую

усадьбу. По приезду в Одессу Воронцов задумал сформировать здесь аристократический центр города, подобие бульварам европейских столиц, а потому тотчас же подхватил развернутую его предшественником, графом А.Ф. Ланжероном, кампанию по сбору средств на памятник герцогу де Ришелье. Воронцов тотчас же сообразил, где его надо установить, в какой "пейзаж" вписать, и во что это может вылиться. В том же 1823 году он написал И.П. Мартосу, а 9 января 1824-го скульптор-академик в общих чертах обрисовал задуманную статую, технологию исполнения, бюджет и пр. Проект Воронцова вызвал искреннее сочувствие местной элиты: дальновидные одесситы сообразили, сколь выгодным предприятием может обернуться владение недвижимостью именно в этом, на первый взгляд диком приморском уголке, "на отшибе". Именно тогда здесь и развернулось стремительное по тем временам строительство первых бульварных "палаццо": в 1823 году — будущих домов №№ 4, 5, 10, в 1824-м — дома № 3, в 1826-м — №№ 1 и 6, в 1827-м — №№ 11 и 13 и т. д.

Приморский бульвар задумывался графом Воронцовым и как центр общественный. Так называемые полуциркульные здания, как и сама идея миниатюрной площади, доминантой которой должен был стать монумент Дюку, также принадлежит Михаилу Семеновичу. А.И. Мельников и Ф.К. Боффо фактически лишь оформили ее надлежащим образом. В 1828 году памятник герцогу де Ришелье был открыт. К этому времени полностью оформилась и дворцовая усадьба Воронцовых, были построены бульварные дома №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, начал строиться дом № 15. В 1829 году развернулось сооружение старой биржи. В 1830-м завершено строительство дома № 9 (который обычно именуют дворцом). В начале 1830-х Ф.К. Боффо вносит изменения в архитектурный облик левого полуциркульного здания № 8, которое от чиновника Завадского (Завацкого) переходит к новому владельцу, известному в Одессе французскому портному Верелю, и перелицовывается в одну из самых фешенебельных в городе гостиных — "Петербургскую" (1832). В "Городском доме" № 7 надолго прописываются "присутственные места", то есть различные городские учреждения (в первую очередь — "судебные установления", Дума, Городская управа), отчего здание это получает имя собственное — Присутственные Места. Короче говоря, уже к 1830-му идеи М.С. Воронцова были в значительной степени реализованы. А после ввода в эксплуатацию знаменитой Бульварной (Потемкинской) лестницы Приморский бульвар сделался поистине одесским олимпом.

Подле Воронцова построился граф А. Потockий, от которого дом



перешел к Маразли, за ним — пушкинский знакомец граф Л.А. Нарышкин, от которого дом перешел к князю В.С. Голицыну, а далее — к новороссийскому генерал-губернатору графу А.Г. Строганову. Далее располагались дома Варвары Столыпиной, одного из ближайших сотрудников Воронцова — П.Я. Марини (интересующий нас дом № 3), крупных итальянских негодантов Сарато и Верани (впоследствии Вассала), генерала Брозина (после — авторитетного купца Порро), капитана над Одесским портом Е.В. Зонтага (братьев Стифель, потом — Суппичич) и два полуциркульных здания. Дом № 9 ("дворец") изначально принадлежал помещику, отставному офицеру Р. Шидловскому, затем перешел к княгине М.А. Нарышкиной, урожденной княжне Четвертинской, а позднее приобретен правительством "для жительства генерал-губернатора". Впритык к этому стоял дом одного из крупнейших греческих экспортеров — Ф. Родоканаки, за ним — дом князя П. Лопухина (затем принадлежал знаменитому ресторатору и устроителю "Лондонской" гостиницы Ж. Каруте, а за ним — греческому миллионеру С.И. Ралли). Далее стояли дома П. Ризо (после него — статского советника Золотарева, далее — Абазы, а потом — банкира барона Массы), адъютанта Воронцова, действительного статского советника А.И. Маюрова (впоследствии — банкира Ефруси), польского магната Тростянского (тоже отошел к Ефруси) и, наконец, дом негоданта Фуко (затем — таможенника Деллавоса, почетного гражданина Я. Гари и далее — Росси). Как видим, между "верховой властью" (резиденция Воронцова) и "главным колесом одесской телеги" (биржа) стояли плечом к плечу все ее олицетворенные авторитеты плюс регулирующий механизм (Присутственные Места, городская администрация).

После сдачи в эксплуатацию Бульварной лестницы и отсыпки "вися-

чих садов" на склонах бульвар сделался излюбленным местом гуляний горожан. Здесь регулярно выступали военные оркестры, филармонические группы из Тироля, устраивались фейерверки, цирковые выступления, здесь были превосходно оборудованные буфеты и летние кафе. Сюда устремлялись приезжие, причем степные помещики и помещицы специально являлись на бульвар, чтобы продемонстрировать породистых лошадей и блестящие экипажи, а заодно — самих себя.

Дом № 3

А теперь перейдем непосредственно к биографии дома № 3. В "Паспорте памятника градостроительства и архитектуры", подписанном как бы компетентными чиновниками, указано, что этот жилой дом построен в 1836-1840 гг. архитектором Ф.О. Моранди. Указание подобного рода иначе как невежественным не назовешь. В самом деле, ведь Франциск (Франц Осипович) Моранди в указанное время не был, и быть не мог в Одессе — он поступил в здешнюю службу только в 1845 году. Кроме того, этот дом числится в самых разнообразных и достоверных исторических первоисточниках, по крайней мере, на десять лет раньше! Допуская, однако, что Моранди может иметь отношение к одной из последующих перестроек или перепланировок этого дома. Такое допущение косвенно подтверждается тем, что он, например, в 1872 году перестраивал бульварный дом № 12, принадлежавший известному банкиру — барону Массу. Он же строил дворец и манеж Массы на углу Воронцовского переулка и Екатерининской площади (1850 г.). Впрочем, все это из области предположений и допущений. Зато наверняка известно, кто конкретно был строителем интересующего нас дома и кто его впоследствии перестраивал. "Наш дом" спроектировал и соорудил один из самых ярких первостроителей города, небезызвестный Джованни Фраполли, блестящий итальянский зодчий, брат Франциско Фраполли! Деятельность братьев подробно описана в очерке "Дом Фраполли".

Здесь заметим только, что Джованни Фраполли построил и массу частных домов: Сальватора (1817), Трохина (1818), Ващенко (1819), Доброденского (1820), Кузнецова (1820), Бутылина (1821), Соколовского (1821), Бартеневой (1821), Записошного (1822), Андона (1825), Кумбари (1825), Калабина (1826) и целый ряд других. Хотя большая часть построенных Фраполли зданий и сооружений не сохранилась (эти скромные, строгие функциональные дома впоследствии были застроены более



масштабными и помпезными зданиями), но и сохранившиеся превосходно иллюстрируют мастерство великого итальянца. Это, например, дом Кирьяковых (1821) на пересечении Коблевской и Дворянской — мемориальное пушкинское место, упоминавшийся обширный дом Кумбари, на углу Екатерининской и Полицейской, доходный дом на улице Елисаветинской, № 1 (1824, позднее перестраивался), дома на Александровском проспекте, № 45 и Ришельевской, № 76, дом Илькевича, на Дерибасовской, № 3 (1820-е) — один из интереснейших памятников градостроительства.

Дом на будущей Бульварной улице, № 3 был заложен одним из первых среди бульварных особняков, в 1824 году. То есть Д. Фраполли развернул строительство "нашего дома" еще в бытность Пушкина в Одессе. Весьма и весьма примечательна и фигура заказчика-домовладельца. Отлично известный в одесской пушкинистике тайный советник Павел Яковлевич Марини (1798-1849) вполне заслуживает хотя бы краткого биографического очерка. О нем можно порассказать немало любопытного. Марини — побочный сын министра внутренних дел, председателя Государственного совета и Комитета министров, государственного канцлера по делам внутреннего гражданского управления, князя В.П. Кочубея. В мемуарах Михаила Феликсовича Дерибаса, племянника основателя Одессы, сообщаются настолько пикантные биографические подробности о матери П.Я. Марини, что они могли бы, пожалуй, послужить канвой нового сериала об Анжелике. Так, он пишет о том, что неаполитанский посланник в Константинополе, граф Людольф, жил на средства, которые ему доставляла *"одна преинтересная женщина"*, *"молодая и красивая вдовушка одного старика, секретаря посольства, кавалера Марини"*. Была она, по его словам, дочерью какого-то лакея при посольстве, прижилась в покоях гра-

фа, а затем ее выдали замуж за 70-летнего секретаря, скончавшегося вскоре после свадьбы. Юная Марини содержала Людольфа, занимаясь рукоделием и еще Бог знает чем, отказывала себе во всем. На ее счастье, в положение вошла неаполитанская королева Каролина, и по настоянию августейшей патронессы граф взял соломенную вдовушку в жены.

Сын госпожи Марини от Кочубея получил блестящее образование и поступил в штат новороссийского генерал-губернатора и бессарабского полномочного наместника графа М.С. Воронцова. Здесь Павел Яковлевич занимал весьма престижные посты, в частности — управляющего дипломатической канцелярией графа. То есть если называть вещи по именам, то он фактически был непосредственным начальником Пушкина. Впрочем, ввиду полного и безоговорочного манкирования последним своими служебными обязанностями, встречались и общались они большею частью как раз не в канцелярии, а в салоне Е.К. Воронцовой, на прочих светских раутах или "присутствиях", от которых просто невозможно было отказаться. В Одессе Марини очень выгодно женился — на дочери того самого Франческо (Франциско, Франца) Фраполли, Виктории Францевне, в домах, построенных по проекту которого, он волею судьбы впоследствии и обитал. Солидный капитал был нажит Франческо и его братьями не только и не столько на проектировании зданий и сооружений, сколько на реализующих эти и другие проекты строительных подрядах.

Здесь следует разъяснить несколько моментов, частенько запутывающих ситуацию атрибуции принадлежавшей семейству Марини недвижимости, поскольку в разные годы они владели тремя домами, располагавшимися на Дерибасовской. Причем двумя из трех одновременно. Первый из этих домов, № 13, изначально был построен самим Франческо Фраполли (1804 г.), а затем перестроен его вдовой, Марией Фраполли, по проекту небезызвестного Ф.К. Боффо (1828 г.). Довольно долго им владела вдова архитектора, а в исторических документах он фигурирует как *"дом Марии Фраполли"* либо просто *"дом Фраполли"*. И только в первой половине 1860-х годов этот дом получил имя своей новой владелицы, В.Ф. Марини, то есть дочери Марии Фраполли.

Другой дом, по улице Дерибасовской, № 29 (есть сведения, что в 1830-х годах его частично перестраивал Г.И. Торичелли), владельцем которого до самой своей кончины был непосредственно П.Я. Марини. Через семь лет после смерти супруга Виктория Францевна Марини продала этот дом фабриканту Карлу Гаазу и приобрела другой, на той же улице, более престижный дом Гальберштама, № 21, впоследствии — дом Тру-

шевского, а затем — Хакаловского (где ныне интенсивно строится торговый центр). Точно так же "наш дом" на бульваре, № 3, построенный ближайшим родственником супруги Марини в 1824-1826 годах, после кончины домовладельца остался за неутешной вдовой.

Дом возведен в стиле классицизма из камня-ракушечника и оштукатурен. Созвучен соседним, №№ 2 и 4, двухэтажный, на высоком цоколе, что, кстати, вообще характерно для домов солидных горожан той эпохи (поглядите на характерный, типологический даже дом Фундукля — на перекрестке Херсонской и Торговой). Такие цокольные этажи с лучковыми и полуциркульными сводами, как правило, сдавались под всевозможные заведения и складские помещения, но в данном случае подвал, конечно, использовался как хранилище продовольствия, в том числе — коллекционных вин. Со стороны двора к зданию примыкала остекленная деревянная галерея и два Г-образных флигеля, к которым подъезжали со стороны Воронцовского переулка. Бульварный фасад дома на первом этаже рустован, а на втором — расчленен пилястрами коринфского ордера и освежен вставками с рельефным орнаментом. Главное крыльцо украшено узорчатым козырьком, над которым нависает балкон на кронштейнах с кованым металлическим ограждением. Ничего, казалось бы, выдающегося, но в целом строение производило величественное впечатление. Впрочем, внутреннее убранство особняка, как и соседних, как дворца Воронцова, поражало роскошью интерьеров, о чем будет сказано ниже.

А чем же, собственно, занимались домовладелец, Павел Яковлевич Марини, и его супруга, Виктория Францевна? Занятия их представляются весьма полезными и многообещающими для города и края. Помимо исполнения чиновничьих обязанностей Марини был членом совета Одесского института благородных девиц и других социально полезных институций. Как сообщается в историческом очерке, изданном к 100-летию Одессы местным муниципалитетом, *"...Князь Воронцов в 1844 году возобновил ходатайство об улучшении путей сообщения в Новороссийском крае, причем представил министру финансов составленный тайным советником Марини проект конно-железной дороги из Одессы через Ольвиополь и Кременчуг, с питательной ветвью на Балту"*. После положительного решения Николая I, который пожелал, чтобы дорога была пригодна и для паровозного сообщения, П.Я. Марини пригласил для составления нового проекта опытного бельгийского инженера Зюбера, а затем заключил соответствующие контракты с солидными зарубежными банкирами. Французская революция 1848 года и смерть Марини остановили осуществление этого пред-

приятия, которое было возобновлено значительно позднее и завершилось пуском в 1863 году железной дороги от Одессы до Балты. Что касается идеи конно-железного сообщения, то и оно было реализовано в пределах города, но только на рубеже 1870-1880-х годов. Немало дельных начинаний исходило от П.Я. Марини и в бытность его действительным членом Императорского общества сельского хозяйства Южной России.

После кончины мужа В.Ф. Марини целиком отдалась делу благотворительности и милосердия, много лет состояла членом правления Одесского женского благотворительного общества. В частности, исторические документы свидетельствуют о том, что "Мариинское отделение Городской больницы устроено в 1872 году на 100000 рублей, пожертвованных вдовую тайного советника Викториею Францевной Марини, урожденной Фраполли". Сто тысяч рублей... В ту эпоху это было целое состояние. В.Ф. Марини ушла из жизни в конце июля 1876 года.

Вообразите себе, какие персонажи региональной и отечественной истории перебивали в бульварном особняке, № 3! Воронцовы, Нарышкины, Гурьевы, Строгановы, Столыпины, Голицыны, Ахлестышевы, Гагарины, Потоцкие, Коцебу, Абаза, Исленьевы, Кортацци, Маразли... Назовите любую фамилию из окружения Воронцова и его преемников, любую значимую в городе персону — не ошибетесь. Долгие годы дом Марини был одним из значимых светских салонов, о здешних приемах, журфиксах, балах можно рассказывать бесконечно. Но, как говорится, всему приходит конец. В 1870-х "наш дом" принадлежал уже другому известному российскому дворянскому роду — Милорадовичам. Петр Михайлович Милорадович представлял Генеральный штаб в штате командующего войсками Новороссийского и Бессарабского генерал-губернаторства — генерал-адъютанта, генерала от инфантерии графа Павла Евстафьевича Коцебу. Впрочем, Милорадовичи были, можно сказать, временными гостями в "нашем доме". Вскоре он надолго отошел к поистине знаменитому не только в Одессе и крае, но и далеко за их пределами семейству крупнейших предпринимателей, банкиров и в то же время выдающихся благотворителей. Я говорю о роде Ашкенази (Ашкинази).

Банкирские дома Одессы известны буквально с первых дней ее существования. Изначально банковским промыслом занимались французы и итальянцы, затем греки, а далее — ашкеназийские (европейские) евреи, выходцы из города Броды в Галиции. Из еврейских банкирских контор наибольшим авторитетом пользовались представители семейств Ашкенази, Ефруси (в 1883 году Мориц Ефруси женился на дочери барона Рот-

шильда), Рафаловичей и Бродских. Однако нас в данный момент будут, конечно, интересовать только Ашкенази, владельцы "нашего дома".

Основатель торгового дома — Моисей (Мозес) Ашкенази — много лет занимался хлебным экспортом. Сама "контора" находилась в Могилеве-Подольском, откуда к черноморским берегам и текла подольская пшеница. Тут, как говорится, все были довольны: и производители, и транспортники, и просто горожане, получающие свою долю в виде отчислений от прибыли. На Подолье М. Ашкенази приехал из Европы еще молодым человеком и своей кипучей энергией, смекалкой, честностью и обязательностью в отношении с деловыми партнерами составил не только значительный капитал, но и авторитет. В 1864 году он основал отделение фирмы в Одессе, а в середине 1870-х передал руководство своему сыну — Евгению Моисеевичу. Отделение занималось операциями, связанными с закупкой и реализацией сельхозпродуктов, но параллельно выступало уже и как кредитное учреждение.

Когда одесское отделение фирмы встало на ноги, в приморский город перебрался и сам Моисей Ашкенази. Они работали рука об руку с сыном и достигли больших высот. По этой ли причине, или по какой другой, но Евгений обрел завидные родственные связи. Сейчас я попробую нарисовать это родственное древо, а читателя попрошу сконцентрировать внимание, дабы не заблудиться в его многочисленных ответвлениях.

Итак, представитель крупнейшего в империи банкирского дома Горащий Гинцбург женился на своей двоюродной сестре Анне Гесселевне Розенберг. Сам Гессель Розенберг был крупным предпринимателем в области переработки сахара. Многолетний сахарозаводчик отменно пристроил пятерых своих дочурок. Анна, как было сказано, вышла за Гинцбурга. Теофила — за Сигизмунда Варбурга, также крупного банкира. Роза — за легендарного фон Гирша. Розалия — за солидного будапештского финансиста Герцфельда. И, наконец, Луиза — за нашего родного, одесского, Евгения Моисеевича Ашкенази.

Но причем здесь Ротшильд? — напомним мне. Не торопитесь, будет вам и Ротшильд.

У Горация Гинцбурга и Анны Розенберг родился сын Владимир, впоследствии женившийся на дочери известного сахарозаводчика Бродского. (Припоминаете сакраментальное: "Сахар — Бродского, чай — Высоцкого, Россия — Троцкого"? В Одессе прибавляли: "Шляпы — Скроцкого".) Сестра Горация Гинцбурга, Матильда, вышла замуж за племянника французского министра финансов П. Фульда. А вот одна из ее дочерей

и вступила в брак со знаменитым бароном Эдуардом Ротшильдом. (Между прочим, этот самый Ротшильд был безумно влюблен в первую красавицу Одессы Ариадну Папудову, которой подарил особняк маркизов де Саган на Елисейских полях.)

Теперь желающие могут точно нарисовать себе всю картину родственных связей одесского банкира — представителя настоящей финансовой империи. К этому остается прибавить, что Мозес Ашкенази ушел из жизни в 1887-м, на 76 году от роду. Ненадолго пережил его и сын Евгений, скончавшийся в 1890 году. Оба, что небезынтересно, были погребены на Старом христианском кладбище. Все дело перешло к внуку основателя фирмы, Зигфриду Евгеньевичу, который на исходе XIX столетия значительно его расширил, кредитовал крупные экспортные операции, различные коммерческие и промышленные предприятия. З.Е. Ашкенази продолжал заниматься хлебным экспортом и кредитно-банковскими операциями. Обе его конторы — банковская и хлебная — располагались в тыльной стороне бульварного особняка, по адресу Воронцовский переулок, № 5 (другая их контора помещалась на Ришельевской, № 4). Сотрудниками фирмы состояли лучшие специалисты в этой области — Ю.Н. Брук, Я.М. Ландау, Я. Эштерлин, Л.Б. Файнлейб, А.Т. Фридман (доверенные лица), Я.Н. Наливайский (бухгалтер). Все эти годы фирма официально продолжала носить имя своего основателя — Моисея Ашкенази.

Вот краткий перечень регалий З.Е. Ашкенази накануне первой мировой войны: хозяин банкирского дома, выборный купеческого сословия, член Комитета торговли и мануфактур, член Биржевого комитета, товарищ (заместитель) председателя Арбитражной комиссии Биржевого комитета, член Особого городского раскладочного присутствия, председатель Одесского ремесленного и мелкого ссудно-сберегательного товарищества, директор Комитета попечительства о тюрьмах, член Общества исправительных приютов, член Общества по борьбе с туберкулезом, член Одесского отделения Императорского русского музыкального общества. Как домовладельцу Зигфриду Евгеньевичу Ашкенази принадлежали и три дома на Княжеской улице — №№ 6, 8 и 10.

В Государственном архиве Одесской области хранится протокол об учреждении торговыми домами "М. Ашкенази" и "Джекобс, Овен и К" акционерного общества "Русское общество юго-восточного пароходства "Звезда" (ГАОО, фонд 246, опись 1, дело 1, лист 1). Основной капитал определен в один миллион рублей, при этом 2/3 его вносится торговым домом "М. Ашкенази"; соответствующим образом распределяется и при-

быль. Выпущены акции на предъявителя; устав предусматривает возможность неограниченного увеличения основного капитала. Учреждение нового частного пароходства определялось настоятельной необходимостью вывозить сельхозпродукцию собственными техническими средствами в условиях все более возрастающих ставок на фрахт.

Любопытно, что и сам барон Ротшильд навещал своих одесских родственников в сентябре 1888 года. 43-летний Эдмонд Ротшильд с супругой останавливались в фешенебельной "Лондонской" гостинице, то есть в непосредственной близости от особняка Ашкенази. Как сообщала пресса, они занимали роскошные апартаменты, выплачивая 100 рублей в сутки. При них находилась прислуга в составе шести особ, доставившая с собой солидный запас консервированных продуктов. О бароне писали, что "сам он не импозантен, невысок, сутул, голос у него глуховатый" и что Ротшильд вообще "производит впечатление чем-то пришибленного человека".

Супругов немедленно атаковала несметная толпа просителей, от которой невозможно было отбиться. Естественно, новый крез тут же "пожертвовал две тысячи рублей на бедных евреев г. Одессы и тысячу рублей в пользу местной большой синагоги". Сколько денег он раздал в ходе личных контактов, исчислению не поддается.

Когда чета покидала гостиницу и направлялась на крымский пароход, ее провожала более чем иронически настроенная толпа зевак. Благотетеля громко обсуждали, корчили рожи и откровенно насмехались. Репортеры отметили, что госпожа Ротшильд от досады закусил губу, а семенящий рядом "близорукий анемичный блондин в серой пиджачной мешком сидящей паре от страха даже не кивнул никому головой". Сгорбленный, подерживаемый женой, уселся он в крытую карету. Одесса бывала всякой...

По сравнению со своими богатыми родственниками Ашкенази потратили в разное время на земляков-одесситов несравненно большие суммы. Здесь вполне достаточно упомянуть о беспрецедентной благотворительной деятельности, я бы сказал, о подвижничестве Луизы Гесселевны Ашкенази, урожденной Розенберг. Она постоянно обитала в доме на Николаевском бульваре, № 3, который на долгие годы сделался подлинным штабом движения милосердия. Как о патронессе городской Еврейской больницы о Л.Г. Ашкенази я как-нибудь расскажу отдельно — в контексте истории этой больницы.

Все это свидетельствует о многом, и в частности о том, какие лица посещали дом на Николаевском бульваре, № 3, уже в другую эпоху — в последние десятилетия XIX и первые "пятителетия" XX столетия. Сюда

приходил весь цвет не только коммерческой, но и интеллектуальной части гражданского общества: известнейшие общественные деятели, ученые, инженеры, архитекторы, юристы, врачи, преподаватели, музыканты, художники, скульпторы, литераторы, актеры, издатели, журналисты. В это время отчасти изменился и внешний облик многих бульварных палаццо: ряд из них был кардинально перестроен, другие надстраивались этажом и проч. В этих особняках помещались различные государственные и муниципальные "присутствия", банкирские и хлебные конторы, отделения отечественных и зарубежных фирм, пароходств, иностранные консульства и др.

В числе прочих в конце позапрошлого века был перестроен и дом № 3, принадлежавший семейству Ашкенази. Впрочем, здание было не столько даже перестроено, сколько восстановлено в первоизданном виде известным архитектором немецкого происхождения Вильгельмом Кабиольским. Мастер использовал стилевые приемы и формы необарокко, модернизированного ампира и неоампира. Был он к тому времени достаточно известен, отменно себя зарекомендовал. Довольно назвать построенный им в 1893-1894 годах особняк крупного финансиста А.Я. Поммера (он, кстати говоря, был деловым партнером Ашкенази) на Сабанеевом мосту, № 3. В.М. Кабиольский реконструировал здание Земского банка на улице Садовой, соорудил контору РОПИТ на Дерибасовской, два больших доходных дома Ждановой на Екатерининской площади, гимназию Видинской на углу улиц Новосельского и Конной, целый ряд солидных зданий в историческом центре. Архитектор с огромным пиететом отнесся к оригиналу Джованни Фраполли, и здание словно бы вернулось к своему почти античному первообразу.

В советское время судьба "нашего дома", как и многих других бульварных особняков, сложилась не слишком благоприятно, хотя, будучи "парадным входом Одессы", они пострадали и постарели гораздо меньше остального ретроспективного жилого фонда. Дома эти, как правило, расчленялись на коммунальные квартиры либо передавались партийным и советским учреждениям, подвергались многочисленным уродливым внутренним перепланировкам и перелицовкам. Не стал исключением и дом № 3, приспособленный под коммунальное многоквартирное жилье. Более или менее серьезный интерес к этому историко-архитектурному комплексу, как и к некоторым другим памятникам истории и градостроительства, проявился лишь много десятилетий спустя, во второй половине 1970-х — начале 1980-х годов, в связи с их катастрофическим обветша-

нием. Тогда-то, в частности, и были составлены отдельные справки по мемориальным сооружениям.

Вот информация, подготовленная историком градостроительства Одессы, киевлянином В.И. Тимофеенко в 1985 году по дому на Приморском бульваре, № 3.

"Строение в семь оконных осей, как и соседние дома, занимает удлинённый прямоугольный участок, который по коротким сторонам застроен жилыми корпусами, а по длинным — флигелями. Бывший особняк Марини — характерный пример стиля ампира. Возведён из камня-ракушечника.

Планировка помещений основного двухэтажного корпуса — анфиладная, с парадными залами со стороны бульвара. Комнаты, обращённые окнами во двор, имеют выходы на деревянную галерею, к которой примыкают дворовые флигеля.

Главный фасад отличается сдержанностью и в то же время отточенностью ордерных форм. Стены первого этажа прочерчены горизонтальными линиями дощатого руста, наличники прямоугольных окон и входной двери оригинально пересечены рустами. Над крыльцом — металлический навес, опирающийся на кронштейны. Центральная ось подчеркнута балконом с узорными металлическими ограждениями. Парадный характер помещений второго этажа выявлен более нарядной архитектурой. Простенки здесь оформлены пилястрами коринфского ордера, окна — строгими наличниками на подоконных филёнках. Между проёмами и венчающим антаблементом — небольшие лепные панно.

Со строгостью фасада контрастирует богатое убранство интерьеров. На одной оси расположены вестибюль, шлюз и лестничная клетка. Стены вестибюля украшены пилястрами и фризом, а потолок — розеткой. Отсюда двери ведут в шлюз, трехмаршевая мраморная лестница пышно оформлена. Цокольная часть стены рустована, верхний ярус обработан ордерными формами с зеркалом, потолок — касетирован.

Своей четкой фронтальной композицией, размерами этажей и количеством проёмов здание идентично домам №№ 2 и 4 на Приморском бульваре и гармонично вписывается в общий градостроительный ансамбль".

Резюмируя изложенное, можно утверждать, что "наш дом" — один из самых значимых памятников истории градостроительства Одессы и одновременно — выдающееся мемориальное место по насыщенности выдающихся персоналий. Пора бы повторить подвиг В.М. Кабиольского по воссозданию дома Марини, ведь со времени той реконструкции прошло уже более ста лет.

17 мемуаров о войне

Мемуар № 1

Начало службы в запасном полку

В декабре 1942 г. я прибыл в г. Пугачев Саратовской области в 72 запасной стрелковый полк с новобранцами из Туркмении, куда я был эвакуирован с матерью из осаждённой Одессы. Разместили нас по 100-150 человек в землянках, т. е. по ротам.

Вечером приказали всем раздеться догола и сдать все вещи, кроме одежды, на дезинфекцию. Эта дезинфекция продолжалась очень долго, так что к тому времени, когда ночью привезли вещи, я спал глубоким сном, завернувшись в одеяло. Когда меня разбудили, я нашёл в остатках неразобранных вещей все мое, кроме брюк. Видимо, кто-то из моих боевых друзей-туркмен (я был единственный европеец в этой роте) поддел их под свои брюки для утепления, так как мороз стоял крепкий, а землянка практически не отапливалась. Из начальства ночью был только ротный писарь, к которому я и обратился со своей бедой. Он сказал, что утром придёт командир роты, которому и следует доложить о краже брюк, что я и сделал. Командир роты громко и доходчиво разъяснил мне, что запасных штанов для разгиляев из числа новоявленных доблестных защитников родины у него нет, и пока роту обмундируют, мне придётся обходиться подручными средствами с использованием солдатской смекалки. К этому он добавил, что если у меня возникнут проблемы, связанные с отсутствием туалетной бумаги в солдатском отхожем месте, то к нему лучше не обращаться, т. к. он недавно из госпиталя после контузии и за себя не отвечает.

Моей смекалки хватило на то, что я обмотал одеяло вокруг бёдер на манер шотландской юбочки. Без штанов я чувствовал себя довольно некомфортно, но сумел извлечь из этого некоторую пользу. Утром, когда роту поднимали на зарядку (пробежать несколько километров по морозу), я продолжал спать, т. к. какая может быть зарядка без штанов?

Кажется, никто в роте не ждал с таким нетерпением, как я, когда же нас обмундируют. А ждать пришлось 7 суток, т. к. в моем эшелоне призывников, прибывших из Туркмении, было 2 случая заболевания сыпным

нием. Тогда-то, в частности, и были составлены отдельные справки по мемориальным сооружениям.

Вот информация, подготовленная историком градостроительства Одессы, киевлянином В.И. Тимофеенко в 1985 году по дому на Приморском бульваре, № 3.

"Строение в семь оконных осей, как и соседние дома, занимает удлинённый прямоугольный участок, который по коротким сторонам застроен жилыми корпусами, а по длинным — флигелями. Бывший особняк Марини — характерный пример стиля ампира. Возведён из камня-ракушечника.

Планировка помещений основного двухэтажного корпуса — анфиладная, с парадными залами со стороны бульвара. Комнаты, обращённые окнами во двор, имеют выходы на деревянную галерею, к которой примыкают дворовые флигеля.

Главный фасад отличается сдержанностью и в то же время отточенностью ордерных форм. Стены первого этажа прочерчены горизонтальными линиями дощатого руста, наличники прямоугольных окон и входной двери оригинально пересечены рустами. Над крыльцом — металлический навес, опирающийся на кронштейны. Центральная ось подчеркнута балконом с узорными металлическими ограждениями. Парадный характер помещений второго этажа выявлен более нарядной архитектурой. Простенки здесь оформлены пилястрами коринфского ордера, окна — строгими наличниками на подоконных филёнках. Между проёмами и венчающим антаблементом — небольшие лепные панно.

Со строгостью фасада контрастирует богатое убранство интерьеров. На одной оси расположены вестибюль, шлюз и лестничная клетка. Стены вестибюля украшены пилястрами и фризом, а потолок — розеткой. Отсюда двери ведут в шлюз, трехмаршевая мраморная лестница пышно оформлена. Цокольная часть стены рустована, верхний ярус обработан ордерными формами с зеркалом, потолок — касетирован.

Своей четкой фронтальной композицией, размерами этажей и количеством проёмов здание идентично домам №№ 2 и 4 на Приморском бульваре и гармонично вписывается в общий градостроительный ансамбль".

Резюмируя изложенное, можно утверждать, что "наш дом" — один из самых значимых памятников истории градостроительства Одессы и одновременно — выдающееся мемориальное место по насыщенности выдающихся персоналий. Пора бы повторить подвиг В.М. Кабиольского по воссозданию дома Марини, ведь со времени той реконструкции прошло уже более ста лет.

17 мемуаров о войне

Мемуар № 1

Начало службы в запасном полку

В декабре 1942 г. я прибыл в г. Пугачев Саратовской области в 72 запасной стрелковый полк с новобранцами из Туркмении, куда я был эвакуирован с матерью из осаждённой Одессы. Разместили нас по 100-150 человек в землянках, т. е. по ротам.

Вечером приказали всем раздеться догола и сдать все вещи, кроме одежды, на дезинфекцию. Эта дезинфекция продолжалась очень долго, так что к тому времени, когда ночью привезли вещи, я спал глубоким сном, завернувшись в одеяло. Когда меня разбудили, я нашёл в остатках неразобранных вещей все мое, кроме брюк. Видимо, кто-то из моих боевых друзей-туркмен (я был единственный европеец в этой роте) поддел их под свои брюки для утепления, так как мороз стоял крепкий, а землянка практически не отапливалась. Из начальства ночью был только ротный писарь, к которому я и обратился со своей бедой. Он сказал, что утром придёт командир роты, которому и следует доложить о краже брюк, что я и сделал. Командир роты громко и доходчиво разъяснил мне, что запасных штанов для разгиляев из числа новоявленных доблестных защитников родины у него нет, и пока роту обмундируют, мне придётся обходиться подручными средствами с использованием солдатской смекалки. К этому он добавил, что если у меня возникнут проблемы, связанные с отсутствием туалетной бумаги в солдатском отхожем месте, то к нему лучше не обращаться, т. к. он недавно из госпиталя после контузии и за себя не отвечает.

Моей смекалки хватило на то, что я обмотал одеяло вокруг бёдер на манер шотландской юбочки. Без штанов я чувствовал себя довольно некомфортно, но сумел извлечь из этого некоторую пользу. Утром, когда роту поднимали на зарядку (пробежать несколько километров по морозу), я продолжал спать, т. к. какая может быть зарядка без штанов?

Кажется, никто в роте не ждал с таким нетерпением, как я, когда же нас обмундируют. А ждать пришлось 7 суток, т. к. в моем эшелоне призывников, прибывших из Туркмении, было 2 случая заболевания сыпным

тифом. Поэтому нас каждую ночь гоняли в баню с дезинфекцией и проверкой по форме 20 (на вшивость) и если находили хоть одну вошь, то процедура повторялась на следующий день.

Когда же наконец была уничтожена последняя вошь и нас обмундировали, я почувствовал себя счастливым человеком.

Так начиналась моя служба в Вооруженных силах СССР.

Мемуар № 2 **Конец службы в запасном полку**

Моя служба в запасном полку в г. Пугачеве проходила довольно успешно. Среди сослуживцев туркменов и узбеков я выделялся своим высоким интеллектом, т. к. в отличие от них свободно владел русским языком и имел 9 классов образования. Через некоторое время я стал комсоргом роты и зам. политрука. Командование относилось ко мне хорошо и прятало от отправки на фронт. Я же служил по принципу, который внушил старик Гринёв сыну Петруше перед отправкой в Белозерскую крепость: "На службу не напрашивайся, от службы не отказывайся. Слушайся начальников". Служба в запасном полку в тылу имела то преимущество, что там не угрожает смертельная опасность, но мучит постоянное чувство голода. На фронте, по слухам, кормили хорошо, но угрожала смертельная опасность. Выбор был трудный, да и не очень зависел от меня, поэтому я плыл по течению и просто добросовестно исполнял свои обязанности. В один из дней весной 1943 года политрук роты сказал мне, что ночью должны привезти дерн для украшения землянки снаружи, и мы с ним должны руководить этой работой. После отбоя дерн долго не везли, и он, видя, что я с трудом справляюсь с дремотой, предложил мне поспать и сказал, что разбудит, когда дерн привезут.

Утром, когда горнист сыграл зорю, я почувствовал, что меня кто-то будит. Я думал, что это политрук, но оказалось, что это посыльный из штаба батальона, который сказал, что мне немедленно надо явиться к комиссару батальона. Комиссар, с которым у меня были хорошие отношения, встретил меня как врага. Он кричал, что ко мне так хорошо относились, а я позволил себе такое безобразие и, чтобы избежать сурового наказания, я должен извиниться перед политруком, перед строем роты. Я сказал, что не буду извиняться, т. к. никакой вины за собой не чувствую. Он предложил подумать полчаса и явиться к нему. Я вернулся в ротную землянку. К тому времени сыграли подъем, рота собиралась на зарядку и, когда ме-

ня увидели, то встретили как выдающуюся личность. Оказалось, что ночью привезли дерн, политрук долго меня будил и когда наконец растолкал, я, будучи в сонном состоянии и не понимая, что происходит, громко, так, что слышала вся рота, выложил в его адрес весь запас ненормативной лексики, который накопился в моем мозгу с детских лет, прошедших на Молдаванке в г. Одессе. Комиссару я сказал, что вину свою признаю, но извиняться не буду, т. к. не хотел оскорблять политрука, а сделал это в бессознательном состоянии. В этот же день меня отправили на фронт в наказание, как хулигана и матершинника. Так закончилась моя служба в тылу в запасном полку.

Мемуар № 3 **Сон на марше**

Летом 1943 года 46 армия, в которой я служил командиром минометного расчета 82-мм минометов в звании сержанта, находилась в резерве Верховного Главнокомандования и каждую ночь совершала марш-броски на расстояние 20-30 км вдоль линии фронта для дезориентации противника, с тем чтобы внезапно в нужный момент и в нужном месте ввести нас в бой.

Мы передвигались пешком с полной выкладкой, т. е. вещмешок, скатка шинели, винтовка и запас патронов. Миномет в разобранном виде, т. е. ствол, лафет, опорную плиту и лотки с минами тоже тащили на себе на специальных выюках. Это было тяжело физически. Иногда нас обгоняли штабные автобусы, и солдаты, глядя на сидящих в них штабных работников, в том числе и женщин в аккуратной и хорошо подогнанных мундирах, ворчали:

— Хорошо им, штабным, кататься в автобусе с бабами. В строй бы их, пусть пошагают как мы, да потаскают то, что на нас навьючено.

Как-то солдат, шедший недалеко от меня, громко, так что услышали все, сказал одному ворчуну:

— А ты, умник, пробовал воевать без штаба? Я этого нахлебался в 41 году при отступлении, и не дай бог, чтоб повторилось. Без штаба пропадешь, так что пусть уж ездят, но дело свое штабное делают.

Это прозвучало очень весомо, такие разговоры прекратились и больше не возобновлялись. Для меня же во время этих ночных маршей тяжелее, чем физическая нагрузка, была борьба со сном. Я засыпал на ходу во время движения, несколько раз терял направление движения и сваливался в придорожный кювет. Чтобы предотвратить это, я, когда чувствовал, что

наступает критический момент, просил двух солдат из моего расчета двигаться справа и слева от меня и страховать меня от потери направления легкими прикосновениями. Так продолжалось минут тридцать, в течение которых я отключался и дремал на ходу, двигаясь в колонне с полной выкладкой. После этого сознание возвращалось, и я мог двигаться без подстраховки, не теряя направления движения.

Мемуар № 4

Трофеи из Тарановки

Освобождение от немецких оккупантов крупного населенного пункта Тарановки в Харьковской области было моим боевым крещением. Немцы отбили несколько наших атак, сами переходили в контратаки, но в конце концов были выбиты из Тарановки. За этот бой я был награжден орденом Отечественной войны второй степени, но Тарановка мне запомнилась не только по этой причине.

Когда в прифронтовой полосе шла напряженная боевая учеба по подготовке к предстоящим боям, то самым тяжелым было вырыть в земле в нормативные сроки окоп для миномета в виде круглого котлована глубиной примерно полтора метра и ячейки для укрытия расчета. Трудность заключалась в том, что на минометный расчет по штату полагалась всего одна штыковая лопата, и мы рыли ею землю поочередно. В это время остальные бойцы расчета рыли землю маленькими саперными лопатками, которые были у каждого, но рыть ими было неудобно и непродуктивно. Мне как командиру лучшего расчета было обидно, если мой расчет отставал от других при окапывании, поэтому перед первым боем я поставил расчету задачу: когда ворвемся в Тарановку, искать по уцелевшим издам трофеи, причем наши трофеи — это штыковые лопаты. Задание было выполнено, и после освобождения Тарановки у каждого бойца моего расчета была штыковая лопата. Окапываться стало удобнее, зато передвигаться на марше стало менее удобно, т. к. кроме штатной амуниции приходилось тащить на себе еще и эти нештатные лопаты. Через некоторое время часть трофейных лопат пришлось выбросить.

Если мне когда-нибудь случится быть в Тарановке, то придется покаяться перед теми, кто пострадал от моего "мародерства". Я готов даже возместить причиненный материальный ущерб, несмотря на истечение срока исковой давности, если пострадавшие докажут, что именно бойцы моего расчета реквизировали их лопаты.

Мемуар № 5

Повышение в должности

Несколько суток подряд наша минометная батарея, где я был командиром расчета в звании сержанта, меняла огневые позиции. Происходило это скрытно, ночью. Нужно было перетащить минометы, вырыть в земле укрытие для миномета и ячейки для расчета. На это уходила вся ночь, а днем — бой. Мы страшно замотались. Пропало чувство страха, т. к. думали только о том, как бы поспать хоть немного. Наконец вечером командир батареи сказал, что этой ночью не будем менять огневые позиции и можно спать, выставив часовых в каждом расчете. Все облегченно вздохнули. Только я начал засыпать, как прибежал ординарец командира батареи и позвал меня к командиру. Капитан сказал, что мне немедленно надо прибыть на командный пункт батальона к замполиту, а командование расчетом передать наводчику. Я был страшно огорчен, потому что понял, что и эта ночь испорчена.

Замполит батальона сказал мне, что я назначен комсоргом батальона, и есть приказ о назначении меня на эту должность. Но поскольку это штатная офицерская должность, то на меня отправлено представление на присвоение звания "младший лейтенант", а пока я буду служить в этой должности в звании сержанта. Это будет недолго, поскольку звание мне будет присвоено приказом командующего армией, которому дано такое право в боевой остановке в отношении отличившихся в боях сержантов, занимающих офицерские должности и справляющихся с обязанностями.

В эту ночь мне удалось поспать 2-3 часа. На рассвете началась какая-то суета, и я увидел, что многие из находившихся на командном пункте потянулись с котелками к подъехавшей полевой кухне за завтраком. Я со своим котелком тоже пошел туда. Но когда повар выяснил, какое отношение к командному пункту (КП) я имею, он сказал, что я питаюсь у другого повара, который скоро прибудет. Через некоторое время на КП прибежали 2 человека с большими заплечными термосами, один из которых подошел ко мне и пригласил завтракать. Когда он увидел, что я достаю из вещмешка котелок, буханку хлеба и ложку, он сказал, что ничего этого не нужно, мне все дадут. И действительно, дали, но не в котелке, а в тарелке, и не кашу, а жареную картошку с котлетами, горячие пирожки. В общем, то, что я забыл не только на вкус, но и на вид. Так в батальоне питалось 6 человек, в том числе и я. Мне показалось это не очень справедливым, но высказывать свое мнение я не стал.

Через пару дней стало известно, что мой бывший минометный расчет погиб в полном составе. Когда я прибежал на место их гибели, трупы успели зарыть. Оказалось, что во время стрельбы заряжающий заслал в ствол мину, не заметив в горячке боя, что предыдущая мина находится в стволе, т. е. произошла осечка. Командир расчета тоже этого не заметил. В таком случае надо извлечь мину, которая дала осечку, после чего можно продолжать стрельбу. Но делать это надо осторожно, чтобы мина не взорвалась. Поскольку это не было сделано, то вторая мина ударилась своим капсюлем о взрыватель предыдущей мины, и взрыв мины произошел внутри ствола. Ствол разорвало на секторы, которые закрутились спиралями, как лепестки цветка. Осколки насмерть поразили весь расчет.

Я иногда спрашиваю себя, сумел ли бы я предотвратить то, что произошло, если бы оставался командиром расчета, или все произошло бы так, как случилось, и я бы погиб вместе со всем расчетом? Не знаю. Судьба.

Мемуар № 6 **Тир рядом с передовой**

Как-то в промежутке между боями ко мне на командный пункт батальона пришел мой товарищ и непосредственный начальник, комсорг полка лейтенант Степа Богомолов. Посидели, поговорили о делах и заскучали. Тогда он предложил отойти в сторону и поупражняться в стрельбе. Я охотно согласился. У нас было личное штатное оружие — пистолеты ТТ. С боеприпасами никаких ограничений, т. к. патроны к ТТ и автоматам ППШ (к тому времени основное стрелковое оружие) были унифицированы и всегда были в достатке. Мы набрали полные карманы патронов, но этого нам показалось мало, и мы взяли с собой еще трофейный немецкий автомат и к нему несколько рожков с патронами. Этого добра тоже было полно.

Отошли от КП на несколько сот метров, нашли балочку, на склонах которой росли тыквы, установили на склоне ряд тыков в качестве мишеней и начали стрельбу. Один из нас поражал свои тыквы из пистолета, а другой в это время крушил свои тыквы из автомата. Автоматом мы пользовались по очереди, поскольку он был один на двоих. Тащить второй было лень.

Через некоторое время мы услышали: "Хенде хох, мать-перемать!". Взглянув вверх, увидели нескольких наших автоматчиков. Командовавший ими сержант, разглядев и узнав нас, извинился за непарламентские выражения и сказал, что ему приказано доставить нас желательно живы-

ми на КП батальона. По дороге он объяснил, что по звукам наших выстрелов на КП решили, что идет перестрелка между нашим офицером, вооруженным ТТ, и немецким автоматчиком. При этом на стороне врага явное огневое преимущество. На выручку нашему офицеру отправили группу автоматчиков, которой приказано по обстоятельствам уничтожить или взять в плен немца и доставить на КП нашего офицера. Слава богу, что командовал группой опытный сержант, который не стал открывать стрельбу на звук выстрелов немецкого автомата, а сначала посмотрел. Если бы он этого не сделал, то тот из нас, кто в это время стрелял из немецкого автомата, был бы наверняка убит. И это было бы справедливо, потому что мы были неправы.

Не понимаю, как мы, два обстрелянных фронтовика, которые по звуку выстрела безошибочно могли определить, из какого оружия и с какого расстояния звучат выстрелы, не сообразили, что наши упражнения в стрельбе на слух воспринимаются как перестрелка нашего офицера с немецким автоматчиком?

Вина наша усугублялась еще и тем, что мы, отправляясь в наш "тир", никого об этом не предупредили.

Здорово мне попало от замполита батальона. Богомолова он отчитывать не мог, потому что тот был ему не подчинен, но настоял на том, чтоб Степа присутствовал при отчитывании меня, давая этим ему понять, что все, что говорится мне, относится и к нему, даже в большей степени, поскольку он инициатор стрельбы и старший по званию, должности и возрасту. Мне было тогда 19 лет, а Степе — 20.

Со мной был еще один случай, когда я напрочь забыл то, с чем ежедневно и постоянно сталкивался, но об этом в мемуаре № 7.

Мемуар № 7 **Бой под Криничками**

Немцы почему-то изо всех сил держали оборону у населенного пункта Кринички Днепропетровской области. Это был самый жестокий и кровавый бой из тех, в которых мне пришлось участвовать. Наши самоходные пушки двигались в боевых порядках пехоты. Две реактивные установки "катюши" выехали на открытую позицию и дали по немцам залп, а это было секретное оружие, которое действовало только с закрытых замаскированных позиций, и после залпа бросало позицию и скрывалось в другом месте. Потери у нас были огромные. Когда мы, наконец, ворва-

лись в расположение немцев, то обнаружили там брошенное оружие, много трупов и среди них живого раненого солдата с оторванной ногой, который не мог двигаться, лежал и испуганно глядел по сторонам. Он был молод, и меня поразило его очень румяное лицо. Наши солдаты готовы были его прикончить, но я удержал их от этого, подозвал санинструктора, велел перевязать раненого и отправить в тыл.

Постепенно шум утих, дым рассеялся, и наступила тишина. Причем такая пронзительная, а воздух стал таким чистым, что я опустил на землю, лег и закрыл глаза. Окружающие меня солдаты тоже кто лег, кто сел, кто закурил. И в этой благодати я вдруг почувствовал какой-то резкий и неприятный запах. Я спросил у солдата, который сидел недалеко, что это за запах. Он удивленно посмотрел на меня и сказал: "Товарищ комсорг, это же запах пороха". Подул ветерок и принес откуда-то этот запах.

Всего несколько минут назад вокруг ничего, кроме этого запаха не было, все было пропитано им, а я его не узнал.

Интересно, какова судьба этого раненого немца? Обстановка не благоприятствовала знакомству, поэтому я не взял у него адрес. Любопытно, как бы он отреагировал, если б узнал, что от смерти его спас политработник Красной Армии, и к тому же еще еврей? Если бы я попал в руки немцев, то был бы немедленно расстрелян, так как у них был приказ не брать в плен, а расстреливать комиссаров и евреев. Я обладал обоими этими признаками, поэтому мне полагалось два расстрела, но, к счастью, судьба уберегла меня от использования этой привилегии.

Мемуар № 8 Гибель Богомолова

В политдонесении 353-ей дивизии политотделу 46-й армии 3-го Украинского фронта имеются такие строчки: "Находясь в наступающем подразделении, комсорг 1-го стрелкового батальона сержант Качур своим личным примером воодушевил бойцов на боевые подвиги, поднял их в атаку и стремительно ворвался на окраину крупного населенного пункта". Здесь имеется одно умолчание и одна неточность. Умолчание состоит в том, что не указана причина, по которой возникла необходимость поднимать роту в атаку не приказом командира, а личным примером политработника. Неточность в том, что я сделал это не один, а вместе со своим другом, комсоргом полка лейтенантом Богомоловым, убитым в этой атаке. Хочется уточнить эти моменты и восстановить истинную картину.

План наступательной операции был следующий. Перед атакой пехоты батальонная и полковая артиллерия обрабатывают передний край обороны немцев, затем артогонь переносится в глубину их обороны и усиливается дивизионной артиллерией. В этот момент следует атаковать немцев, прорвать их линию обороны и ворваться на окраину населенного пункта, находящегося примерно в 500 метрах от линии обороны немцев. Когда пехота начнет преодолевать это расстояние, артогонь прекратится, а по населенному пункту будет дан залп "катюши". В общем, расписано все, как у Толстого: "Эрсте колонне марширт, цвайте колонне марширт...". На деле же все оказалось тоже, как у Толстого, т. е. полная неразбериха.

В этом бою я принимал участие в составе стрелковой роты, командиром которой накануне назначили капитана Попова. Вместе со мной на КП роты был и комсорг полка лейтенант Богомолов. После того как артиллерия довольно слабо обработала передний край обороны противника, мы, как было запланировано, стали ждать переноса огня артиллерии в глубину вражеской обороны, но вместо этого артогонь прекратился и наступила тишина. Через несколько минут раздался залп "катюши", и населенный пункт запылал. Мы молча переглядывались, ничего не понимая. В этот момент комбат по телефону приказал Попову атаковать. Атака сразу же захлебнулась, т. к. атакующих встретил шквальный огонь, и они залегли. Комбат опять приказал атаковать, обещая Попову за невыполнение приказа трибунал или расстрел на месте, нелестно при этом отзываясь о его матери. Мы понимали, что под огнем командами не поднять солдат в атаку, но приказ надо было выполнять. Попов побледнел и не знал, что делать. Тогда мы с Богомоловым переглянулись и поняли друг друга без слов. Он побежал на правый фланг роты, а я — на левый. На ватных ногах бежал я к переднему краю, не зная четко, что буду там делать. Перепрыгнув через окоп, я под обстрелом бежал в сторону немцев и умолял себя не оглядываться назад, чтоб солдаты не восприняли это, как неуверенность в себе. Через секунды я спиной почувствовал движение за собой, раздалось слабое, затем более сильное "ура", и я понял, что рота бежит за мной. Написав "ура", я допустил неточность. Несколько раз я ходил в атаки, но никогда не слышал криков "ура", а слышал крик "а-а-а...", и это был не победный клич, а крик ужаса людей, бегущих навстречу смерти.

Когда я пришел на КП роты, туда уже сообщили, что на правом фланге убит лейтенант, который поднимал в атаку. Прибежав туда, я увидел, что Богомолову снесло полчерепа осколком. На КП батальона я застал замполита полка, доложил ему подробности гибели Богомолова и отдал

его документы. На фронте смерть не чрезвычайное событие, но эта очень тяжело на меня подействовала. Видя мое состояние, замполит предложил мне поужинать и отдохнуть, пока тихо. От ужина я отказался и ушел в угол хаты. Заснуть не мог. Ко мне подошел порученец замполита полка и поставил передо мной полведра меда и тарелку с крупными ломтями белого хлеба. Хлеб был крестьянский и еще теплый, а мед свежий и очень душистый. В нем плавали соты и ползали пчелы. Я попробовал его, и он показался мне очень вкусным. Тогда я начал макать в него хлеб и есть. Иногда я вспоминал, что сегодня убили моего друга, а я ем, и мне становилось стыдно, но я продолжал есть. Я люблю мед и ем его каждый день, но такого вкусного меда, как тогда, в 1943 году, мне больше не попадалось.

На следующий день я был назначен комсоргом полка на образовавшуюся вакансию.

Мемуар № 9 Купание с приключениями

После не очень тяжелого боя с небольшими потерями мы освободили деревню на правом берегу Днепра. Я участвовал в этом бою в составе стрелковой роты капитана Попова. После освобождения деревни поступил приказ приостановить наступление и отдыхать предположительно до утра. Я решил не идти на КП батальона, а остаться ночевать в роте у Попова. Он был у нас в батальоне недавно, но у меня с ним сложились очень хорошие отношения после того как я спас его от крупных неприятностей через день после его назначения командиром роты нашего батальона.

Только мы с ним собрались лечь спать, как в хату, где мы находились, вбежала молодая красивая женщина (как оказалось, хозяйка хаты) и запричитала, что мы такие голодные и утомленные, и она нам сейчас приготовит поесть. Мы сказали, что уже поели и хотим поспать. Тогда она предложила согреть воды, чтоб мы искупались. От этого мы не смогли отказаться, так как давно мечтали о купании.

Через минут 20 она опять появилась и сказала, что можно купаться, но у нее только одно корыто, и нам с Поповым придется купаться по очереди. Встал вопрос, кому идти первым. Я говорил, что это право Попова, поскольку это его территория, и он здесь главный воинский начальник, а Попов шутливо говорил, что первым должен идти я как представитель вышестоящего штаба. После непродолжительного спора я с удовольствием согласился купаться первым, и хозяйка повела меня через сени во

вторую комнату, посреди которой на полу стояло корыто с теплой водой, и лежал кусок мыла. Я остановился у корыта в нерешительности, а хозяйка сказала, что потрет мне спину, но если я стесняюсь при ней раздеваться, то она выйдет. Я сказал, что сделаю все без ее помощи, и она вышла. Видимо, в этом разговоре была какая-то двусмысленность, и каждый понимал его по-своему.

Я быстро разделся, сложил обмундирование справа от корыта, сверху пистолет в расстегнутой кобуре (немцы все же рядом), быстро намылился и лег в корыто. Когда я смыл с себя мыльную пену, вода стала настолько черной, что я не видел в ней контуров своего тела. "Надо вылезать из этого болота", — была первая мысль. Но тут же пришла вторая мысль: "Раз я уже лежу в этом теплом болоте, то полежу еще пару минут". С этой мыслью я задремал и очнулся оттого, что скрипнула дверь, и в дверном проеме я в полудреме увидел какой-то силуэт.

Дальнейшее происходило в автоматическом режиме. Я схватил пистолет и передернул затвор. В этот момент со стороны двери раздался истошный женский крик: "Ой, нэ вбывайтэ, рятуйтэ!". Я вмиг пришел в себя и увидел в дверях перепуганную хозяйку. На ее крик прибежали Попов, его ординарец, связисты и другие, кто находился около командира роты. Они застали интересную картину: посреди комнаты с пистолетом в руке стоит голый комсорг батальона, а в дверях бьется в истерику молодая красивая женщина.

Утром я пошел на КП батальона. Меня провожал ординарец Попова, поскольку в одиночку ходить не разрешалось. Он мне сказал: "А знаете, что о нас говорит местное население?". И рассказал, что женщины этого села перед освобождением от немцев договорились ни в чем не отказывать своим освободителям. Поскольку мы были сильно измучены и ни о чем, кроме сна и еды не мечтали, они решили сами проявлять активность, и вот к чему это привело. А могло быть хуже. Хорошо, что я никогда не ставил пистолет на предохранитель, т. к. не доверял ему и боялся случайного выстрела. Если бы пистолет был на предохранителе, мне не пришлось бы передергивать затвор и я бы выстрелил в направлении двери до того, как раздался крик хозяйки. На таком близком расстоянии я бы попал в нее не целясь.

Мемуар № 10

Нарушение формы одежды

На фронтовой фотографии я запечатлен в кубанке вместо пилотки, а вместо форменного поясного ремня гимнастерка подпоясана флотским ремнем с якорем на пряжке. Это нарушение формы одежды имело место не потому что я возымел желание придать себе бравый вид, а в силу сложившихся обстоятельств, не по моей инициативе.

А случилось это так. Во время короткого ночного отдыха внезапно была объявлена тревога. В темноте я не смог быстро разыскать свою пилотку, которая во сне свалилась у меня с головы, а зажечь огонь было нельзя, чтобы не нарушать светомаскировку. Времени на обстоятельные поиски пилотки в темноте не было, поэтому пришлось до утра воевать с непокрытой головой, а затем позаботиться о головном уборе, т. к. без него нельзя приветствовать старших по званию и самому отвечать на приветствия, поскольку к пустой голове, как известно, руку не прикладывают. Из-за того что вещевые склады сильно отстали от передовых частей, ребята нашли в какой-то пустующей избе эту кубанку и предложили ее мне. Она пришлась мне впору, привыкла к моей голове, и мне не хотелось с ней расставаться. После ранения пришлось в госпитале распрощаться с ней, как и со всем обмундированием.

Флотский ремень у меня появился после того как во фронтовой газете была опубликована статья "Михаил Качур, одессит", где проводилась параллель между мной и героем известной песенки "Одессит Мишка". Ремень подарила мне санинструктор нашего батальона, которая до прибытия к нам служила в морской пехоте и хранила ремень как память об этом. Я не мог отказаться от такого подарка, но носил этот ремень недолго, т. к. он был из сравнительно тонкой кожи и скручивался под тяжестью пистолета, который на нем висел.



1943 г. 3-й Украинский фронт.
Сержант-минометчик Михаил Качур

Пришлось заменить его ремнем из более толстой кожи и без всякой атрибутики на пряжке, который кто-то из моих комсомольцев снял с убитого немецкого офицера и отдал мне. Этот ремень я пронес через фронт и все госпитали и храню до сих пор за стеклом на книжной полке. Когда мой внук Никита был маленьким, я говорил ему, что специально привез этот ремень с фронта, чтобы пороть внука, если он будет плохо себя вести. Сейчас Никите уже 24 года, и он ни разу за все эти годы не дал повода выполнить ту угрозу. Такой хороший результат, конечно, не исключительно заслуга моего ремня. Но все же хочется думать, что не зря я привез и храню его.

Иногда, правда, бывают моменты, когда ремень меня огорчает. Если я снимаю его с полки и надеваю, то приходится застегивать его на последнее отверстие, в то время как в прошлом он застегивался на мне на первое отверстие. Поневоле вспоминаются слова шутиливой песенки:

Неужели, неужели, неужели
Наши годы, словно птицы улетели?
И наши талии, как дым, растаяли,
Оставив нам противное брюшко.

Мемуар № 11

Первое ранение

29 октября 1943 года в газете "Красноармейская правда" была опубликована статья "Михаил Качур". Там имеются такие строчки:

"В другой раз в бою был тяжело ранен командир роты. На время нарушилось управление взводами. Тогда Михаил Качур крикнул:

— Слушайте мою команду. Все по местам.

Приняв на себя командование ротой, товарищ Качур спокойно оценил обстановку. Расположил бойцов для обороны..."

После выписки из госпиталя я получил письмо с фронта, где мне сообщили, что в этой же газете в июне 1944 года была опубликована статья "Книга комсомольской славы". Там этот эпизод изложен по-другому, а именно: "Кучур Михаил. Сын героической Одессы. Заменял выбывшего командира и повел подразделение на штурм вражеских укреплений".

Итак, по прошествии семи месяцев, когда в дивизии из-за больших потерь сменился почти весь личный состав, оборона усилиями журналиста превратилась в героический штурм.

По прошествии 60-ти лет многие события того времени стерлись из

памяти. Многое помнится смутно. Но этот эпизод запомнился хорошо. Все происходило не так театрально и пафосно.

Рассказываю, как было. Нашему батальону была поставлена задача атаковать на рассвете оборону немцев и выбить их с занимаемых позиций. В этом бою я принимал участие в составе стрелковой роты. Когда мы пошли в атаку, нас встретил шквальный огонь. Рота понесла большие потери и атака захлебнулась. Не было связи с командирами взводов, прервалась телефонная связь и командованием батальона. В этот момент командир роты крикнул мне, что уходит в тыл, в санчасть, т. к. он ранен в ногу и согласно приказу должен покинуть поле боя. Действительно, был приказ о том, что при ранении необходимо покинуть поле боя и отправиться в санчасть, независимо от тяжести ранения. На мой вопрос, кто будет командовать ротой, он ответил, что не знает, кто из командиров взводов остался в строю. Я понял, что вся ответственность за то, что произойдет дальше в роте, ложится на меня, комсорга батальона. Положение было критическим. Нужно было немедленно выяснить обстановку на переднем крае и дать какие-то команды, т. к. солдаты, которыми никто не командует, могут под огнем противника запаниковать и отойти назад без приказа, а это — трибунал.

Я приказал связистам восстановить связь с КП батальона, а сам побежал на передний край. На бегу почувствовал тупой удар слева в грудь в области сердца. Гимнастерка начала намокать, и я решил, что убит. Из художественной литературы я знал, что в этот момент мутится сознание и перед глазами встают картины прошлого. Этого не происходило, поэтому я добежал до переднего края, пробежал вдоль цепи солдат, которые залегли, и передал по цепи приказание окопаться, занять оборону и приготовиться к отражению контратаки. Вернувшись на КП роты, я снял гимнастерку и увидел, что ранен в грудь навывлет по касательной. Когда меня перевязывали, я сказал, что когда бежал на передний край, за мной охотился немецкий снайпер, который сидит на дереве. Пулеметчик, который услышал это, выругался и сказал: "Сейчас я его, суку, порежу на куски вместе с деревом", — и дал по этому дереву несколько очередей. К тому времени восстановили связь с КП батальона, и я доложил комбату обстановку. Он одобрил мои действия и спросил, все ли со мной в порядке. Я сказал, что легко ранен, но могу оставаться в роте сколько потребуется, и он попросил меня остаться в роте до темноты. С наступлением темноты на КП роты прибыл комбат с офицерами резерва и восстановил нормальное управление ротой. Когда мы пришли на КП батальона, он приказал военфельдшеру перевязать

зять меня и доложить о характере ранения. После этого мне было приказано утром отправиться в санчасть полка, потому что с моим ранением оставаться в батальоне нельзя. Из санчасти полка, несмотря на мои протесты, меня отправили в медсанбат дивизии, где вылечившись и отоспавшись, я через две недели вернулся в свой батальон.

Интересно, что ни в одной из процитированных мною публикаций нет ни слова о том, что я, будучи раненым, не покинул поле боя. Думаю, что это сделано из воспитательных соображений, чтобы ни у кого не возникло мысли о возможности оставаться на поле боя при ранении даже из хороших побуждений, т. е. о возможности невыполнения приказа.

Мемуар № 12 Второе ранение и личное оружие

Меня назначили комсоргом батальона, и мне как офицеру полагался пистолет ТТ в качестве личного оружия. Это было отличное оружие, но его не было в наличии на складе. Пистолет ТТ отдал мне раненый лейтенант, который отправлялся в санчасть. Я настолько сдружился со своим пистолетом, что не пожалел для его чистки свой индивидуальный медицинский пакет. За это на следующий день я был наказан, т. к. будучи тяжело раненым в ногу, не имел чем перевязать ее и остановить кровотечение. Хорошо, что кто-то из солдат перевязал меня своим пакетом. Комсорг, принимавший у меня дела, предложил мне поменяться оружием, т. к. мой пистолет будет трудно спрятать в госпитале, и его отберут, а у него — маленький трофейный браунинг, который легко спрятать. Я согласился, и мы поменялись оружием.

В медсанбате после операции дежурная медсестра, записывая меня в журнал, радостно закричала, что давно хотела увидеть одессита Мишу, о котором писали во фронтовых газетах. Ее интерес ко мне был, конечно, приятен, но и обременителен, т. к. меня мучила боль в ноге и, самое главное, я стеснялся пользоваться при ней уткой, а выйти из помещения не мог, потому что был неподвижен. Приходилось использовать моменты, когда она отлучалась, и просить кого-то из раненых подать мне посудину. Накануне отправки меня в тыл она пожаловалась, что у нее нет личного оружия, и я отдал ей свой браунинг. Она была очень рада, и в эту ночь буквально не отходила от меня, а я скрежетал зубами от боли в ноге и со злостью думал: "Где ж ты, дура, была, когда я летом с легким ранением бесполезно проспал в медсанбате две недели с короткими перерывами на еду и перевязки?".

Разоружившись, я все же попал в переplet на почве оружия. После перевозки меня по разным эвакугоспиталям я в разгар зимы был перевезен в глубокий тыл в г. Рузаевку в Мордовии. Из вагона меня вынесли на носилках и поставили их со мною на перроне. Медики бегали мимо меня, а я лежал и терпеливо ждал, когда меня повезут в госпиталь. Я чувствовал, что начинаю замерзать, и стал кричать, чтоб меня забрали с мороза, но никто не обращал на меня внимания, и я решил действовать иначе. Я закричал, что если меня сейчас же не унесут с перрона, то перестреляю всех тыловых крыс, и стал имитировать поиск оружия под одеялом. Эффект был ошеломительный: перрон вмиг опустел, и я остался на нем один. Из вокзала мне кричали, что меня унесут сразу же, как только я выброшу оружие. Я кричал, что у меня нет оружия, но мне не верили. Поверили после того как я сбросил с себя одеяло.

В госпитале я чувствовал дискомфорт от необходимости пользоваться уткой и с нетерпением ждал, когда с меня снимут гипс и я смогу ходить в туалет. Наконец-то гипс сняли. Я научился сидеть, стоять, мне выдали костыли и разрешили понемногу ходить по палате. Я рассудил, что несколько ходок по палате это то же, что одна ходка до туалета, и совершил эту ходку. В туалете я грохнулся на пол, потеряв сознание, и меня отнесли в палату. Прибежал разъяренный и перепуганный начальник госпиталя и с обидой сказал мне, что они с большим трудом выходили меня и поставили на ноги, а я из-за своих фокусов чуть не испортил им всю работу. Он приказал забрать у меня костыли и разрешил ходить по палате только под наблюдением медсестры, которая будет приносить мне костыли. Если я нарушу этот порядок, то он посадит меня на цепь как собаку, а того, кто даст мне свои костыли, строго накажет. Из госпиталя я выписался с палкой и с удовольствием выбросил ее, когда смог без нее ходить.

Я надеялся, что больше никогда мне не придется пользоваться костылями или палкой. Увы, в 2002 году я попал в автоаварию и повредил раненную ногу. Опять больница, утка, костыли и палка. Мой внук Никита купил мне шикарную трость с рукояткой в виде собачьей головы. Все уверяли, что с этой тростью я выгляжу очень импозантно, и мне надо ходить с ней, даже если смогу без нее обходиться. Я не послушался этих советов и отказался от трости, как только это стало возможным. Сейчас эта трость стоит у вешалки как напоминание об автоаварии 2002 года и знак внимания заботливого внука.

Мемуар № 13 Почему я не люблю семечки

Немцы упорно сопротивлялись нашему наступлению. Их трудно было выбить с занимаемых рубежей. Но после того как это происходило, они бежали так быстро, что их трудно было догнать. Иногда бредешь под дождем по колено в раскисшем украинском черноземе и про себя думаешь: "Да остановитесь же, гады, дайте немного передохнуть. Повоюем немного — и отступайте себе дальше". Не внемлют, бегут. Ноги постоянно мокрые и очень хочется есть. Высушить портянки нет никакой возможности. Тогда, осенью 1943 года, я приобрел устойчивый насморк, который сопровождает меня всю жизнь.

Тыловые службы отстали, подвоз пищи прекратился, и мы перешли на самоснабжение. Из подножного корма в наличии оказался только созревший не убранный с полей подсолнечник. Стихийно процесс добывания пищи и процесс питания организовались следующим образом. Во время короткого привала солдаты атаковали подсолнухи, лущили из них семечки и набивали ими свои вещмешки. Во время следующего привала солдаты атаковали хаты, сдирали с них крыши и жарили семечки. При этом сухая солома с крыш использовалась в качестве топлива, а листы железа использовались в качестве жаровень. Затем жареными семечками заполнялись вещмешки. Раздача жареных семечек и прием пищи осуществлялся во время движения. Так мы питались несколько суток. Вначале было вкусно, затем не очень вкусно, а потом...

Сейчас я с недоумением смотрю на людей, которые покупают кулечки с жареными семечками и с удовольствием едят их. Неужели это приятно? Сырую погоду я тоже не люблю.

Мемуар № 14 Обмен часами

До войны наличие у советского человека наручных или карманных часов считалось признаком респектабельности, хотя нас постоянно уверяли, что советские люди живут самой счастливой жизнью. Первые часы появились у меня в девятнадцатилетнем возрасте, в 1943 году на фронте. Их подарил мне сержант-однопольчанин. Это были кировские карманные часы солидных размеров, и они меня вполне устраивали, потому что, хотя и с некоторой погрешностью, показывали время. Как-то

их увидел мой бывший старшина и попросил меня обменяться с ним часами. Он показал мне свои трофейные швейцарские карманные часы и объяснил, что они у него всего два дня — и вдруг остановились, а ему без часов никак нельзя. У меня же шире круг общения и больше возможностей найти человека, который их починит. Старшина был из Вознесенска Николаевской области, т. е. почти земляк, а это на фронте много значило. У нас были очень хорошие отношения, и я не мог ему отказать. Да и часы были очень красивые — не чета моей луковице. После того как мы распрощались, я стал любоваться часами, крутить заводную головку, и часы пошли, и шли довольно точно. Оказывается, мой земляк просто не завел их, когда кончился предыдущий завод. При встрече я сказал ему об этом, но он посчитал недостойным для себя обратный размен, хотя я и предложил.

В госпитале все любовались моими часами, но я, не будучи рабом вещей, вдруг влюбился в наручные позолоченные часы, которые принадлежали одному симпатичному выздоравливающему капитану. Я предложил ему обмен, и он согласился при условии, что я заплачу ему 2000 рублей, и обмен состоится в день его выписки из госпиталя. Доплата меня не смущала, т. к. денег у меня было достаточно, поскольку в госпитале я получал свой полный должностной оклад. Второе условие показалось мне странным, но капитан объяснил, что ему тяжело расставаться с любимыми часами, и он хочет продолжить владение ими как можно дольше. Это звучало не очень убедительно, но я согласился, т. к. очень хотелось занять капитанские часы. Обмен состоялся, как было договорено. Буквально на следующий день я обнаружил, что мои новые красивые часы то отстают на 20 мин., то разухабисто спешат на полчаса в сутки. Оказалось также при ближайшем рассмотрении, что позолота во многих местах сползла. Но капитан был уже далеко. Я с нетерпением ждал выписки из госпиталя, чтобы пойти к часовому мастеру и починить часы. Часовщик сказал мне, что мои часы — это так называемый "цилиндр". Ремонту они не подлежали; когда они начинают барахлить, их просто надо выбросить, т. к. на запчасти они тоже не годятся. В общем, облапошил меня капитан, хотя я и знал афоризм Козьмы Пруtkова: "Люби ближнего, но не давайся ему в обман".

Мемуар № 15 О ВОИНСКОМ ЗВАНИИ

Я длительное время чувствовал дискомфорт из-за того что пребывал во внештатной ситуации в связи с несоответствием моего воинского звания "сержант" занимаемой офицерской должности. После выписки из госпиталя я состоял на воинском учете по линии первого отделения военкомата как сержант по званию, а пенсию по инвалидности получал по линии третьего отделения как офицер по должности. Из-за привычки к порядку во всем, особенно в документах, я все время пытался привести в соответствие одно с другим, поэтому при каждом вызове в военкомат для периодической проверки военно-учетных документов твердил, что надо прояснить вопрос о моем звании. Со мной соглашались, обещали это сделать, но время шло, а результатов не было. Тогда я сам стал писать в Минобороны СССР, и в 1953 году, т. е. через 8 лет после окончания войны, мне и военкомату сообщили, что приказом командующего войсками 46 армии 3-го Украинского фронта от 8 ноября 1943 г. мне присвоено звание "младший лейтенант". Получается, что этот приказ был подписан через 6 дней после того как я 2 ноября был тяжело ранен и эвакуирован в тыл. Следует отметить, что во фронтовой обстановке это заурядный случай, т. к. в часть нередко приходили приказы о наградах и повышении званий на раненых и убитых. Итак, в моих воинских документах все пришло в соответствие, и я больше не чувствовал дискомфорта по этой причине.

Когда мне исполнилось 70 лет, я стал ощущать дискомфорт по другому поводу. Дело в том, что когда человек разменял восьмой десяток лет, а в документах у него значится, что он "младший", то это выглядит комично. И тут меня выручил Президент Украины, который к 50-летию освобождения Украины от немецкой оккупации издал в 1994 г. Указ о награждении всех фронтовиков орденами. На деле оказалось, что Кабинету министров президентский Указ — не указ, и многие фронтовики до сих пор еще не получили этих наград из-за того что Кабинет министров не может изыскать средств для оплаты работ по изготовлению этих орденов в нужном количестве.

К 55-й годовщине освобождения Украины от немецкой оккупации этот печальный опыт был учтен и изыскан беззатратный способ поощрения фронтовиков. Был издан Указ о присвоении офицерам-фронтовикам очередных воинских званий, вплоть до полковника. Из моего воинского звания исчезло слово "младший", и я стал просто лейтенантом.

Но и с этим указом не обошлось без недоразумений. После того как указ был опубликован, пенсионеры Министерства обороны ринулись в военкоматы за прибавкой к пенсии, т. к. военная пенсия исчисляется с учетом доплаты за воинское звание, и чем это звание выше, тем доплата больше. Однако им разъяснили, что повышение звания по этому Указу — только моральное поощрение и финансовых последствий не имеет.

Видимо, руководство страны считает такое положение дел нормальным, т. к. присвоение очередных беззатратных воинских званий фронтовикам к очередной юбилейной дате освобождения Украины от оккупации стало традицией. В 2004 году в связи с 60-й годовщиной освобождения Украины я стал уже старшим лейтенантом. Если все пойдет и дальше в таком темпе, то, чтобы стать полковником, мне надо прожить 100 лет. Это непростая задача, но утешает мысль, что хоть зять у меня — полковник.

Мемуар № 16 **Полковник Татарников**

В 1944 году после выписки из госпиталя с инвалидностью второй группы я получил письмо с фронта, где были такие слова: "Бати семерки нет. Будешь в Одессе — найдешь его там". Батя — это командир полка, семерка — это последняя цифра номера 1147 стрелкового полка, а слово "нет" означает "убит". В переводе на общепонятный язык это означает, что командир 1147 стрелкового полка убит и похоронен в Одессе. Если бы в письме эта информация была изложена общепонятным языком, то она бы не дошла до меня, т. к. была бы вымарана военной цензурой.

С командиром 1147 полка подполковником Татарниковым у меня связано два воспоминания. Я отчетливо помню, как незадолго до форсирования Днепра он вручал мне орден Отечественной войны второй степени перед строем батальона. Это был первый орден Отечественной войны в нашем полку, и на него, а заодно и на меня прибегали смотреть однополчане. Второй случай произошел на наблюдательном пункте командира полка, где я находился, будучи в должности комсорга полка. В этот момент меня тяжело ранило в ногу осколком снаряда, и я потерял способность передвигаться. Доложили командиру полка. На наблюдательном пункте была очень напряженная тревожная обстановка, но он отвлекся от срочных дел, связался со штабом полка и приказал немедленно эвакуировать меня в индивидуальном порядке. За мной сразу же прислали пароконную бричку и на ней галопом помчали меня в ближний тыл в медсан-

бат дивизии. Там меня немедленно прооперировали и извлекли из колена осколки снаряда и кости. Кто знает, удалось ли бы спасти мою ногу, а может, и жизнь, если бы все не было сделано так быстро благодаря командиру полка. В 1943 году, когда это происходило, ему было около 40 лет, но мы между собой звали его батей. Тут нет ничего удивительного, потому что нам в основном было в районе 20 лет, но в этом обращении подчеркивалась не столько разница в возрасте, сколько уважение к умелому командиру, который добивался боевых успехов с минимальными людскими потерями.

Убит Татарников в должности командира того же 1147 полка в звании полковника недалеко от Тирасполя в боях за освобождение Молдавии и похоронен в Одессе. Когда после войны я вернулся в Одессу, то нашел его могилу на воинском захоронении на Куликовом поле. Потом на этом месте решили построить здание обкома партии, и воинское захоронение перенесли на 2-е Христианское кладбище. Когда я бываю там и подхожу к могиле полковника Татарникова, то в голову приходит мысль: "Хорошо, что воинское захоронение перенесли на кладбище, и больше не возникает необходимость тревожить останки погибших воинов, чтоб использовать занимаемое ими место для более прагматичных целей".

Мемуар № 17 **О СВЯЗИ И СВЯЗИСТАХ**

В декабре 2004 г. у меня вытащили из кармана мобильный телефон. К чувству огорчения от потери хорошей вещи, к которой я привык, примешивалось еще и чувство стыда: как же я — коренной одессит, выросший в центре блатного мира, на одесской Молдаванке, — допустил, что какой-то "щипач" сделал меня, как заезжего лоха из Жмеринки? О своей потере я в расчете на сочувствие сообщил дочери. Ее реакция, как это часто бывает, оказалась непредсказуемой. "Ура! — закричала она. — Теперь я знаю, что подарить тебе на Новый год!" И подарила новый телефон, намного лучше, чем украденный. Я держу в руках эту маленькую изящную вещь и думаю: "Как все стало просто". Достаточно, имея деньги, зайти в магазин, и у тебя в кармане средство связи весом в 100 грамм, при помощи которого ты можешь связаться с любой точкой земного шара. Если бы мы во время Отечественной войны обладали подобными средствами связи, то сколько тысяч жизней связистов было бы сохранено, и насколько эффективней было бы руководство боевыми действиями!

Связь командования батальона с командованием полка осуществлялась по полевому телефону, а во время движения — по радию. Рация представляла собой громоздкое и тяжелое изделие, которое обслуживали радист и его помощник. Обязанности помощника были чисто транспортными, он нес на себе рацию, а радист в это время обеспечивал связь. Связь батальона с ротами была по телефону, а связь ротного командира с командирами взводов — через посыльных. Телефонная связь часто повреждалась, и ее приходилось восстанавливать под обстрелом, что приводило к большим потерям среди связистов. Но больше всего потерь было среди посыльных, которые обеспечивали связь между командирами роты и командирами взводов. В их обязанности входило добежать часто по открытой местности и под обстрелом от командного пункта роты до командира взвода, передать приказание, вернуться и доложить о выполнении и обстановке на переднем крае. Не все добегали.

Многие из тех, кто не добегал, остались бы живы, если бы тогда имелись такие средства связи, как сейчас. В то же время возникает мысль, что технический прогресс распространяется не только на средства связи, и что благодаря техническому прогрессу появились и очень эффективные средства уничтожения всего живого и неживого в виде ядерного оружия. Так что, может, и хорошо, что Отечественная война шла в условиях технического уровня 40-х годов прошлого столетия, а то общие потери могли бы быть намного больше. Видимо, правильно, что для истории не существует сослагательного наклонения, и не следует мысленно делать перемонтаж исторической обстановки по своему разумению.



Формула Булаха

Сын Глеба Дмитриевича Булаха передал книгу воспоминаний своего отца — бывшего преподавателя Одесского водного института — Михаилу Михайловичу Жванецкому, бывшему студенту того же Водного. Передал с гордостью, что судьбы этих людей пересеклись.

Так книга эта, изданная в Киеве, "Путь в неизведанное", оказалась в Одессе — городе, где Глеб Дмитриевич прожил без малого тридцать лет.

Так книга эта оказалась не только в редакции, но и у М.Б. Пойзнера — тоже бывшего студента Водного, которому тоже выпала удача в конце шестидесятых годов уже прошлого века учиться сопромату у самого Глеба Дмитриевича Булаха.

Как я теперь понимаю, Глеб Дмитриевич являл собой тот, увы, наверное, уже навсегда исчезнувший тип разностороннего инженера не только с широким техническим кругозором, но и впечатляющим общекультурным уровнем. Тем более духовным...

Конечно, прежде всего, он был инженером. Инженером с большой буквы.

Ко времени моего знакомства с Глебом Дмитриевичем возраст его приближался к 70-ти. Так или иначе, этого нельзя не учитывать.

Что запомнил я?

Жил Глеб Дмитриевич одиноко. Это то внутреннее одиночество, которое зачастую скрашивается "нужностью" людям и делу, которому ты служишь. Преподавание было, может быть, единственной возможностью "говорить с людьми" и общаться в среде, где ты "имеешь, что сказать".

Когда каждое твоё слово весомо.

Когда каждый символ в только что написанной на доске формуле ты пропустил "через себя".

Когда с помощью одной интонации можно расставить необходимые ударения и акценты. Акценты на всю жизнь...

Глеб Дмитриевич обладал талантом заинтересовать, увлечь, раскрыть инженерные перспективы. Сфера его инженерных интересов — от теоретической механики и теории упругости до строительной механики, механики грунтов и теории устройства корабля. Многого он пытался поведать нам. Или, как писал наш факультетский поэт: "...И фермы есть, и арки, неразрезные балки и бесконечно жесткая консоль...". И в этом всем он не только глубоко разбирался. Он этим жил.

Глеб Дмитриевич преподавал с легкостью. С легкостью человека, щедро дарящего, может быть, не столько знания, сколько сами принципы и подходы к усвоению и дальнейшему практическому применению знаний.

Он был легким, но не безразличным человеком. Согласитесь, какой все-таки соблазн стать безразличным, "отбывающим номер" преподавателем в условиях, когда

Связь командования батальона с командованием полка осуществлялась по полевому телефону, а во время движения — по радию. Рация представляла собой громоздкое и тяжелое изделие, которое обслуживали радист и его помощник. Обязанности помощника были чисто транспортными, он нес на себе рацию, а радист в это время обеспечивал связь. Связь батальона с ротами была по телефону, а связь ротного командира с командирами взводов — через посыльных. Телефонная связь часто повреждалась, и ее приходилось восстанавливать под обстрелом, что приводило к большим потерям среди связистов. Но больше всего потерь было среди посыльных, которые обеспечивали связь между командирами роты и командирами взводов. В их обязанности входило добежать часто по открытой местности и под обстрелом от командного пункта роты до командира взвода, передать приказание, вернуться и доложить о выполнении и обстановке на переднем крае. Не все добегали.

Многие из тех, кто не добегал, остались бы живы, если бы тогда имелись такие средства связи, как сейчас. В то же время возникает мысль, что технический прогресс распространяется не только на средства связи, и что благодаря техническому прогрессу появились и очень эффективные средства уничтожения всего живого и неживого в виде ядерного оружия. Так что, может, и хорошо, что Отечественная война шла в условиях технического уровня 40-х годов прошлого столетия, а то общие потери могли бы быть намного больше. Видимо, правильно, что для истории не существует сослагательного наклонения, и не следует мысленно делать перемонтаж исторической обстановки по своему разумению.



Формула Булаха

Сын Глеба Дмитриевича Булаха передал книгу воспоминаний своего отца — бывшего преподавателя Одесского водного института — Михаилу Михайловичу Жванецкому, бывшему студенту того же Водного. Передал с гордостью, что судьбы этих людей пересеклись.

Так книга эта, изданная в Киеве, "Путь в неизведанное", оказалась в Одессе — городе, где Глеб Дмитриевич прожил без малого тридцать лет.

Так книга эта оказалась не только в редакции, но и у М.Б. Пойзнера — тоже бывшего студента Водного, которому тоже выпала удача в конце шестидесятых годов уже прошлого века учиться сопромату у самого Глеба Дмитриевича Булаха.

Как я теперь понимаю, Глеб Дмитриевич являл собой тот, увы, наверное, уже навсегда исчезнувший тип разностороннего инженера не только с широким техническим кругозором, но и впечатляющим общекультурным уровнем. Тем более духовным...

Конечно, прежде всего, он был инженером. Инженером с большой буквы.

Ко времени моего знакомства с Глебом Дмитриевичем возраст его приближался к 70-ти. Так или иначе, этого нельзя не учитывать.

Что запомнил я?

Жил Глеб Дмитриевич одиноко. Это то внутреннее одиночество, которое зачастую скрашивается "нужностью" людям и делу, которому ты служишь. Преподавание было, может быть, единственной возможностью "говорить с людьми" и общаться в среде, где ты "имеешь, что сказать".

Когда каждое твоё слово весомо.

Когда каждый символ в только что написанной на доске формуле ты пропустил "через себя".

Когда с помощью одной интонации можно расставить необходимые ударения и акценты. Акценты на всю жизнь...

Глеб Дмитриевич обладал талантом заинтересовать, увлечь, раскрыть инженерные перспективы. Сфера его инженерных интересов — от теоретической механики и теории упругости до строительной механики, механики грунтов и теории устройства корабля. Многое он пытался поведать нам. Или, как писал наш факультетский поэт: "...И фермы есть, и арки, неразрезные балки и бесконечно жесткая консоль...". И в этом всем он не только глубоко разбирался. Он этим жил.

Глеб Дмитриевич преподавал с легкостью. С легкостью человека, щедро дарящего, может быть, не столько знания, сколько сами принципы и подходы к усвоению и дальнейшему практическому применению знаний.

Он был легким, но не безразличным человеком. Согласитесь, какой все-таки соблазн стать безразличным, "отбывающим номер" преподавателем в условиях, когда

ты — крупнейший инженер-практик, специалист по проектированию и расчетам прочности и остойчивости уникальных конструкций плавучих доков — должен снизойти до элементарных сопроматских истин, излагаемых перед примитивной студенческой аудиторией. И так каждый день. Из года в год — каждый день...

Он мог снизойти. Без оборотной стороны медали...

Я надолго запомнил оброненную им фразу об одном отчисленном за неуспеваемость студенте: "...Может быть, он раньше нас понял, что *средние* инженеры никому не нужны...". Мысль, более чем актуальная, в нашей повседневной действительности.

...Любой, кто мало-мальски сталкивался с сопроматом, хотя бы слышал о формуле Журавского — классической зависимости для определения величин касательных напряжений. В Водном институте эту формулу можно было легко запомнить по своеобразной расшифровке принятых буквенных обозначений:

$$T(\text{толкнешь}) = \frac{K(\text{Календарьяну}) \times C(\text{сопромат})}{B(\text{будешь}) \times I(\text{инженером})} \dots$$

Не в обиду любимому всеми Л.Х. Календарьяну, Булаху ничего не надо было "толкать" или делать "через себя". Сама обстановка "вокруг Булаха" заставляла, вернее сказать, настраивала на хотя бы любознательное отношение к этой дисциплине. А это уже немало!

Что до так называемых "*касательных напряжений*", то, как следует из приводимых ниже текстов воспоминаний, Глеба Дмитриевича *касалось* и *коснулось* многое... А *напряжений* и *перенапряжений* хватало бы на несколько жизней.

...Весьма трогательно было наблюдать, как из года в год Глеб Дмитриевич на "последнем звонке" дарил всем(!) девушкам духи. Гидротехники это хорошо помнят.

На лекции он мог внезапно вспомнить и процитировать "с выражением" отрывок из какого-нибудь замысловатого, "не затертого" стихотворения Лермонтова, Некрасова или Саши Черного. При этом Глеб Дмитриевич протирали очки, отрешенно смотрел как бы в сторону. Теперь я понимаю, что, очевидно, стихотворения эти возвращали его в какую-то конкретно пережитую жизненную ситуацию, к конкретным людям и поступкам. А жизнь загоняла его в угол не единожды...

Экзамены Глеб Дмитриевич принимал без особого ажиотажа. И это по сопромату! Обстановка была самая демократичная. Правда, перед ответом по билету Глеб Дмитриевич любил давать задачки с подвохом. Но при этом он не мог скрыть улыбки, которая тут же выдавала его благородные намерения.

Сочетание сопроматской строгости и инженерной смекалки с неизменной доброжелательностью. Вот таким запомнился наш Глеб Дмитриевич.

Может быть, это и была основная формула, выведенная всей предыдущей жизнью — жизнью человека своего времени. Не изменившего ни времени, ни себе.

Михаил ПОЙЗНЕР

Глеб БУЛАХ

Арест. Тюрма. Допросы*

19-го сентября около двенадцати часов ночи раздался звонок, кто-то из соседей открыл дверь и, постучавшись ко мне, испуганным голосом, сказал: "Глеб Дмитриевич, к вам пришли!". В комнату вошли трое вооруженных военных, скомандовали "Руки вверх!" и начали обыскивать меня. Убедившись, что у меня нет оружия, пересмотрели вещи и книги; не найдя ничего криминального, опечатали мою комнату, дали поцеловать сына Кирюшу, спавшего в соседней комнате, и увезли меня в ДПЗ на улицу Воинова, где я уже имел несчастье быть в 1922-м году.



Глеб Булах. 1930-е годы

После обыска в приемнике у меня отняли подтяжки и поясной ремень (чтобы я не повесился), отрезали пуговицы и, посадив в маленький чулан — "собачник", сказали, что утром будет допрос. Допрос проводил оперуполномоченный Паршин (по-видимому, кличка). После обычных анкетных вопросов последовало: "В чем вы признаетесь?" (вместо предъявления обвинения). Я отвечаю, что мне не в чем признаваться, на что Паршин говорит, что это обычный ответ преступника, но, как известно, НКВД зря людей не арестовывает. На этом допрос закончился, мне предложили подумать и отвели в общую камеру, где в громадной толпе заключенных я увидел человека в лохмотьях, с длинной седой бородой.

Это был М.М. Оболянинов, которого я всегда видел чисто выбритым, элегантно одетым. Он уже два с половиной месяца как был арестован, очень холодно мы с ним поздоровались, так как в то время я, не понимавший сути происходившего, считал, что он подло вел себя по отношению ко мне, когда в декабре 1937-го года поддакивал Коробову, обвинявшему меня в саботаже на верфи. Только значительно позже я понял, что тогда, в 1937-м году, Михаил Михайлович ничего не мог сделать, чтоб защитить меня. Осуждать его я не имел права. Встретившись теперь, мы обменялись ничего не значащими фразами о том о сем. Только между прочим М.М. Оболянинов промолвил: "Вот увидите, батенька, что здесь творит-

*Глава из книги "Херсон. Путь в неизведанное" — Киев: Карбон, 2004.

ты — крупнейший инженер-практик, специалист по проектированию и расчетам прочности и остойчивости уникальных конструкций плавучих доков — должен снизойти до элементарных сопроматских истин, излагаемых перед примитивной студенческой аудиторией. И так каждый день. Из года в год — каждый день...

Он мог снизойти. Без оборотной стороны медали...

Я надолго запомнил оброненную им фразу об одном отчисленном за неуспеваемость студенте: "...Может быть, он раньше нас понял, что *средние* инженеры никому не нужны...". Мысль, более чем актуальная, в нашей повседневной действительности.

...Любой, кто мало-мальски сталкивался с сопроматом, хотя бы слышал о формуле Журавского — классической зависимости для определения величин касательных напряжений. В Водном институте эту формулу можно было легко запомнить по своеобразной расшифровке принятых буквенных обозначений:

$$T(\text{толкнешь}) = \frac{K(\text{Календарьяну}) \times C(\text{сопромат})}{B(\text{будешь}) \times I(\text{инженером})} \dots$$

Не в обиду любимому всеми Л.Х. Календарьяну, Булаху ничего не надо было "толкать" или делать "через себя". Сама обстановка "вокруг Булаха" заставляла, вернее сказать, настраивала на хотя бы любознательное отношение к этой дисциплине. А это уже немало!

Что до так называемых "*касательных напряжений*", то, как следует из приводимых ниже текстов воспоминаний, Глеба Дмитриевича *касалось* и *коснулось* многое... А *напряжений* и *перенапряжений* хватало бы на несколько жизней.

...Весьма трогательно было наблюдать, как из года в год Глеб Дмитриевич на "последнем звонке" дарил всем(!) девушкам духи. Гидротехники это хорошо помнят.

На лекции он мог внезапно вспомнить и процитировать "с выражением" отрывок из какого-нибудь замысловатого, "не затертого" стихотворения Лермонтова, Некрасова или Саши Черного. При этом Глеб Дмитриевич протирали очки, отрешенно смотрел как бы в сторону. Теперь я понимаю, что, очевидно, стихотворения эти возвращали его в какую-то конкретно пережитую жизненную ситуацию, к конкретным людям и поступкам. А жизнь загоняла его в угол не единожды...

Экзамены Глеб Дмитриевич принимал без особого ажиотажа. И это по сопромату! Обстановка была самая демократичная. Правда, перед ответом по билету Глеб Дмитриевич любил давать задачки с подвохом. Но при этом он не мог скрыть улыбки, которая тут же выдавала его благородные намерения.

Сочетание сопроматской строгости и инженерной смекалки с неизменной доброжелательностью. Вот таким запомнился наш Глеб Дмитриевич.

Может быть, это и была основная формула, выведенная всей предыдущей жизнью — жизнью человека своего времени. Не изменившего ни времени, ни себе.

Михаил ПОЙЗНЕР

Глеб БУЛАХ

Арест. Тюрма. Допросы*

19-го сентября около двенадцати часов ночи раздался звонок, кто-то из соседей открыл дверь и, постучавшись ко мне, испуганным голосом, сказал: "Глеб Дмитриевич, к вам пришли!". В комнату вошли трое вооруженных военных, скомандовали "Руки вверх!" и начали обыскивать меня. Убедившись, что у меня нет оружия, пересмотрели вещи и книги; не найдя ничего криминального, опечатали мою комнату, дали поцеловать сына Кирюшу, спавшего в соседней комнате, и увезли меня в ДПЗ на улицу Воинова, где я уже имел несчастье быть в 1922-м году.



Глеб Булах. 1930-е годы

После обыска в приемнике у меня отняли подтяжки и поясной ремень (чтобы я не повесился), отрезали пуговицы и, посадив в маленький чулан — "собачник", сказали, что утром будет допрос. Допрос проводил оперуполномоченный Паршин (по-видимому, кличка). После обычных анкетных вопросов последовало: "В чем вы признаетесь?" (вместо предъявления обвинения). Я отвечаю, что мне не в чем признаваться, на что Паршин говорит, что это обычный ответ преступника, но, как известно, НКВД зря людей не арестовывает. На этом допрос закончился, мне предложили подумать и отвели в общую камеру, где в громадной толпе заключенных я увидел человека в лохмотьях, с длинной седой бородой.

Это был М.М. Оболянинов, которого я всегда видел чисто выбритым, элегантно одетым. Он уже два с половиной месяца как был арестован, очень холодно мы с ним поздоровались, так как в то время я, не понимавший сути происходившего, считал, что он подло вел себя по отношению ко мне, когда в декабре 1937-го года поддакивал Коробову, обвинявшему меня в саботаже на верфи. Только значительно позже я понял, что тогда, в 1937-м году, Михаил Михайлович ничего не мог сделать, чтоб защитить меня. Осуждать его я не имел права. Встретившись теперь, мы обменялись ничего не значащими фразами о том о сем. Только между прочим М.М. Оболянинов промолвил: "Вот увидите, батенька, что здесь творит-

*Глава из книги "Херсон. Путь в неизведанное" — Киев: Карбон, 2004.

ся, но я не признал ни одного обвинения во вредительстве". Это была неправда. Через три или четыре месяца, знакомясь со всем нашим "делом", я прочел собственноручные "признания" М.М. Оболянинова во вредительстве, написанные им еще задолго до моего ареста. Разумеется, это были вымученные пытками "признания". Уже позднее я убедился, что почти все обвиняемые не выдерживают пыток и пишут самообвинения, но из чувства ложного стыда некоторые говорят своим товарищам по несчастью, будто бы на допросах они выдержали все и ни в чем не признались. Видимо, так же поступил и М.М. Оболянинов, но, не сказав мне, что именно он написал в "собственноручном признании", он обрек меня на ненужные страдания, которых я мог бы избежать, если бы знал, что уже было написано Оболяниновым.

На следующий день меня перевели в другую общую камеру, № 24, где я и провел почти год до августа 1939-го года. Я думаю, что меня отправили в камеру, где был Оболянинов, чтобы он рассказал мне все, что он уже написал, объяснил бы мне, что мне следует писать, чтобы не было разнобоя в показаниях, которого по правилам "следствия" не должно было быть, чтобы в "деле" не было бы явного брака. Это сильно упростило бы следователю Паршину его задачу выжимания из меня нужных показаний. А так как по тюремным правилам нельзя, чтобы в одной камере сидели двое по одному делу, поскольку они могут договориться, что именно нужно показывать, то, дав мне и Оболянинову время, чтоб обо всем договориться, Паршин сделал вид, что была допущена ошибка, и перевел меня в другую камеру, отделив от Оболянинова.

Какая ложь, какое лицемерие, что, впрочем, часто встречается всюду и везде! Попав в камеру № 24, как новичок я сразу же подвергся беглому опросу со стороны арестованных. Меня спросили о национальности, профессии и должности, а получив ответ, сразу безошибочно определили мне статью 58 пункты 7, 10, 11. Именно эти пункты и были всем нам инкриминированы, о чем я доподлинно узнал, уже когда по окончании так называемого "следствия" читал "дело".

Когда я поразился этой проницательности, раздался хохот, а потом мне объяснили, по каким признакам стряпаются обвинения. Военным приписывается измена Родине (п. 1а). Инженерам с русской фамилией — вредительство (п. 7). Людям с иностранной фамилией — шпионаж (п. а, б). Старым партийцам и молодежи-студентам — террор (п. 8) и т. д. Все делается очень просто, объяснили мне, и я узнал о страданиях во время допросов. Одних держали на стойке по несколько суток, пока они не валились с отека-

шими ногами, других били линейками по шее и по пальцам, третьих топтали сапогами несколько человек сразу и т. д. и т. д. А когда наступила ночь, и последовала команда "ложиться спать и прекратить разговоры!", в камере затихло, а сквозь открытое окно откуда-то снизу стали доноситься стоны и вопли тех, кого в это время пытали на допросах.

Пять дней меня на допрос не вызывали. Так поступали со всеми вновь арестованными для того чтобы за эти дни они поняли, что выхода нет, что бессмысленно убеждать следователя в своей невиновности и что меньше всего страданий будет, если согласиться признать себя виновным в том, что требуется следователю. При мне втащили после допроса инженера текстильной фабрики тов. Дубинина, обвиняемого в поджоге с целью совершить диверсию. Ни в чем не повинный крепкий здоровый мужчина пробовал отрицать свою вину. Его избивало несколько садистов. С опухшей шеей, выломанными пальцами его, потерявшего сознание, втащили в камеру солдаты. Мы долго приводили его в сознание. Поняв бесполезность сопротивления, через несколько дней, когда его снова вызвали на допрос, он сдался и подписал все, что требовалось следователю, обрекая себя тем самым на расстрел или на долгий срок лагерей. Один из арестованных, вернувшись с допроса, несколько недель мочился кровью. Его били сапогами по животу и по спине и, видно, повредили мочеполовые пути и органы.

После такой подготовки я был вызван на допрос. В ответ на мой отказ признать себя виновным во вредительстве и уверения в том, что на стройке доков удалось добиться высокого качества, Паршин объяснил мне, что так именно всегда и бывает у вредителей: для того чтобы замаскировать свои контрреволюционные замыслы, они создают впечатление, что у них работа идет очень хорошо. Я продолжал отрицать свою вину, и тогда Паршин приказал мне стать лицом к стене и обещал, что я буду стоять, пока не образумлюсь. Кроме того, он деловито объяснил, что для вразумления таких, как я, у него есть линейка, чтоб бить по шее. Далее он пояснил мне, что я не должен иметь каких-то иллюзий насчет того, что я могу выйти отсюда на свободу. А если я очень надоем своим упорством, то в подвале мне придется вытерпеть специальное наказание, иногда заканчивающееся смертью тут же.

Все это почему-то на меня не произвело впечатления, обычная моя нервозность и пессимизм исчезли. Я оступел и чисто машинально сопротивлялся, стоя у стенки, отрицая обвинение во вредительстве. Подошло обеденное время, и Паршин, закончив писать какие-то свои бумаги, отправил меня с цири́ком (часовым) в камеру, с тем чтобы, как только я

пообедаю, меня привели бы обратно. Пока я ел оставленный мне обед, мои товарищи по несчастью расспрашивали меня о допросе и давали практические советы, как вести себя, чтоб меньше мучиться. Но цирик скоро вернулся и отвел меня во флигель, где помещались кабинеты следователей. Паршин был занят, и меня поставили в один из шкафов, стоящих в коридоре. Шкаф был из тонкой фанеры, в рост человека, площадью примерно 60х60 сантиметров. Снаружи его можно было принять за шкаф для верхней одежды или для бумаг. Но в таких шкафах были люди, ожидающие допроса. В нем можно было только стоять, не прислоняясь к стенкам. Присесть было невозможно, а опереться на стенку можно было лишь с риском, что шкаф повалится, после чего были неизбежны зверские побои. Так я простоял много часов, а на следующее утро был вызван в кабинет Паршина.

Пока я был в шкафу, через щели видел, как вводят и выводят арестованных — в оборванной одежде, подвязанных вместо отобранного пояса полотенцем (чтоб не падали брюки), небритых и нечесаных. Видел я и арестованных женщин. До сих пор я не могу забыть то, что слышал тогда в первые сутки моих мучений. Из одного из следовательских кабинетов с двойными дубовыми дверьми начали доноситься все более и более громкие стоны и голоса, и наконец я смог разобрать женские крики: "Как вам не стыдно, что вы делаете! А, а, а! Что вы делаете! Мне больно, за что вы мучаете меня? Аа, ай, ай... Неужели у вас нет матери или сестры... ай, ай, ай... Ведь я годилась бы вам в матери! Хоть о своей матери вспомните! Бейте по лицу, по рукам, только не по груди, умоляю вас!". Невыносимо было слышать это, а каково было ей, этой несчастной, виновной, наверное, лишь в том, что ее муж или сын был арестован, подвергнут пыткам и осужден зловещим Особым совещанием. А может быть, она носила какую-нибудь иностранную фамилию, и это послужило причиной ареста.

За эти долгие часы в шкафу я понял, что в этом страшном застенке возможный единственный путь к спасению — это уступить озверевшим садистам и в чем-нибудь обвинить себя, чтоб уменьшить меру своих страданий, но при этом стараться перехитрить этих палачей. И когда меня снова вызвали к Паршину, я согласился писать так называемые "собственноручные показания". Во всеобщей атмосфере лжи, очевидно, для следователя считалось плюсом, что он "перевоспитал преступника" и убедил его раскаяться и обвинять самого себя. Трудно оценить и сравнивать с чем-либо всю бездну лицемерия, лжи, ханжества, которые были заложены в этой методике, общепринятой в те страшные времена.

Мне дали перо, бумагу и разрешили сесть за столик для обвиняемых. Мне уже необходимо было сесть, ибо за сутки стояния без сна я совершенно обессилел. Я не знал, что впереди еще трое суток без сна и без отдыха. Оупение мое прошло, и мозг лихорадочно работал. Наивно рассчитывая перехитрить следователя, я писал об обычных неполадках, бывающих на любой стройке, бывших и у нас. Я рассчитывал, и в этом сказалась моя наивность, что, преувеличивая значение имевшихся мелких недочетов, я дам следователю необходимый материал для обвинения меня в халатности, небрежности и в других неполитических преступлениях, от чего на суде я легко мог бы защититься. Но это была бесполезная попытка. Прочтя написанное мной, Паршин все разорвал, снова поставил меня на стойку и сказал, что от меня требуются не такие несерьезные самообвинения, а признания во вредительстве.

После нескольких часов стойки меня снова отвели в камеру на обед и сразу же вернули к Паршину. Я опять принялся писать про неполадки, сопровождая каждую фразу словами "из вредительских соображений...", но все написанное Паршин тотчас же по прочтении рвал и говорил, что все это не то, что нужно, что я не хочу чистосердечно признаваться. Я готов был написать на себя что угодно, но я никак не мог догадаться, что именно было нужно писать, и Паршин отправлял меня опять в проклятый шкаф, где я не мог даже вздремнуть и терзался душой, не понимая, что же я должен написать, чтоб избавиться от мучений. Если бы Обольянинов подсказал бы мне, что надо писать, от скольких мучений я бы избавился!

До сих пор не могу понять поведение следователей при таких допросах. Не сомневаюсь, что Паршину и ему подобным было ясно, что все дело липовое, как и все дела, которые велись в те времена. И все эти следователи не могли не понимать, что большинство допрашиваемых и рады были бы избавиться от мучений, но не знали, как и что надо писать, чтоб обвинить себя. Не легче ли и для арестованных, и для самого следователя было подсказывать, что именно надо написать? А вместо этого следователь делает вид, что он добивается искреннего признания, рвет все, что не подходит к намеченной схеме обвинения, зря мучит арестованного и тратит свое собственное время, и, я думаю, и нервы. Каким бы извергом ни был следователь, все то, что он делал в пыточных камерах, не могло проходить бесследно для его нервов и психики. Единственное объяснение я нахожу в том, что следователи сами боялись. Боялись, что кто-нибудь донесет, что идет подкачка, официально не допускаемая, что это будет поводом для создания дела против самого следователя. Страх, страх, повсю-

ду страх! Под страхом живут допрашиваемые, под страхом живут и те, кто сеет страх среди допрашиваемых.

Уже кончались третьи сутки моего допроса без сна и без отдыха, а я никак не мог догадаться, что же я должен писать. К слову "вредительство" я уже привык и не боялся в своих "показаниях" писать это слово в каждой строчке. Но все было не то, что нужно, и все, что я писал, Паршин рвал. Наконец Паршин, видя мою готовность написать то, что ему требовалось, и вместе с тем, видя мою безнадежную бестолковость, пояснил мне, что я должен написать, кто и в какую организацию и при каких обстоятельствах (дома или в ресторане и т. п.) меня завербовал и кто завербован мною. Это меня очень испугало, так как термин "вербовка" я читал в жутких брошюрах, выпускавшихся в последнее время ("О методах работы иностранных разведок"). Вербовали и сами были завербованы расстрелянные Ягода, Бухарин, Лифшиц и др. Но делать было нечего, надо было что-нибудь писать, чтобы меня отпустили и дали бы заснуть.

Тот, кто не пережил пытки лишением сна и стоянием на ногах, не может представить себе, как это мучительно. После трех суток пытки все тело у меня ломило, каждый нерв ныл, и я был готов на все, даже на смертный приговор, лишь бы избавиться от этого мучительного состояния. Подумав немного, я написал, что меня, пригласив к себе домой, завербовал Обольянинов как мой прямой начальник, и что я завербовал своего помощника на стройке инженера Пашкова на пароходе Одесса-Херсон. Оба уже больше двух месяцев как были арестованы, и мои показания не могли им повредить.

Это вполне удовлетворило Паршина, но когда я написал, что наша организация была монархической, Паршин обругал меня и порвал все написанное. По простоте душевной я решил, что поскольку и Обольянинов, и я дворяне (за что уже все прошлые годы было немало притеснений), для нас самой подходящей организацией должна быть только монархическая. Но, оказывается, это не подходило. У меня уже не было больше сил, и я решил, что пусть они меня убивают, но только бы сейчас меня отпустили, чтоб я мог в камере броситься на пол и заснуть. И я написал заново все басни о вредительстве и закончил тем, что мы были в троцкистской организации. Страшнее этого я ничего не знал, так как из газет вычитал, что самые страшные враги народа — это Троцкий и его сын Седов. Когда Паршин все это прочел, с ним чуть не сделалось дурно. Он засунул меня в шкаф, а сам куда-то убежал.

Вскоре он вызвал меня из шкафа. Вместе с ним в кабинете был началь-

ник отделения Иванов. Тот объявил мне, что я солгал, что принадлежу к троцкистской организации. А я, ничего не понимая, не сознавался в том, что я лгу. Тогда, задыхаясь от злости, Иванов заорал: "Ты думаешь нас околпачить и выставить нас ротозеями! Да разве при нашей бдительности мог бы Троцкий иметь теперь здесь свою организацию? Все троцкисты уже ликвидированы. Пиши правду!". И с этими словами он разорвал все написанное мною.

Что делать? Опять писать десятки страниц и опять написать что-нибудь, что не подходит! И я, прежде чем садиться писать все сначала, закинул удочку, чтоб знать, подойдет ли то, что мне пришло в голову. Недавно в газетах я прочел о ликвидации органами НКВД какого-то право-левого блока Сырцова-Ломинадзе, и я заикнулся о принадлежности к этому блоку. Но сразу же услышал букет ругательств. Тогда из последних сил я выжал из себя еще один вариант — мы были в организации без названия при Наркоме водного транспорта Пахомове, ныне арестованном. Посоветовавшись между собой, Иванов и Паршин решили, что это подойдет, и что я могу написать о причастности к организации, возглавляемой Пахомовым.

Я написал снова все показания и думал, что меня наконец отпустят. Уже кончались четвертые сутки без сна, но меня не отпустили. Вошел в кабинет начальник отдела с тремя кубиками в петлицах, сел на стол и, покачивая ногами, сказал, что я написал не всю правду. "Где же признания, что ты был шпион?".

— Какой еще шпион? — спросил я, еще ничего не понимая.

— А такой, что раз ты вредитель, то должен быть и шпионом, — разъяснил Александров (начальник с тремя кубиками).

Самым позорным и ужасным, по моим взглядам, было предательство моей Родины, моей России, и за шпионаж, без сожаления, я сам расстреливал бы шпионов. И я, не выдержав, вскочил и закричал: "Что хотите, делайте со мной! Я написал всю липу, которая вам требовалась, но шпионом я не был и такой мерзости про себя не напишу. Убивайте меня, но этого от меня не дожидетесь!". Видимо, у меня был такой решительный вид, что Александров примирительно, спокойно объяснил мне, что будто бы вредительство всегда сопровождается чем-нибудь иным — "шпионажем, террором или хотя бы диверсиями", и что-нибудь из этого должно было быть и у меня. И я должен написать об этом в собственноручном показании.

Признать себя террористом, как мне казалось, — это верная смерть. И я выбрал менее страшное, как мне думалось. Я заявил, что напишу, что

пытался совершить диверсию. Прежде чем дать мне дописать насчет диверсии, Александров спросил, что именно за диверсию я пытался совершить. Я мгновенно придумал, что хотел затопить котлован, где строились доки, и тем самым уничтожить их. Это мне пришло в голову, потому что весной 1937-го года в Херсоне было сильное наводнение, и нам поистине героическими усилиями удалось спасти котлован от затопления. Впрочем, если бы котлован даже был бы затоплен, то для дока не было бы ничего опасного, кроме задержки в ходе строительства. Но Александрову эта чепуха понравилась, и он хотел только уточнить, каким путем я затоплю котлован. Я ответил первое, что пришло на ум, что намерен был взорвать шпунтовую перемычку, отделяющую котлован от Днепра. Александров этот вариант отверг, так как бдительность НКВД не допустила бы меня к взрывчатке. Тогда я придумал еще более нелепый вариант — ночью, когда ночной сторож уйдет с перемычки в обход, я намеревался незаметно подбежать к перемычке и вытащить одну из шпунтовых свай. Вода, хлынувшая в эту брешь, мгновенно разрушила бы перемычку, затопила бы котлован и строившийся док. Этот вздор был санкционирован, и я приписал к моим "показаниям" и эту чепуху, после чего был отпущен в камеру. Самое страшное во всем этом было то, что и следователи, и Александров делали вид, что они не знают, что все от начала до конца — сплошная ложь, и то, что я тоже делал вид, что не лгу, а говорю серьезно, как будто делаю какое-то дело, предлагая разные варианты описания того, что не было и чего не могло быть.

Придя в камеру, я свалился на свое место под нарами, но долго не мог прийти в себя и заснуть. Через два или три дня я снова был вызван к Паршину. Мне дали подписать протокол допроса, написанный якобы с моих слов, содержащий в себе всю чепуху, написанную в моих "собственноручных показаниях", приложенных к протоколу. После этого я получил разрешение на получение передач с воли и на получение книг из тюремной библиотеки. Теперь я стал таким же, как большинство новых соседей по камере. Сестра делала мне денежные переводы, благодаря которым я мог выписывать из тюремной лавки папиросы, сахар, конфеты "Чио-Чио-Сан" (других не было), колбасу, масло, лук, чеснок и сырые яйца. Яйца, лук и чеснок спасали от цинги, а остальные продукты существенно улучшали тюремную пищу — баланду (суп) и каши.

Слова, слова, слова...

В анкетах и личных листках по учету кадров есть графа "какими иностранными языками владеете". Это очень характерно: математику, биологию, историю мы изучаем, языком — овладеваем. Овладеть — значит стать обладателем, подчинить себе. Трудно отделаться от ощущения насильственности этого процесса. Научившись в детстве говорить и писать, мы считаем, что родной язык находится в нашем полном подчинении. Но так ли это? Языки слово живут своей жизнью, куда более долгой, чем наша. Они обладают собственным умом и собственной волей. Раб Эзоп нередко делал своего хозяина предметом насмешек. Так и наше слово, которое мы считаем своей безраздельной собственностью, способно сделать явной нашу глупость, разоблачить нашу ложь, обнаружить наши истинные намерения. И это наше *собственное* слово. Что уже говорить о чужом, которое так и норовит подчинить нас чьей-то воле: заставить поверить в святость того или иного политика, благотворность той или иной акции власти, преимущество того или иного товара! Позднее выяснится, что политик был прохиндеем, акция — надувательством, товар — суррогатом, но дело сделано: мы уже избрали, одобрили, купили.

Сегодня мы привычно сетуем на упадок словесной культуры — на косноязычие газет и телевидения, на засилье матерщины в бытовой речи, на отсутствие у детей интереса к чтению... Но с другой стороны, именно сегодня родились прикладная лингвистика, паблик рилейннс, имиджелогия и ряд других наук, изучающих неограниченные возможности слова влиять на наше сознание и поведение. Если так, то кто кем владеет — мы словом или слово нами? Не будем спешить с ответом. Давайте пока рассмотрим к словам, среди которых живем.

Названия, которые мы выбираем

Как известно, самое трудное для человека — выбирать. Язык во многом облегчает наши муки: мы при всем желании не назовем стол домом, а дом — деревом. Однако в языке есть не только имена нарицательные, но и собственные — имена людей, клички животных, названия морей и далеких звезд, океанских и космических кораблей, городов и улиц, магазинов и учреждений... Их дают сами люди. В советскую эпоху возможности выбора имен собственных, особенно названий, были весьма скромными.

пытался совершить диверсию. Прежде чем дать мне дописать насчет диверсии, Александров спросил, что именно за диверсию я пытался совершить. Я мгновенно придумал, что хотел затопить котлован, где строились доки, и тем самым уничтожить их. Это мне пришло в голову, потому что весной 1937-го года в Херсоне было сильное наводнение, и нам поистине героическими усилиями удалось спасти котлован от затопления. Впрочем, если бы котлован даже был бы затоплен, то для дока не было бы ничего опасного, кроме задержки в ходе строительства. Но Александрову эта чепуха понравилась, и он хотел только уточнить, каким путем я затоплю котлован. Я ответил первое, что пришло на ум, что намерен был взорвать шпунтовую перемычку, отделяющую котлован от Днепра. Александров этот вариант отверг, так как бдительность НКВД не допустила бы меня к взрывчатке. Тогда я придумал еще более нелепый вариант — ночью, когда ночной сторож уйдет с перемычки в обход, я намеревался незаметно подбежать к перемычке и вытащить одну из шпунтовых свай. Вода, хлынувшая в эту брешь, мгновенно разрушила бы перемычку, затопила бы котлован и строившийся док. Этот вздор был санкционирован, и я приписал к моим "показаниям" и эту чепуху, после чего был отпущен в камеру. Самое страшное во всем этом было то, что и следователи, и Александров делали вид, что они не знают, что все от начала до конца — сплошная ложь, и то, что я тоже делал вид, что не лгу, а говорю серьезно, как будто делаю какое-то дело, предлагая разные варианты описания того, что не было и чего не могло быть.

Придя в камеру, я свалился на свое место под нарами, но долго не мог прийти в себя и заснуть. Через два или три дня я снова был вызван к Паршину. Мне дали подписать протокол допроса, написанный якобы с моих слов, содержащий в себе всю чепуху, написанную в моих "собственноручных показаниях", приложенных к протоколу. После этого я получил разрешение на получение передач с воли и на получение книг из тюремной библиотеки. Теперь я стал таким же, как большинство новых соседей по камере. Сестра делала мне денежные переводы, благодаря которым я мог выписывать из тюремной лавки папиросы, сахар, конфеты "Чио-Чио-Сан" (других не было), колбасу, масло, лук, чеснок и сырые яйца. Яйца, лук и чеснок спасали от цинги, а остальные продукты существенно улучшали тюремную пищу — баланду (суп) и каши.

Слова, слова, слова...

В анкетах и личных листках по учету кадров есть графа "какими иностранными языками владеете". Это очень характерно: математику, биологию, историю мы изучаем, языком — овладеваем. Овладеть — значит стать обладателем, подчинить себе. Трудно отделаться от ощущения насильственности этого процесса. Научившись в детстве говорить и писать, мы считаем, что родной язык находится в нашем полном подчинении. Но так ли это? Языки слово живут своей жизнью, куда более долгой, чем наша. Они обладают собственным умом и собственной волей. Раб Эзоп нередко делал своего хозяина предметом насмешек. Так и наше слово, которое мы считаем своей безраздельной собственностью, способно сделать явной нашу глупость, разоблачить нашу ложь, обнаружить наши истинные намерения. И это наше *собственное* слово. Что уже говорить о чужом, которое так и норовит подчинить нас чьей-то воле: заставить поверить в святость того или иного политика, благотворность той или иной акции власти, преимущество того или иного товара! Позднее выяснится, что политик был прохиндеем, акция — надувательством, товар — суррогатом, но дело сделано: мы уже избрали, одобрили, купили.

Сегодня мы привычно сетуем на упадок словесной культуры — на косноязычие газет и телевидения, на засилье матерщины в бытовой речи, на отсутствие у детей интереса к чтению... Но с другой стороны, именно сегодня родились прикладная лингвистика, паблик рилейшнс, имиджелогия и ряд других наук, изучающих неограниченные возможности слова влиять на наше сознание и поведение. Если так, то кто кем владеет — мы словом или слово нами? Не будем спешить с ответом. Давайте пока рассмотрим к словам, среди которых живем.

Названия, которые мы выбираем

Как известно, самое трудное для человека — выбирать. Язык во многом облегчает наши муки: мы при всем желании не назовем стол домом, а дом — деревом. Однако в языке есть не только имена нарицательные, но и собственные — имена людей, клички животных, названия морей и далеких звезд, океанских и космических кораблей, городов и улиц, магазинов и учреждений... Их дают сами люди. В советскую эпоху возможности выбора имен собственных, особенно названий, были весьма скромными.

Заводы, фабрики, учреждения, если не носили имя вождя или героя, обычно обозначались маловразумительными и нередко труднопроизносимыми аббревиатурами и сложносокращенными словами: ВДНХ, Укринтинз и т. п. Колхозы любили именоваться возвышенно-религиозными метафорами: "Светлый путь", "Новая жизнь", "Заветы Ильича". Кафе с хрущевских времен принято было давать сусально-романтические названия: "Юность", "Романтика", "Алые паруса". У магазинов, как у узников концлагеря, были не имена, а лишь номера: магазин "Продукты" № 15, магазин "Мебель" № 6, магазин "Одежда" № 9, аптека № 123. Таков был вкус советского государства, а так как ему принадлежало все, иных названий не было.

Теперь все не так: теперь все частное, и сам владелец вправе назвать свою фирму, магазин, банк или парикмахерскую как ему заблагорассудится. И он это делает. Его не прельщают ни религиозно-метафорические, ни сусально-романтические названия, и уж тем паче — аббревиатуры и номера. Что же более всего нравится ему?

Трудно понять, почему владельцам новоявленных фирм особенно приглянулись названия, связанные с эпохой античности, о реалиях которой у современных коммерсантов, похоже, весьма смутные представления. Посему эти названия часто настолько причудливо ассоциируются с тем, чем занимаются фирмы, что остается только догадываться, что же имели в виду учредители, когда давали своему детищу "античное" название.

Так, фирмы по продаже и обслуживанию кондиционеров называются "Аида" и "Электра". В первом случае это, наверное, намек на то, что Аида и ее возлюбленный Радамес, которые в финале оперы Верди встречают смерть, будучи замурованными, умирали бы гораздо более комфортно, если бы в их темнице были установлены кондиционеры. Ну, а героиня трагедии Софокла Электра имеет к электрическим приборам такое же отношение, как Пушкин к артиллерии.

Если бы имя слепого Гомера носила фирма по продаже оптики, это еще можно было бы как-нибудь объяснить по законам метафорического мышления, но фирма по продаже автомобилей... Разве если они вызывают своим видом и стоимостью гомерический хохот?

Автоматизированный "Эпикур". По давней традиции Эпикур ошибочно считается у нас философом, выше всего ставившим привычные и понятные нам земные радости бытия. В действительности же Эпикур был философом-стоиком, проповедовавшим самоотречение и отказ от этих самых радостей бытия, учившим стойко — стоически — встречать все невзгоды

жизни. И если уж автоматизированный называется его именем, то, надо думать, он торгует не новенькими "мерседесами" и "порше", а подержанными "запорожцами" и "москвичами", помогающими в самое короткое время выработать подлинно стоическое отношение к жизни.

Кстати, о стоиках и стоицизме. Известный американский писатель Теодор Драйзер некогда написал трилогию "Стоик", "Титан" и "Финансист". Как вы думаете: какое из этих названий более всего подходит для банка? А вот и не угадали. Недавно в Киеве мне довелось увидеть на здании вывеску: банк "Стоик". По-моему, это очень благородно: уже самим названием честно предупредить своих будущих вкладчиков о том, к чему им следует готовиться.

Столь же благородными, на мой взгляд, оказались и учредители некоторых строительно-монтажных фирм. Фирма "Сизиф" своим названием недвусмысленно дает понять потенциальным клиентам, что в ее исполнении строительство и монтаж — это не столько технологические процессы в строгом соответствии со СНиПами, сколько пожизненное наказание. Фирма "Мираж", надо думать, специализируется на строительстве воздушных замков. Своей вывеской строительная фирма "Фундамент" честно предупреждает: на большее не рассчитывайте.

Станция технического обслуживания автомобилей носит звучное название "Стикс". Как известно, Стикс — это река мертвых, т. е. река, отгораживавшая мир живых от подземного мира мертвых. Лодочник Харон за небольшую плату, кажется, в два обшла перевозил души умерших через Стикс к месту их дальнейшего вечного пребывания. Стикс (в римской мифологии эта река звалась Летою) — река смерти, река забвения. Теперь вы представляете себе, что вас ждет в самом скором будущем, если вы отремонтируете свою машину на станции техобслуживания "Стикс"? Судя по всему, далеко вы не уедете.

Аналогичные ассоциации вызывает и следующая вывеска: аптека "Терра". Все знают: "терра" означает "земля". Неужели это намек на то, что лекарства этой аптеки помогут вам в самом скором времени сродниться с землей не самым желательным для вас образом? Тогда вы уж сами решайте, пользоваться ли ее услугами.

Зоомагазин "Логос". Логос — это не просто слово, это и слово, и понятие, и сущность им обозначаемого. Почему именно так назван магазин, торгующий тварями бессловесными и уж вовсе не способными подняться до формирования понятий и освоения сущностей, — знают только хозяева этого магазина. Хотя подозреваю, что и они этого не знают.

Ломбард "Атлант". Как известно, Атлант держал на своих плечах земной шар. Почему его именем назвали ломбард? Я вижу этому единственное логичное объяснение. Видимо, хозяевам ломбарда была известна не известная всем остальным страница биографии античного героя, когда он, оставшись совершенно без средств к существованию, решил поправить свое материальное положение, заложив в доисторическом ломбарде вверенную ему ношу — земной шар.

Многие названия, и не только "античные", вызывают столь недоуменные вопросы, что ответить на них вразумительно вообще едва ли возможно. Интересно, чем, все-таки, торгуют в продовольственных магазинах "Кобра", "Мангуст", "Пантера"? Неужели...? А чем кормят в ресторане "Горгона"? Не блюдами же из медуз? Где именно предлагают нам места стоянки гаражные кооперативы "Арктика" и — тем более — "Космос"? Куда предлагает нам отправиться на отдых туристическая компания "Икар"? Неужели на Солнце? Но даже если сфера деятельности этой фирмы ограничивается земной поверхностью, я не рискнул бы купить авиабилет в компании с таким названием.

Промтоварный магазин "Гермес". Если помнить о том, что в римской мифологии Гермес был покровителем не только торговли, но и воровства (что само по себе уже достаточно красноречиво), то чем тогда торгует магазин "Гермес" — неужели краденым?

Почему шампанскому дали название "Мадам Бовари" — по имени героини Гюстава Флобера, которая в финале романа умирает от яда?

Сможете ли вы бестрепетно есть мороженое с названием "Маскарад", если помните о том, что героиню пьесы Лермонтова "Маскарад" Нину ее ревнивый муж Евгений Арбенин отравил, подмешав яд именно в мороженое?

В этом можно было бы усмотреть типично современное явление, когда не слишком обремененные знаниями в области истории культуры бизнесмены из "новых" дают своим предприятиям названия, смысла которых они не знают. Но ведь нечто похожее можно было встретить и в приснопамятные советские времена, когда кондитерская фабрика называлась именем Розы Люксембург, табачная фабрика — именем Клары Цеткин, а детский садик — именем Плеханова. Мы настолько привыкли тогда к таким вещам, что просто перестали их замечать. Но если вдуматься... Ну, можно представить себе, что Роза Люксембург была сладкоежкой, но неужели Клара Цеткин вошла в историю благодаря тому, что с утра до ночи дымила, как паровоз? И даже очень богатое воображение не подсказывает, что именно следует думать об отце русского марксизма, именем

которого названо детское дошкольное учреждение на триста малышей. Смешно? Смешно.

Впрочем, что с них взять? Прежние руководители пытались подчинить слово своей политике, нынешние господа — своим квазикультурным претензиям. В конце концов: мой магазин — как хочу, так и называю, на то она и свобода.

Но есть названия, которые до их обнародования долго обсуждаются, экспертируются учеными, принимаются специальными комиссиями. При таком контроле, казалось бы, "ляпы" просто невозможны. Однако... Присмотримся к названиям улиц нашего города.

Улица, улица, улица родная...

Одесса в этом отношении представляет собой довольно счастливое исключение: слава Богу, одиозные фамилии героев советской эпохи давно исчезли с табличек на домах, но имена — это еще не всё. Мне, например, не вполне понятно, что имели в виду ответственные чиновники, когда называли одну улицу Патриотической, а другую — Отечественной. А как же все другие улицы города? Поневоле в отношении их обитателей начинают рождаться смутные подозрения в изменнических настроениях и безродном космополитизме. Или вот еще: у нас есть улица Правды и переулок Славы. Отмечу, что слова "Правда" и "Слава" фигурируют в названиях улиц без кавычек. Отсюда следует, что все остальные улицы Одессы оказались обделенными еще двумя высшими нравственными ценностями. Не видать им теперь славы, а равно и правды.

Но и это еще не все о нравственных ценностях. В нашем городе есть Социальная улица, а также Коллективный переулок. Трудно избавиться от впечатления, что названия эти сохранились от недавних времен, когда всё, включая и названия улиц, могло быть совершенно бессмысленным, но непременно должно было воспитывать в гражданах нужные власти идеалы. Если уж мы не отказываемся от этой славной традиции, то следовало бы развить ее в стремлении добиться более мощного воспитательного эффекта. Так, мне кажется, очень эффективным было бы назвать какой-нибудь закоулок рядом с Коллективным переулком, скажем, Индивидуальным тупиком. Проходя по этим замечательным улочкам, граждане незаметно для себя, бессознательно, как под влиянием 25-го кадра, усваивали бы нужное отношение к нужным идеалам.

Кстати, идеалы — это, как всем понятно, нечто идеальное. А прошлая

власть исповедовала первичность материи. Видимо, памятником этой веры в нашем городе остался переулочек с названием Материальный. Думаю, что теперь, в эпоху плюрализма, этот переулочек должен быть выправлен, для чего достаточно какой-нибудь проспект или, на худой конец, спуск объявить Идеальным. Впрочем, боюсь, граждане неправильно поймут такое наименование и начнут требовать от власти содержать этот примечательный уголок города в абсолютном порядке, что ей едва ли под силу.

Вообще, идеализм в мышлении власти весьма ярко и разнообразно проявился в названиях наших улиц. Всем известно, например, что Одесса изначально была городом многонациональным. Посему вполне естественно наличие в нашем городе таких улиц, как Греческая, Еврейская, Болгарская, Польская, Итальянского и Французского бульваров. Но я что-то не припоминаю, чтобы в строительстве Одессы активное участие принимали также монголы, якуты и — тем более — индийцы. А ведь в нашем городе есть и Монгольская улица, и Якутская, а Индийская — так не только улица, а еще и переулок. Вот пусть теперь краеведы ломают себе головы над вопросом, какое отношение к Одессе имеют монголы, широкие массы которых побывали невдалеке от наших краев почти за 600 лет до ее основания. Заодно пусть попробуют выяснить, какое отношение к нашему городу имел известный деятель кровавой французской революции Марат, именем которого названа не только улица, но и два переулка. Подозреваю, что Марат был связан с Одессой столь же тесно, сколь и его русский собрат Пугачев, имя которого гордо носит одна из улиц нашего города.

Из удивительных явлений этого же рода обращает на себя наше изумленное внимание тот факт, что одна одесская улица и целых четыре переулка названы Амурскими. Где тот Амур, а где та Одесса, но вот поди ж ты... Ну и что? Метро в Одессе тоже нет, но это не мешает одному из переулочков именоваться Метрополитеновским. Впрочем, и это еще ничего. Изучая топографию нашего города, сталкиваешься иногда просто с чистой мистикой. Вот, например, две улицы — 1-я Проектируемая и 2-я Проектируемая. Судя по названию, они существуют еще только в проекте, а судя по карте города — они существуют въяе, застроены не воображаемыми, а вполне осязаемыми домами и населены вполне реальными людьми. То ли эти улицы сначала построили, а потом начали проектировать (у нас ведь всяко может быть, вспомним хотя бы строительство коммунизма), то ли... не знаю, что тут еще можно предположить, попробуйте сами. Я, несмотря на ученую степень по филологии, чувствую, что зашел в тупик. И даже знаю, как его назвать. На карте нашего города есть

улочка с примечательным названием — Академический тупик. Не знаю, что имели в виду изобретатели этого названия, но для данной ситуации оно как раз впору.

Но все-таки в большинстве случаев название улицы как-то, видимо, связано с ее сущностью. Так, можно понять, почему один из переулочков города может называться Ровным. Но что тогда остается думать обо всех других? Аналогичный вопрос возникает в связи с улицей, имеющей незатейливое название — Горизонтальная. А как же остальные?

Иногда название улицы настораживает, но если по улице Танкистов идешь без сильного трепета, то Саперный переулок хочется обойти, как говорится, десятой дорогой. Ну, а как живут люди в переулке с названием Ртутный — ума не приложу.

Нередко названия честно предупреждают нас: "Люди, будьте бдительны!". Образцами такого топонимического благородства могут служить Обрывистая улица и Овражный переулок. Попробуйте уговорить таксиста подвезти вас туда, — думаю, не поедет даже за двадцатку.

Некоторые названия предупреждают нас не столь откровенно, но, как говорится, умному достаточно. Вы рискнете без острой необходимости и усиленной охраны пройти по Смелому переулку или по улице Отважных? То-то же.

Впрочем, хватит о страшном. Есть ведь у нас и веселые, я бы даже сказал — праздничные, названия. Безусловным лидером среди праздников, давших название улицам, является Международный женский день. Именем 8 Марта у нас названы улица, спуск и целых 9 переулков. Наверное, в этом отразилось, среди прочего, и пламенное неравнодушие темпераментных южан к прекрасной половине человечества. Правда, отразилось как-то уж чересчур официально-платонически, я бы сказал, по-советски аскетично. Неужели бурная эволюция наших эротических представлений в последние годы и отказ от многих прежде незыблемых табу никак не запечатлелись в топонимике Одессы? Увы, но даже самое изощренно-метафорическое мышление не подсказывает ничего, кроме Розовой улицы и Клубничного переулка. Этого явно маловато. Как исправить положение? Ждать появления новой улицы не приходится. В свое время можно было бы переименовать, скажем, улицу Новаторов в улицу Трансвеститов, но все идеологически устаревшее, кажется, уже переименовали. Впрочем, кое-какие резервы еще есть. Мне видится простой и экономически эффективный выход из этой сложной ситуации. Помните Амурскую улицу и четыре Амурских переулка? Достаточно переименовать их в Амурные, и мы убьем сразу двух зайцев: ликвидируем отмеченную вы-

ше бессмыслицу, связанную с отдаленностью Амура от Одессы, и докажем свою эротико-топонимическую прогрессивность.

Наверное, кто-нибудь поморщится, сочтя такое название неприличным. Помилуйте, это ли неприлично? А как вам тогда понравится улица с названием, пардон, Ветрогонная? Она есть, и ее имя никого не смущает, судя по тому, что ее не попытались переименовать. Я не очень удивлюсь, если завтра у нас рядом с Ветрогонной улицей появится какой-нибудь Слабительный спуск или Запорный тупик — эти названия ничем не хуже. Так что, как видим, резервы для переименования еще не исчерпаны. Вот только переименовывать тоже нужно с умом. А то был когда-то Сиротский переулок, который переименовали в переулок Октябрят. Ей-богу, не знаешь, плакать или смеяться над таким переименованием. Но теперь ведь октябрята ликвидированы как класс, а сироты как были, так и остались. Что ж теперь, опять несчастному переулку становится Сиротским?

За этим казусом стоит серьезная культурологическая проблема, над которой ломают головы представители самых разных наук: нужно ли ликвидировать названия, которые не отражают подлинные исторические реалии? И как же удобно, когда название улицы или площади что при развитом социализме, что при очередном первоначальном капитализме отражает эти реалии! Как известно, Одесса всегда отличалась предприимчивостью и деловой сноровкой. С советских времен у нас в городе существуют — ни много ни мало — целых семь Наличных переулков. И что интересно: при этом хоть бы один закоулок назывался Безналичным — так нет, ни единого. Практичные одесситы всегда знали: наличные надежнее. Так что бы вы думали: хоть один из этих семи переулков переименовали? Правильно. Зачем же менять названия, которые так точно отражают исконный и неизменный дух города? Правда, слово "наличный" прежде всего означает "имеющийся налицо, в наличии", а если так, то как же все остальные одесские переулки? Имеются они в наличии или нет?

Одесса всегда славилась своим неповторимым юмором. И эти замечательные названия тоже можно было бы отнести по ведомству одесского юмора, если бы в других городах такого рода юмора не было еще больше. И если бы этот юмор был таким же безоговорочно смешным, как настоящий одесский, в котором люди смеются над словами. А здесь, кажется, слова смеются над нами. И не без оснований.

Примечание автора: Все названия фирм и улиц настоящие. Правда, писалось это года три назад, и тогда материалом мне послужил справочник "Одесса-98/99". Возможно, с того времени какие-то улицы, названные мною, уже успели переименовать.

ПРОЗА

Михаил ЖВАНЕЦКИЙ	
Помолчим	80
Аркадий ЛЬВОВ	
Жора-профессор	82
Валерий ХАИТ	
Мы были тогда молодыми.....	93
Игорь БОЖКО	
Любовь и гвозди	102
Сергей ШАМАНОВ	
Стучащий	143
Сергей ЧЕТВЕРТКОВ	
Скорбь и теснота	159
Татьяна СОКУР	
Театральное межсезонье	176

Помолчим



Ко мне в самолете подошел человек.

Ну, чтобы вы его увидели... Я опишу.

Но нет — я не даю изображений.

Это был полный молодой парень лет тридцати.

Бритый — небритый?..

Что это объясняет?

Для чего его нужно видеть, не пойму.

Слушайте...

— Можно, я вас оторву на секунду? — сказал он.

— Да, пожалуйста.

Он присел рядом и задумался минут на пять... Время шло... Мы летим.

— Вот, скажем... — он думал. — Что должен человек...

Он думал, глядя через меня в окно...

Я молчал.

Молчание стало мерзким.

— Что должен человек после себя... — он задумался...

— Оставить? — встрепенулся я.

— Нет, — он задумался... — Вот человека окружают, — он задумался...

— Дети? — напомнил я.

— Нет... Нет...

— Почему нет? — спросил я.

— Нет.

— Хорошо...

Он молчал. — И человек должен после себя... Короче... Возьмем правительство... — он замолчал.

— Ну?..

— Я знаю многих лично... И поверьте, если во мне что-то было хорошее... — он замолчал.

— Ну, — сказал я.

Он думал.

Или вспоминал.

Человек, который думает или вспоминает, выглядит по-разному.

Этот думал...

— Извините, — сказал я. — Я в самолете. Я должен лететь дальше. Мы можем...

— Нет, нет, летите, — сказал он.

Он думал в моем присутствии... Он долго молчал... Я задремал.

Когда мы вышли из самолета, я догнал его.

— А почему вы решили по поводу правительства, что именно мне... — я задумался.

Он пожал мне руку.

— Приятно было... — и задумался.

— Да, вы вообще... — я замолчал.

— Да уже все сейчас, — сказал он.

— Даже больше... — задумался я. — Вы сейчас куда?

— Есть тут... — он замолчал.

— Я к вам приду... Мы должны поговорить... Главное, что мы думаем одинаково...

— Мы уже почти...

— Да... Там немного осталось...

Мы молчали...

Мы думали...

Нас объезжали...

Площадь пустела...



Жора-профессор

В московском издательстве "Захаров" выходит третий том эпопеи Аркадия Львова "Двор". С любезного разрешения автора (главы редакционного совета нашего альманаха) публикуем одну из глав.

В двенадцатом трамвае, который идет с Товарной до Пересыпского моста, пересекая по улице Советской Армии, бывшей Преображенской, весь центр города, Жора-профессор декламировал свои новые стихи на темы дня:

Дорогой товарищ Тито,
Ты наш первый друг и брат!
Так сказал Хрущев Никита:
Ты ни в чем не виноват!

В ботинках, подшитых аккуратно вырезанными точно по форме рантовой подошвы кусками автомобильной покрышки, Жора, по мнению женщин, мог считаться почти высокого роста, хотя на самом деле был чуточку выше среднего. Всегда, независимо от времени дня и погоды, в модной кепке с чуть примятым козырьком, при галстукке, приколотом к рубашке зажимом или большой булавкой, обрамленной ниткой стекляруса, в однобортном пиджаке цвета морской волны, застегнутом на одну пуговицу, Жора выглядел интеллигентным молодым человеком с несколько странной манерой смотреть на того, кто стоял у него перед глазами, в упор и в то же время мимо. Люди, сведущие в офтальмологии, объясняли это сильным, скорее всего, врожденным астигматизмом; другие же готовы были усмотреть в этом известную хитрость и уловку, какими у нас в Одессе умело пользуются в своих интересах малахольные и дефективные, которые всегда себе на уме.

Стихи, которые Жора-профессор декламировал в трамваях, держа перед собою металлический портсигар с листками бумаги, быстро расходились по городу и запоминались сами с первого раза:

Килька плавает в томате.
Солнце прячется в закате.
Слушай, девочка, не плачь:
Не утонет в речке мяч!

Одесситы, со свойственным им чутьем к поэтическому слову, удивлялись, как при внешней простоте и непритязательности Жора добивался

эффекта, о котором могут только мечтать многие профессиональные поэты, жаждущие услышать свою строку из чужих уст.

Хотя никто не мог сказать, что видел Жору со свежим номером газеты в руках, стихи его, открыто признавалась Дина Варгафтик, заменяли ей во многих случаях не только газеты, но и радио, которое передает все новости и последние известия быстрее всякой газеты.

Жорины стихи про Тито первая принесла во двор Дина, прочитала наизусть Ляле Орловой, обе вместе весело смеялись, Дина только сделала замечание, что в данном случае Жора немного поспешил, потому что в конце мая Хрущев и Булганин вместе поехали в Белград, а сейчас у нас начало июня, переговоры могут еще тянуться целую неделю, даже больше. Тито некуда спешить, к нему приехали, а он хорошо помнит, как называли его палачом и фашистом при Сталине.

— Диночка! — схватилась за бока Ляля. — Так вы не слышали, что Хрущев извинился перед Тито и договорились, что больше никогда в жизни не будут поливать друг друга грязью, как было при Сталине!

Дина честно призналась, что как раз сегодня не слушала радио и не успела купить свежую газету "Знамя коммунизма", в киоске сказали, что все продано. Она даже удивилась, но теперь все понятно, и надо еще больше удивляться, как быстро Жора-профессор первый сочинил свои стихи про Тито и Хрущева.

— Ляля, — сказала Дина, — можете резать меня на мелкие куски, но я уверена, что Жора больше притворяется, чем есть на самом деле: он все видит и понимает лучше нас с вами!

Через два дня Ляля, которая ехала с Дерибасовской вторым номером трамвая, сама принесла во двор новые стихи, про целину, которые Жора-профессор декламировал в вагоне, а пассажиры хлопали ему, как настоящему артисту, и требовали повторить, только не так быстро, чтоб успели запомнить:

В Казахстане целина —
Отворяем закрома!
Богатеем с каждым днем:
Что посеем, то пожнем!

Дина с Лялей уже собирались разойтись, когда в подъезде появилась с двумя громадными, как селянские торбы, кошелками в обеих руках Катерина Чеперуха, а следом за ней бабушка Оля с внуками, Мишей и Гришей, которые с обеих сторон дергали ее за юбку и требовали пойти с ними в Александровский садик. Бабушка Оля обещала внукам, если будут

так вести себя, отвести их не в Александровский садик, а прямо в милицию, и пусть закроют их там в погребе, где бегают крысы и мышки, а кошек не пускают.

Катерина поставила кошелки наземь и дала свекрови команду отвести малышей домой, а она здесь постоит пару минут с соседями.

— Ой, девочки, — сказала Катерина, — на Привозе астраханские хлопцы, приличные с виду, привезли бочонки с икрой, рассказывают, что творится в Казахстане на целине: дождей не было, стоит жара, суховеи все выдули, что посеяли, пятнадцать миллионов гектаров, все пропало!

Ляля с Диной переглянулись, Катерина состроила хитрую гримасу, как будто перед ней веселые подружки из заведения тети Хаи: "С добрым утром, тетя Хая: вам посылка из Шанхая!".

Все трое стали смеяться, подошла бабушка Оля, сказала, что тоже хочет смеяться, Дина хлопнула себя по ляжкам:

— Смейтесь, кто вам не дает!

Получилось грубо, в другом случае Оля наверняка обиделась бы и ответила как следует, но Ляля сразу перевела разговор на целину, про которую минуту назад рассказывала свою историю с Привоза Катерина, и повторила еще раз, для тех, кто не слышал, стихи Жоры-профессора про целину: "В Казахстане целина — отворяем закрома! Богатеем с каждым днем: что посеем, то пожнем!".

Про последние две строчки Катерина сказала, что здесь малахольный Жора попал в самое яблочко, а вообще надо бы с электроэнцефалографом в руках проверить, где следует, на малахольность этого Жору-профессора. Конечно, тут же засмеялась Катерина, это она говорит только понарошку, в шутку.

Самое удивительное, через несколько дней пассажиры заметили, что Жора не появляется в трамваях. Перед этим прошел слух, что он опять стал читать свои стихи, которые придумал полтора года назад после того как расстреляли Берию:

Когда Берия-мингрел
Стать нам Кобой захотел,
Как захлопнул двери я:
Крышка тебе, Берия!

Люди, умеющие ценить экономное слово, отмечали, что в четырех строчках Жора нашел место не только для самого Берии, но и для Сталина с партийной его кличкой Коба, и для Хрущева, который, хотя не назван по имени, но все знали, что как раз недавно, когда его назначили первым

секретарем ЦК партии, играл главную роль в аресте Берии и приказал приговорить его к расстрелу.

Катерина Чеперуха, когда Дина напомнила ей разговор, который вели несколько дней назад насчет Жоры, что надо сделать ему энцефалограмму и проверить на маланхольность, вдруг, хоть ничего смешного не было, расхохоталась как ненормальная и сообщила новость: знакомая медсестра из психбольницы на Слободке своими глазами видела Жору-профессора, руки за спиной были связаны полотенцем, острижен наголо, голова облеплена электродами, делали электроэнцефалограмму, хлопцы-санитары говорили, вел себя безупречно, как английский лорд, но сколько ни просили почитать стихи, не смогли выжать ни слова.

— Боже мой, — схватилась Дина, — руки связаны, не произнес ни слова! Неужели его могли бить!

— Ну, Дина, тоже скажете! — воскликнула Катерина. — Да кто ж теперь бьет! Прошло то время, когда били, как нашего Ланду, у хирургов и ортопедов кости после вправлять надо было.

В последних числах августа Жора-профессор опять стал появляться в трамваях. Пассажиры сердечно, как близкого друга, с которым были в долгой разлуке, приветствовали Жору, интересовались здоровьем и требовали новых стихов.

В первые дни Жора не откликался на просьбы, загадочно улыбался, держал перед собою металлический коробок с листками вместо прежнего портсигара, о судьбе которого, сколько ни упрасивали, не обмолвился ни словом: если верить слухам, этим портсигаром, который потом изъяли, хорошо приложились ребята, когда выполняли операцию по задержанию, а Жора упирался изо всех сил.

Газеты сообщали, что наши героические целинники, комсомольцы и молодежь, вопреки всем причудам и капризам природы, справились с поставленным заданием и выполнили взятые на себя обязательства. Под урожай следующего, пятьдесят шестого года решено было распахать более тридцати миллионов гектаров, вдвое больше, чем в текущем году. Чтобы никакие суховеи не могли грозить и тем более не могли нам помешать, все газеты, от "Правды" до заводской многотиражки, повторяли призывы товарища Хрущева направить на целину десятки тысяч молодых работников, которым не страшны ни суховеи, ни стужа, ни жара.

Жору-профессора можно было видеть теперь на всех трамвайных маршрутах, которые пересекали центр города: втором, третьем, четвертом,

двенадцатом, пятнадцатом, двадцать первом. Говорили, его видели даже на маршрутах, которые обслуживали Пересыпь и лиманы.

Катерина Чеперуха вместе со своими мальчиками, Гришей и Мишей, втроем, хором повторяли новые Жорины стихи:

Суховети-брадобрен,
Басурманы и злодеи!
Говорит Хрущев Микита:
Ваша карта будет бита!

Собирайте-ка пожитки,
А не то вам под микитки
Вмажет наша молодежь:
Что посеешь, то пожнешь!

Вечером, когда папа и дедушка пришли с работы, Миша и Гриша прочитали им новые стихи, которые сегодня выучили, и заставили повторять за собой каждое слово, чтобы могли тоже выучить наизусть. У Зиновия получилось сразу, а старый Иона то в одной, то в другой строке сбивался, Гриша и Миша не могли понять, почему у дедушки получалось так плохо, и вместе с мамой Катериной обещали поставить ему двойку, если завтра не выучит как полагается.

Зиновий обратил внимание, что в обоих стихах про целину Жора использовал известную русскую поговорку "что посеешь, то и пожнешь" с чуть заметным ироническим оттенком, хотя в одном и в другом случае по содержанию сама поговорка оставалась почти без изменений, как создал народ.

Катерина, когда Зиновий с ней поделился, посоветовала, пусть обратится к доктору Ланде, как интеллигент к интеллигенту, чтобы дал объяснение с медицинской точки зрения, как это все может складываться в голове у малахольного Жоры.

Зиновий ответил, что при случае можно поднять вопрос, срочности нет, как-нибудь после работы столкнутся у ворот, во дворе, Катерина с ходу возразила, что не надо рассчитывать на какую-то счастливую случайность, а наоборот, надо самому зайти и прямо сказать, что есть научно-медицинский вопрос, по психологии, по психиатрии, требуется консультация доктора Ланды.

Катерина стояла за то, чтобы не откладывать на завтра-позлезавтра, а идти сегодня, сейчас, пока у самого Зиновия не остыл интерес.

— Зюня, — сказала Катерина, — делай, как знаешь, а у меня такое чувство, сердце подсказывает, что сейчас как раз самый момент.

— Не сердце, — засмеялся Зиновий, — а дхарма буддийская летает-кружит и свои советы нашептывает по подсказке Жоры-профессора, из-за которого весь сыр-бор.

— Ну, иди-иди, — стала подталкивать Катерина, — чего тянуть кота за хвост!

Действительно, получилось все на редкость удачно. Гизелла только что ушла, доктор Ланда немного удивился гостью, но встретил приветливо, предложил свободное кресло у письменного стола, сам занял свое рабочее место и спросил:

— Уважаемый Зиновий Ионович, чем могу быть полезен? Поверите ли, как раз перед вашим звонком в дверь о вас думал. Чудеса! Впрочем, — тут же добавил доктор Ланда, — никаких чудес: только что вспоминали по радио, что нынче — десятилетие капитуляции Квантунской армии японцев в Манчжурии в августе сорок пятого. Я, естественно, подумал о вас. Странно, среди тех, кого я знаю, вы единственный воевали с японцами. Ваше ранение видимо, пришлось на эти августовские дни.

— Да, — подтвердил Зиновий, — конец августа. Несколько дней в госпитале врачи пытались спасти мою правую ногу, но началась газовая гангрена. Пришлось ампутировать. Ниже колена. В госпитале за мной ухаживала Катя Тукаева. Теперь моя жена. Были признаки некроза выше колена. Но обошлось. Хирург сказал мне: "Вас любят боги! Счастливчик!".

Доктор Ланда засмеялся:

— Меня тоже любят боги. В марте пятьдесят третьего года, оказалось, я был среди счастливчиков. Ныне все в порядке. И с ногами, и с ребрами... Словом, порядок. Теперь уже не надо бояться ночного стука в дверь. Да, Зиновий, так что вас привело ко мне?

— Семен Александрович, я знаю, за вами приезжает машина. Но, наверное, случается ездить и трамваем.

— Да, — улыбнулся доктор Ланда, — случается. Именно случается. Готов держать пари, угадал, к чему вы клоните: Жора-профессор? Так?

— Ну, — развел руками Зиновий, — у нас с вами телепатия.

— Не только у нас с вами, — сказал Семен Александрович, — сегодня у всех одесситов, кто имеет удовольствие пользоваться нашим одесским трамваем и слушать стихи Жоры-профессора. Впрочем, кажется, следует внести поправку: мне говорили, что некоторое время Жора не появлялся в трамваях. По этому поводу в городе были всякие слухи, догадки.

Да, подтвердил Зиновий, были всякие слухи и догадки, но сложилось так, что Катерина случайно, по знакомству с медсестрой из психиатриче-

ской больницы на Слободке, узнала действительную причину: Жора временно был изолирован, его подвергали обследованию и лечению.

Доктор Ланда закрыл глаза, забарабанил пальцами по столу, хорошо видно было, что порядком устал за день в своей урологии, но быстро справился с минутной слабостью и сказал бодрым голосом:

— Зиновий, каюсь: я лукавил. Я знал, что Жору изолировали, подвергли обследованию и лечению с применением электрошоковой терапии и новых психотропных препаратов, ну, направленного, скажем, действия. Я хорошо знаком с заведующим кафедрой психиатрии медицинского института профессором Мирельзоном. Чтобы не отвлекать его от плановых научных исследований и учебного процесса, институтское начальство поручило вести обследование и лечение Жоры-профессора одному из членов кафедры. На кафедрах, — улыбнулся Семен Александрович, — теперь ни для кого не секрет, спецы всякие нужны, спецы всякие важны.

Зиновий сказал, это никогда не было секретом, но Жора-профессор давно развлекает пассажиров в трамваях своими стихами, а никто не терпел его, не ограничивал, тем более не изолировал и не направлял на принудительное лечение. Стихи про Тито и Хрущева, как помирились и стали первыми друзьями, нравились всем, и никому не приходило в голову, что могут остановить, закрыть автору рот, потому что кому-то не по вкусу.

Наоборот, поддержал доктор Ланда, были по вкусу, больше того, народной своей, с ерническим оттенком, прямой потрафляли и вкусу, и самолюбию новых правдолюбив-златоустов, которые, что ни говорят, что ни делают, а все именем народа, все для блага народа. А когда про целину пошли тексты и рифмы — а на целине суховеи, оказалось, все, что поднялось из грунта, по ветру пустили! — понятно, стихи уже не потрафляли вкусу, не тешили слуха, а звучали злорадно, ядовито, как из уст уличного смутьяна: "Что посеем, то пожнем!".

— Жора-профессор, — сказал доктор Ланда, — собственно, не поэт, а версификатор. Но у него живое воображение, неожиданные ассоциации. Русская народная пословица "что посеешь, то и пожнешь" приобретает не вещий, а прямо зловещий смысл, когда провальный, скандальный результат уже известен каждому встречному-поперечному, так что и объяснять ничего не надо, все предугадано было в присказке нищего скомороха, юродивого с сумой: "Богатеем с каждым днем: что посеем, то пожнем!". Чезаре Ломброзо, известный итальянский психиатр и криминалист прошлого века, в своей книжке "Гениальность и помешательство" очень живо и обстоятельно разбирает феномен сумасшедших поэтов, которые часто вы-

полняют с большой легкостью то, что затрудняет даровитейших нормальных людей. Жора-профессор, — засмеялся доктор Ланда, — в своем роде наше народное добро, наше общее достояние. Будем беречь его: не отдадим недругам — ни своим, ни чужим!

Катерине, когда Зиновий пересказал, о чем говорили с доктором Ландой, разговор не очень понравился. Хотя сама дала совет зайти, обсудить стихи Жоры-профессора с медицинской точки зрения, теперь укоряла себя:

— Леший дернул за язык! Да разве угадаешь наперед, как слово обернется. Хорошо, что вдвоем, с глазу на глаз плели. Был бы жив Овсеич, обоих бы, — засмеялась Катерина, — по одному адресу, куда Макар телят не гонял!

— А ты времени не теряй, — сказал Зиновий, — сгоняй к Малой, к майору Бирюку, спроси совета, как быть: то ли ждать, пока кликнут, то ли самой впереди паровоза.

— Дурак ты мой, дурачок! — Катерина подошла, обняла Зиновия, поцеловала в висок. — Да мысли-то, слова, что ли, в голове у меня по моему велению на язык соскакивают? Жору-профессора, несчастного сумасшедшего, юродивого, химией накачали, он стал правильные стихи сочинять: "Суховеи-брадобреи, басурманы и злодеи! Говорит Хрущев Микита: ваша карта будет бита!". Человека с нормальными мозгами попробуй, настрой, а тут малахольного на вахту поставили. Да мы-то все, — захохотала Катерина, — с пионерских лет на вахте!

— Ну, чалдонка, — Зиновий схватил Катерину за руки, завел за спину, — теперь ты от нас не уйдешь! Теперь сама себя выдала, какие такие мысли у тебя в голове круговерть устраивают! Только скажу тебе, заячья твоя душа, не те нынче времена: теперь не надо бояться ночного стука в дверь.

— Сам придумал? — спросила Катерина.

— Нет, зайчонок, — покачал головой Зиновий, — не сам: текст доктора Ланды.

— Так вот, — сказала Катерина, — передай своему доктору Ланде: вынул голову из петли — не примеряй вдругорядь.

Гриша и Миша, оба в длинных майках, так что перекрывали трусы, выскочили из своей комнаты, стали в дверях и принялись хором читать стихи, которые днем выучили наизусть с мамой, а потом вместе заменили два слова — "брадобреи" и "басурманы" — другими, которые нравились больше:

Суховеи-бармалеи,

Берендеи и злодеи!

Говорит Хрущев Микита:

Ваша карта будет бита!

Собирайте-ка пожитки,
А не то вас под микитки
Сцапнет наша молодежь:
Что посеешь, то пожнешь!

— А ну-ка, берендеи-злодеи, вражье племя, марш в кровати! — приказала мама Катерина.

На другой день дети играли во дворе, Клава Ивановна проходила мимо, услышала, какие декламируют стихи, попросила еще какие-нибудь вдобавок и похвалила, особенно Гришу и Мишу, которые так красиво декламировали.

Вечером Клава Ивановна пришла к молодым Чеперухам, сказала, все реже ходим друг к другу в гости, а иногда по старой привычке хочется вместе посидеть, выпить с соседями стакан чаю и просто немножко поболтать.

Зиновий и Катерина приняли мадам Малую как родного человека, с которым всегда есть о чем поговорить и не надо, как бывает со случайными гостями, высасывать из пальца. Да, сказала мадам Малая, не надо высасывать из пальца и, тем более, не надо играть в прятки.

— Катерина, — обратилась мадам Малая, — я сегодня имела редкое удовольствие слышать, как хорошо декламируют стихи твои Гриша и Миша, которые в этом году, слава Богу, пойдут уже в третий класс. Я знаю, ты читаешь вслух с ними сказки Пушкина и выучили наизусть стихотворение Маршака "Мистер Твистер". Никто не спорит: ты уделяешь детям внимание. Но как могло получиться, что твои дети сами во дворе декламируют уличные стихи и еще других учат?

— Почему уличные? — удивилась Катерина. — Там нет гадких слов.

— Да, — подтвердила мадам Малая, — там нет гадких слов. Но я тебе скажу прямо, и ты сама хорошо понимаешь: там все слова гадкие, потому что такие стихи не только нашим детям не нужны, но не нужны их папам-мамам, бабушкам-дедушкам! Стихи Жоры-профессора, который находится под постоянным наблюдением в психоневрологическом диспансере и периодически нуждается в дополнительном усиленном лечении, не только факты, но и людей, вы с Зиновием оба хорошо знаете, о ком идет речь, рисуют не в том свете, какой нам нужен.

— Клава Ивановна, — сказал Зиновий, — я не вижу в стихах Жоры-профессора ничего страшного. Наоборот, они смешные, забавные, а весело посмеяться — это всем только на пользу.

— Зюня, — мадам Малая положила руки на стол, пальцы плотно стиснула, — ты можешь провести целый вечер с доктором Ландой и говорить

о чем угодно. Это ваше право и никто не посягает. Но какие стихи у нас во дворе хором читают наши дети, это не только наше право, это наш долг — давать оценку и принимать меры. И не надо ждать, пока другие это сделают за нас. Я знаю, у тебя сложились хорошие отношения с Бирюком. Я думаю, нам надо собраться и поговорить, чтобы потом не пришлось держать за пазухой камень. Ты меня понял? Я вижу по твоим глазам, что понял. Не будем откладывать в долгий ящик, прямо сейчас поднимемся к Бирюку. Катерина пусть остается дома с детьми.

Марина, когда открыла дверь и увидела на пороге неожиданных гостей, обрадовалась, потому что как раз кончали ужинать, а на столе еще целая половина кремowego торта с кондитерской фабрики имени Розы Люксембург.

Марина сразу пригласила к столу, поставила фарфоровые тарелки, на каждую положила вилочку и сказала:

— Дорогие гости, кушайте, сколько поместится, а то мы уже чуть не лопнем.

Мадам Малая ответила Марине, что при ее фигуре можно съесть десять тортов, а бюст и талия все равно останутся, как у молоденькой девушки. Но она пришла не для того, чтобы говорить хозяйке комплименты, а по делу.

— Бирюк, — сказала мадам Малая, — мы пришли к тебе, чтобы вместе обсудить срочный вопрос. Я сегодня слышала, как наши дети во дворе, твоя Зиночка тоже, повторяли стихи, с которыми Жора-профессор разъезжает в трамваях по городу и забавляет пассажиров. Но одно дело пассажиры, которые случайно оказались в общем вагоне, а другое дело двор, в котором мы живем. Здесь сидит Зиночка, она может повторить, если ты еще не слышал.

Марина, хотя мадам Малая к ней не обращалась, с ходу заявила, что она и сама может повторить, если кому-то так нравится, смешные стихи, в Одессе сегодня каждый может сам повторить.

— Бирюк, — вторично обратилась мадам Малая, — я тебя спрашиваю, а ты молчишь, как воды в рот набрал. Зиновий, которого я привела к тебе, чтобы вместе могли обсудить, рассуждает, как твоя Марина, как будто заранее сговорились, а его Гриша и Миша, твоя Зиночка и другие дети будут завтра опять бегать по двору, выскакивать за ворота на улицу и повторять смешные, как нам здесь объяснили, а на самом деле гадкие стихи, чтобы все могли слышать.

— Ивановна, — Андрей Петрович подвинул свой стул поближе, хотел взять гостью за руку, но она тут же сжала в кулак, спрятала обе руки меж-

ду коленями, — скажу тебе при всех в глаза: ты не права на сто процентов — ты права на все двести процентов! Овсейчу, если слышит тебя сейчас, бальзаму на душу на тыщу лет хватит. Да времена, Малая, не те, другие пошли у нас времена: и браним по-другому, и смеемся по-другому.

— Хорошо! — мадам Малая поднялась рывком, как будто подбросила невидимая пружина. — Смейтесь, как хотите и сколько хотите, но не надо забывать: смеется тот, кто смеется последний!

Клава Ивановна направилась к дверям, Андрей Петрович крикнул вдогонку, что не выпустит, но замешкался у стола и опоздал на какую-то долю секунды.

Зиновий сказал, что пришел с мадам Малой, с ней следовало и уйти, Марина ответила, ей и самой жалко старуху, но нельзя же забывать: в календаре хоть перебрасывай листы взад-вперед, а дни как идут, так и будут идти.

— И ты, Марина Игнатьевна, — ткнул пальцем Андрей Петрович, — не забывай и не спеши списывать гвардию в обоз. Тебе стихи Жоры-профессора по вкусу, тебе и Зиновию смешно, весело, а на самом деле, по большому счету, правда за ней, за Малой.

За окном, на Троицкой улице, сильный женский голос с хрипотцой, какая бывает с похмелья, выпевал на одной ноте:

Вышла б замуж за Хрущева,

Да боюсь одного:

Говорят, что вместо .уя

Кукуруза у него!

Марина зашлась в смехе, тут же подскочила к окну, свела створки и хлопнула плотно, чтобы не услышала у себя за дверью Зиновья.



Мы были тогда молодыми...

Из цикла "Рассказы-воспоминания"

1. Лейтенант Жариков

Вообще-то он был даже старшим лейтенантом, командиром роты, но в моей памяти сохранилось именно это сочетание. В его роту мы и попали летом после четвертого курса института, чтобы завершить программу нашей так называемой военной подготовки. Месяц — кажется, именно столько полагалось пробыть в армейских лагерях неподалеку от Рыбницы на берегу Днестра, чтобы получить военный билет и офицерское звание. Но какие-либо подробности здесь не важны, поскольку запомнилось и вызвало желание все это зафиксировать совсем другое...

Мы прибыли на место, нас распределили по палаткам, выдали обмундирование — и мы тут же начали хохотать. Хохот этот продолжался дня два; причины его, правда, менялись. То мы, впервые в жизни надев военную форму и натянув сапоги, просто глянули друг на друга, то вдруг обнаружили, что фамилия у старшего сержанта, который командует нашим взводом, немецкая — Шумахер. То после первой в своей жизни команды "Отбой!" начали перекидываться грубоватыми, а для многих ушей и просто грубыми, шутками. Здесь я, правда, особой активности не проявлял, но хохот мой, помню, был самым громким и заразительным.

Наутро было построение. По инерции мы еще пытались изощряться в остроумии, причем столь же малоэстетичном, что и ночью, но грозный окрик сержанта Шумахера заставил нас подтянуться.

И тут мы Его впервые увидели. Нашего лейтенанта. Высокий, с загорелым чисто выбритым лицом, в портупее и с планшеткой на боку, он был... Ладно, скажу просто: перед нами был офицер, к которому абсолютно точно подходило определение "настоящий". Плюс к тому правильная речь, точные движения, доброжелательный и вместе с тем ироничный взгляд. Улыбнувшись на наше нестройное "Здравия желаем, товарищ старший лейтенант!..", он сказал, что очень рад, раз ему достались такие орлы, что за месяц мы должны стать офицерами запаса, что нам будет трудно, но он в нас верит. Ему шло все: форма, должность, звание. Даже фамилия у него была, как нам тогда показалось (а мне и до сих пор кажется), вполне офицерская. Ему вообще, если можно так выразиться, шла армия. Чувствовалось, что он здесь на месте...

ду коленями, — скажу тебе при всех в глаза: ты не права на сто процентов — ты права на все двести процентов! Овсейчу, если слышит тебя сейчас, бальзаму на душу на тыщу лет хватит. Да времена, Малая, не те, другие пошли у нас времена: и браним по-другому, и смеемся по-другому.

— Хорошо! — мадам Малая поднялась рывком, как будто подбросила невидимая пружина. — Смейтесь, как хотите и сколько хотите, но не надо забывать: смеется тот, кто смеется последний!

Клава Ивановна направилась к дверям, Андрей Петрович крикнул вдогонку, что не выпустит, но замешкался у стола и опоздал на какую-то долю секунды.

Зиновий сказал, что пришел с мадам Малой, с ней следовало и уйти, Марина ответила, ей и самой жалко старуху, но нельзя же забывать: в календаре хоть перебрасывай листы взад-вперед, а дни как идут, так и будут идти.

— И ты, Марина Игнатьевна, — ткнул пальцем Андрей Петрович, — не забывай и не спеши списывать гвардию в обоз. Тебе стихи Жоры-профессора по вкусу, тебе и Зиновию смешно, весело, а на самом деле, по большому счету, правда за ней, за Малой.

За окном, на Троицкой улице, сильный женский голос с хрипотцой, какая бывает с похмелья, выпевал на одной ноте:

Вышла б замуж за Хрущева,

Да боюсь одного:

Говорят, что вместо .уя

Кукуруза у него!

Марина зашлась в смехе, тут же подскочила к окну, свела створки и хлопнула плотно, чтобы не услышала у себя за дверью Зиновья.



Мы были тогда молодыми...

Из цикла "Рассказы-воспоминания"

1. Лейтенант Жариков

Вообще-то он был даже старшим лейтенантом, командиром роты, но в моей памяти сохранилось именно это сочетание. В его роту мы и попали летом после четвертого курса института, чтобы завершить программу нашей так называемой военной подготовки. Месяц — кажется, именно столько полагалось пробыть в армейских лагерях неподалеку от Рыбницы на берегу Днестра, чтобы получить военный билет и офицерское звание. Но какие-либо подробности здесь не важны, поскольку запомнилось и вызвало желание все это зафиксировать совсем другое...

Мы прибыли на место, нас распределили по палаткам, выдали обмундирование — и мы тут же начали хохотать. Хохот этот продолжался дня два; причины его, правда, менялись. То мы, впервые в жизни надев военную форму и натянув сапоги, просто глянули друг на друга, то вдруг обнаружили, что фамилия у старшего сержанта, который командует нашим взводом, немецкая — Шумахер. То после первой в своей жизни команды "Отбой!" начали перекидываться грубоватыми, а для многих ушей и просто грубыми, шутками. Здесь я, правда, особой активности не проявлял, но хохот мой, помню, был самым громким и заразительным.

Наутро было построение. По инерции мы еще пытались изощряться в остроумии, причем столь же малоэстетичном, что и ночью, но грозный окрик сержанта Шумахера заставил нас подтянуться.

И тут мы Его впервые увидели. Нашего лейтенанта. Высокий, с загорелым чисто выбритым лицом, в портупее и с планшеткой на боку, он был... Ладно, скажу просто: перед нами был офицер, к которому абсолютно точно подходило определение "настоящий". Плюс к тому правильная речь, точные движения, доброжелательный и вместе с тем ироничный взгляд. Улыбнувшись на наше нестройное "Здравия желаем, товарищ старший лейтенант!..", он сказал, что очень рад, раз ему достались такие орлы, что за месяц мы должны стать офицерами запаса, что нам будет трудно, но он в нас верит. Ему шло все: форма, должность, звание. Даже фамилия у него была, как нам тогда показалось (а мне и до сих пор кажется), вполне офицерская. Ему вообще, если можно так выразиться, шла армия. Чувствовалось, что он здесь на месте...

Что сказать? Конечно, мы тут же в него влюбились. Тем более что он так контрастировал с сержантом, который, честно говоря, нам сразу не понравился. Поскольку оказался злым и мстительным. Такое часто бывает в армии, да и вообще в жизни, с теми, над кем подтрунивают. Ну, скажем, если у человека фамилия какая-нибудь забавная или, не дай Бог, дефект речи. Или рост не так чтоб уж очень... В нашем же случае весь этот букет был налицо. Да, сержант был именно таким — и мы были безжалостны. Он, понятное дело, в долгу не оставался и гонял нас по плацу как сидоровых коз. Хотя Сидоровых, Петровых и Ивановых в нашем взводе, честно говоря, было не так уж много. Все же институт наш назывался Одесский инженерно-строительный. Который являлся чуть ли не единственным одесским вузом, где к пятой графе при поступлении не сильно присматривались...

Но вернемся к сержанту. Главной дисциплиной на его занятиях, как вы, наверно, уже догадались, была строевая подготовка. Нетрудно и предположить, что это был его конек. Что же касается нас, то в смысле неумения выполнять строевые команды наш взвод на сборах вполне мог бы считаться образцовым. А поскольку равняться на нас другие подразделения почему-то не торопились, мы всегда были на виду.

В конце первого дня занятий, насладившись нашим строевым ничтожеством, и вне себя от каждый раз возникавших за его спиной хохотков сержант произнес слово "кросс". И добавил: "два километра". Мы разделались до пояса и, нестройно бухая сапогами, вяло побежали. Многие через минуту-другую начали задыхаться и переходить на шаг. "Не останавливаться! — злорадно подгонял нас сержант. — Это вам не институт, тут сачковать не получится! Вперед!.." Обливаясь потом, мы топали дальше. Наконец прозвучало долгожданное: "Шагом арш!..". И вдруг, буквально через секунду после этого: "Запе-вай!..". Ну изверг, одно слово!.. Никаких песен, конечно, петь мы не стали, и, как это ни странно, на первый раз он особенно не настаивал.

Мы еле-еле доволоклись до палатки и тут же улеглись. Кто в чем был. Многие пропустили обед...

Через неделю мы немного окрепли, но дружбы с сержантом Шумахером все равно не получалось. Помню, нам как-то даже неловко было перед командиром роты, что мы никак не можем со своим комвзвода ужиться...

А сержант, наслаждаясь властью над без двух минут офицерами, придумывал все новые и новые каверзы.

Примерно через неделю, как обычно с трудом построившись после очередного кросса в колонну по четыре, мы уже довольно лихо распева-

ли невероятно популярную в то время строевую песню. Слова я до сих пор помню:

Путь далек у нас с тобою,
Веселей, солдат, гляди!
Вьется, вьется знамя полковое,
Командиры впереди.
Солдаты, в путь, в путь, в путь!..

Пели, помню, даже с некоторым удовольствием...

Но сержанту этого было мало. Когда мы, приблизившись к месту, где были сложены наши гимнастерки, уже приготовились в них облачиться, сержант вдруг вновь скомандовал: "Бегом арш!.." — и мы, пусть и нехотя, но все же побежали. Через метров триста опять слышим: "Шагом арш!.. Запе-вай!.." — а после первого куплета с припевом вновь: "Бегом!..". И так несколько раз...

Все, наша копившаяся враждебность наконец-то получила возможность выхода. Бунт грянул. Мы вышли из повиновения. "Встать!" — вопил Шумахер, бегая вокруг своего усевшегося на траву в полном составе взвода. Мы не двигались. "Ничего, через полчаса обед, побежите, как миленькие!" — злорадствовал Шумахер. Но мы и обедом решили пожертвовать... Ну лишь бы его проучить!.. Чтоб он знал, что мы не какие-нибудь там!..

Правда, насчет обеда, помню, единодушия особого не было. Но тут уже кто-то из наших, наиболее принципиальный и авторитетный (такие всегда в подобных ситуациях обнаруживаются), взял командование на себя и просто предупредил, что если кто окажется штрейкбрехером, то его отметелят так... Я обедать идти не собирался, но тоже довольно живо представил себе, как именно.

Короче, мы продолжали сидеть на обочине — будь что будет. Шумахер же буквально неистовствовал. Уже прошло время обеда, к нам прибегали из столовой, новость о голодной забастовке дошла до начальства. ЧП! В Одесском военном округе такого еще не случилось!.. Солнце начало клониться к вечеру, и тут появился наш командир. "Встать! — заорал Шумахер. — Смирно!". Мы довольно живо поднялись. Тем более что пришел человек, которого мы глубоко уважали. "В чем дело? Доложите!" — обратился Жариков почему-то не к сержанту, а к тому из наших, кто и для лейтенанта был у нас во взводе наиболее авторитетным. Тот довольно четко объяснил причину нашего неповиновения. Помню, прозвучало даже выражение "форменное издевательство". И тут случилось чудо.

Вместо того чтобы стать на сторону сержанта и напомнить нам, что

"приказы в армии не обсуждаются", лейтенант Жариков начал тут же, перед строем отчитывать Шумахера. И не просто отчитывать, а буквально стыдить. "Поймите, товарищ сержант, это же не просто без пяти минут офицеры, это еще и без пяти минут инженеры, завтрашние руководители производства. У них же под началом будут сотни, а то и тысячи людей, а вы их гоняете! Да еще с песней!.." Шумахер стоял потупившись, красный как рак, я до сих пор помню его залитое краской до самого подворотничка лицо. Мы были горды, груди наши изо всех сил выпячивались вперед, мы пожирали глазами нашего кумира. Справедливость восторжествовала, и он был ее олицетворением.

И вдруг Жариков опять улыбнулся. "Уже и пошутить нельзя!.. Извините, сержант, но что с этой публики возьмешь! Разве я не понимаю? Их и год в армии ничему не научит!" И странно: вместо того чтобы обидеться, мы тоже начали улыбаться. И даже хохотать, причем истерически. Что не удивительно, ибо этот наш смех был еще и голодным. "А ну бегом, там вас обед ждет!.. И побыстрее, смена уйти не может". Мы дружно ринулись в столовую...

Дальше все пошло быстрее. Сержант Шумахер нас, конечно, гонял не меньше, но то ли мы уже немного окрепли, то ли в наших отношениях чуть убавилось напряженности, — хотя бегали мы по-прежнему неохотно, но песни горлалили с явным удовольствием. Лейтенант нами откровенно гордился, но предупредил, что "когда начнутся учения, вот тогда мы и посмотрим!".

И вот это день пришел. Точнее, не день, а вечер. В части была послеобеденная тишина, тот час, который называется "личным временем". Кто лежал в палатке; мы с моим дружкой Сеней Вайсманом дремали не подалеку на стожке свежескошенной травы.

Вдруг раздался отвратительный вой сирены. "Подъем! Боевая тревога!" — заорал как из-под земли выросший Шумахер. Буквально через минуту мы увидели и бегущего к нам лейтенанта и, помню, опять поразились его аккуратному, свежему виду. Еще четверть часа назад Жариков, казалось бы, стоял рядом с нами, запыленный после занятий по рытью полнопрофильного окопа — и вот он уже приближается к нам свежевыбритый, в белоснежном подворотничке, на боку неизменная планшетка. Мы, конечно, мгновенно вскочили и подтянулись. Каждому было дано задание на ближайшие сутки; учения — это было серьезно, в них участвовала вся наша дивизия, где студентов — будущих офицеров инженерных войск — было всего две роты. Кто-то должен был прокладывать дорогу, кто-то разворачивать понтонную переправу, нам же с Семеном поручили рыть землянку для Жарикова.

Сумерки стужались, где-то звучали очереди, издали слышался гул моторов, а мы опять хохотали, как ненормальные. В кромешной тьме наши записные остряки стали вновь изощряться в солдатском остроумии, мат густо висел в воздухе, и я помню, что опять не ощущал этой чрезмерной грубости — настолько она казалась здесь, в сугубо мужской армейской компании, естественной и уместной. Мы с Семеном нехотя тыкали лопатами в прибрежную глину, часто отдыхали, доедая подвезенный нашим столовским конюхом сухой паек, вздремывали на несколько минут, но, разбуженные очередным взрывом (причем иногда не только смеха), продолжали работу.

Постепенно наступил рассвет, учениям был дан отбой, землянка наша, конечно, никому не понадобилась, на следующий день мы приняли Присягу, а еще дня через два уселись в автобусы и поехали домой в Одессу.

Помню еще, что ехали мы долго, почему-то ночью, но никто не спал, и опять мы жутко веселились, а потом как-то дружно и одновременно стали петь наши строевые песни. А за ними и другие, причем выяснилось, что слова многие знают. Песен было море, но дорога была длинной, и некоторые из них повторялись. Скажем, "Вася-Василек" с до сих пор звучащим у меня в ушах припевом: "Ой, милок, ой, Вася-Василек!.. Не к лицу бойцу кручина, сердцу воли не давай, если даже есть причина — никогда не унывай! Никогда не унывай!..". Но особенно охотно мы возвращались к знаменитой тогда и еще много-много лет потом песне "Соловьи". Вот вновь и вновь кто-то запевает:

Пришла и к нам на фронт весна,
Солдатам стало не до сна.
Не потому, что пушки бьют,
А потому, что вновь поют,
Забыв, что здесь идут бои,
Поют шальные соловьи...

И тут мы все на два, а то и, кажется, на три голоса подхватываем:
Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат.
Пусть солдаты немного поспят...

А сердце замирает, и мы молодые, и едем домой, где нас ждут, а если и не ждут, то будут об этом очень скоро и очень сильно жалеть...

И тут репертуар опять меняется, и начинает многократно звучать и "Степь да степь кругом...", и волшебный, буквально пронизывающий счастьем душу романс "Однозвучно звенит колокольчик...". (Я знаю, что у поэта не "звенит", а "гремит", но мы тогда пели, а я и до сих пор пою

именно "звенит"...). Вдруг наш автобус внезапно останавливается. Водитель открывает двери, предлагает всем покурить и кому-то из наших объясняет, что хотя сам, как только мы тронулись, попросил нас петь погромче, чтоб не заснуть, но тут, когда песни стали протяжными, бороться со сном уже не в состоянии и должен побыть на свежем воздухе — все же людей везет. И мы тоже дышим полной грудью и вдруг видим, как вдали загорается полоска рассвета, как она прямо на наших глазах расширяется; и дальше, уже сидя в автобусе, больше не поем, а продолжаем следить за игрой космических сил, за борьбой света и тьмы и наконец видим, как появляется огненный краешек Солнца, как он становится все больше и больше, превращаясь в неправдоподобно огромный шар, довольно быстро, но все равно как бы нехотя вырастающий из-за горизонта...

Часа через полтора мы уже в Одессе, а еще через пару месяцев к нам в общежитие приезжает старший лейтенант Жариков — оказывается, перед нашим возвращением он с кем-то договорился. Узнали мы его, помню, не сразу, поскольку приехал он в гражданском костюме, сидевшем на нем как-то странно, — так нам показалось. Мгновенно возникает застолье, общий сумбур, кто-то, пытаясь потрафить гостю, тут же начинает сыпать солдатскими каламбурами, многие чувствуют, как это глупо и неуместно, а лейтенант вообще недоуменно кривится: мол, куда это он попал. Но выпито немало, все возбуждены, и вот я уже вижу Жарикова без пиджака, с чуть ослабленным галстуком, лицо покраснелось, — и тут становится совершенно ясно, что мы почти ровесники — разница в каких-то два-три года, и петь он, оказывается, совсем не умеет, и все наши потуги привлечь его к этому делу абсолютно бессмысленны. И тогда мы вновь, как за соломинку, хватаемся за сержанта Шумахера, хохочем почти искренне, но даже сильно навеселе понимаем, что все это так, к слову — не более, и что жизнь у каждого своя. И обещаем писать нашему лейтенанту, и клянемся почаще видаться, но в душе звучит все более отчетливо: нет, нет, теперь уже точно больше никогда, никогда...

2. Сухиничи-Главные

В конце шестидесятых и даже пару лет в начале семидесятых мы по телевизионным делам часто ездили в Москву. Знаменитым 24-м поездом с гордым и исчерпывающим названием "Одесса". Компания была веселой и в меру находчивой, как и та передача, в которой мы тогда участвовали. Так что ехали весело. Знали все остановки, высказывали из вагонов, даже

если стоянка была минутной, после чего — и это было особым шиком, — пугая проводников и пассажиров, впрыгивали на ходу в уже изрядно набравший скорость поезд. Словом, дурачились, как могли. Все молодые, беззаботные, преисполненные уверенности в очередной своей победе, всегда чуть навеселе. А тут еще и женская часть команды рядом, что делало иногда излишним алкоголь — и без того голова шла кругом.

Из промежуточных станций почему-то особой популярностью у нас пользовались Сухиничи. И не просто Сухиничи, а Сухиничи-Главные. Каламбурили по этому поводу кому не лень, соревновались, кто ляпнет большую глупость, хотя цели ставили, конечно, совсем противоположные. Понятно, что раз есть Сухиничи-Главные, то где-то должны быть и Второстепенные, и что названы они в честь одесского сухого вина, запасы которого, как правило, иссякали еще задолго до прибытия "Одессы" на Киевский вокзал Москвы. Причем иссякали именно в Сухиничах. И это притом, что в момент отправления у каждого из мужской половины команды был заготовлен под полкой чуть ли не ящик.

Я вспоминаю, как лучший актер команды в обнимку с тоже далеко не худшим стояли на перроне и чуть не плакали от умиления, что вновь вернулись в свои родные Сухиничи, где якобы прошло их счастливое детство, за которое, естественно, спасибо товарищу Сталину. Девчонки поощрительно хохотали, другие ребята хотя и завидовали, но, отдавая должное нашим звездам, тоже всячески их поддерживали, жизнь была прекрасна, и ничего более веселого, чем эти совместные поездки, я до сих пор в своей жизни припомнить не могу. А к вечеру в одном из центральных купе, куда ухитрилась набиться практически вся команда, мы репетировали наше предстоящее выступление в знаменитом московском Телетеатре. Да-да, в том самом — на площади Журавлева, на сцену которого мечтали тогда попасть хотя бы однажды многие наши ровесники. Во всяком случае, те, кто хоть в какой-то мере считал себя веселым и находчивым. И в конце репетиции, на закуску, обязательно были песни, специально написанные авторами команды для приветствий и домашних заданий; причем, как правило (и это было тогда, как сказали бы сейчас, нашим фирменным знаком), на классическую музыку. Бетховен под гитару, представляете!.. Но что нам аккомпанемент, когда в ушах сама по себе начинает звучать волшебная мелодия вступительной песни из приветствия, и мы дружно, в ритме движения поезда, начинаем:

Уже исчез вдали вокзал,
И поезд наш спешит вперед,

Уже Москва и этот зал
В воображении встает.
А за окном бегут огни,
К себе приковывая взгляд,
И наши мысли, как они,
Бегут назад.

Скажите нам, какой резон
Грустить и думать о былом,
Когда уйдет за горизонт
Любимый город или дом?
И почему всегда милей
Издалека для наших дум
И тишина его аллей,
И моря шум?..

С тех пор я еще много раз ездил "Одессой" в Москву и каждый раз, проезжая эти самые Сухиничи-Главные, вспоминал нашу компанию, с грустью понимал, что все это уже никогда не повторится, и смотрел, смотрел в окно, живо представляя себе и лица своих друзей, и их замечательные импровизации, и становящиеся все более сомнительными для меня с годами наши "молодецкие" забавы...

Но Сухиничи-Главные я запомнил не только поэтому. Еще два случая, причем совсем не веселых, связаны у меня с этой до сих пор популярной среди моих друзей узловой станцией...

Однажды, когда, простояв положенные двадцать минут, состав наконец медленно тронулся, я заметил на соседнем, противоположном от вокзала перроне группу молодых ребят, которые вели себя как-то странно. Помню, за вагонным окном были ранние зимние сумерки, и поэтому я сперва плохо разглядел, что там происходит. Поезд набирал ход очень медленно, и я успел рассмотреть, что эта неспешная, словно в замедленной съемке, возня была не чем иным, как обыкновенной пьяной дракой. Причем ребята участвовали в ней совсем юные, лет по пятнадцать-шестнадцать, и одеты они были в какие-то чуть ли не одинаковые брезентовые робы. Их было не больше десятка; часть нелепо тузили друг друга, валяясь на земле, другие испуганно и тоже как бы нехотя дрались стоя, лица были синими от водки и мороза. Особенно меня поразила картина, как один из них, чуть ли не самый маленький, все совал и совал свой рас-

крытый перочинный ножик в бок паренька постарше, тот вяло отбивался, даже не отбивался, а просто пытался оттолкнуть руку нападавшего, который от бессилия чуть ли не плакал...

Поезд наконец набрал ход, дерущиеся ребята стали совсем маленькими, а я, как выяснилось, до сих пор помню эту жуткую картину, что открылась мне из окна вагона на российской, неподалеку от Белоруссии, станции...

То ли потому, что каждый раз, проезжая Сухиничи и вспоминая наши давние лихие проделки, я подолгу смотрел в окно, то ли это просто совпадение какое-то, но еще одна буквально потрясшая меня сцена открылась мне как-то из окна вагона.

И в этом случае поезд уже тронулся и тоже делал это очень медленно, и увиденная мной картина тоже разворачивалась на соседнем перроне, от которого несколько минут назад отошел поезд. И тоже были сумерки, но уже летние, и, наверно, поэтому то, что я увидел, запомнилось мне даже более отчетливо, чем безысходная драка пьяных мальчиков...

Два старых человека, и не просто старых, а прямо дряхлых от старости, тащили по перрону в сторону здания станции огромный, как мне тогда показалось, чемодан. Точнее, пытались тащить. Помню, в руках у них еще были какие-то кульки, которые они поминутно роняли, бессильными дрожащими руками пытались все это собрать и снова принимались за свой явно неподъемный для них кофр. И опять у них почти ничего не получалось, и они, обессилев, присаживались на него и так, прислонившись спиной друг к другу, отдыхали. Люди они, судя по всему, были интеллигентные: он в шляпе и, как это часто бывает у стариков, несмотря на лето, в плаще, она в темном, однако совсем не старушечьем платье и тоже в шляпке, даже, кажется, с каким-то пером. Причем возраст у каждого из этой пары, как я уже сказал, был запредельным, — их растерянные, с каким-то пепельным оттенком лица я очень хорошо запомнил. Стариков, видимо, кто-то не встретил, а может быть, и не должен был встречать, носильщиков, как это часто бывает, на всех не хватило, — вот они и остались одни на этом опустевшем перроне, по соседству с которым уже набравший скорость поезд увозил меня то ли в Одессу, то ли в Москву, "по делам или так, погулять" — вот уж чего не помню, того не помню...



ЛЮБОВЬ И ГВОЗДИ*

Текст-проза

Часть первая

Сразу же хочу предупредить всех тех, кто собрался прочесть это повествование; более нудного, более никчемного и пустого текста нет ни в одной современной книге. Хочу предупредить, что завязнув в нем, вам будет трудно потом прервать это бесполезное занятие; вы будете внутренне ругать себя, злиться, но продолжать читать всю эту ахинею и тягомотину с раздражением и отвращением. И дело здесь не в авторе, который излагает это повествование — языком, мягко говоря, астризным, а в самих героях, в самой фигуре Плейшнера и в его дурацких поступках.

Сразу же хочу предупредить, что наш Плейшнер это совсем не та фигура, которую сыграл актер Евстигнеев в известном всем фильме. Тот, евстигнеевский Плейшнер, благороднейший человек, ученый, шпион-дилетант, волею судьбы исполнявший рискованное поручение Штирлица, — за что и поплатился собственной жизнью. Плейшнер этого повествования — птица совершенно иного полета. Матерый шпионище-волкодав, хитрый, безжалостный хищник. Между ними ничего нет общего. Разве что только фамилии. Ныне здравствующий Плейшнер является яркой противоположностью своему киношному образу. Скажу даже более: этого проныру я почти что ненавижу. Все они, и Плейшнер, и Штирлиц, типчики те еще! Хотя к Штирлицу у меня отношение двоякое, какое-то не совсем определенное. Кое-какой интерес для меня как для писателя вызывают Гитлер и Сталин, но они, в сущности, уже давно пережеванный материал более маститыми, скажем так, крысятниками. Дотошными буквоедами. Излагателями событий. Мне описывать всю эту гоп-компанию с позиций субъективного альтрематизма и грустно, и противно, но надо. Деваться некуда. Нам, писателям, как известно, платят за текст. Чем больше мы накрутим текста — тем больше получим за свою продукцию. Такова объективная реальность со всеми ее выкрутасами и потрохами.

С нескрываемым отвращением приступаю я к своей обезьяньей работе. Надо писать. Надо заработать пару копеек. Ведь и свою предыдущую кни-

гу "Любовь и гвозди" я также писал с нескрываемым отвращением, а каков результат? Ее нет ни в одном магазине. Все раскуплено, все разворовано, все зачитано до дыр, и даже у меня, у автора, нет ни одного экземпляра.

Иногда я просто плюю на написанный мною текст. Оставляю на нем всяческие пятна. Но самое большое пятно на моей биографии — это то, что я лично знал и имею несчастье знать Плейшнера, этого горе-шпиона, как облупленного. Итак, каков он есть, таковы будут и мои слова о нем. И ты, дорогой читатель, не жди от меня стилистических тонкостей, философских раздумий, щемящих описаний пейзажа, через которые мы, писатели, обычно стараемся передать музыку души какого-нибудь человеческого существа или коровы, одиноко стоящей посреди городской площади под мелким осенним дождем. Корова стоит, щиплет жидкую травку, проросшую меж булыжников, порой протяжно мычит, шлепает своими коровьими лепешками... и тут из-за угла дома появляется в измятом засаленном пальто и шляпе, побитой молю, Плейшнер. Вот он, ссутулясь, осторожно подходит к одинокой корове, и они с любопытством смотрят в глаза друг друга. Корова грустно вздыхает, шпион передергивает плечами и, оглядываясь по сторонам, тихо, но многократно (так же, как когда-то в рейхсканцелярии Гитлера), пугает каким-то непереносимым веществом. Корова, отвернув голову, пятится от Плейшнера, а тот, постояв еще с минуту, движется дальше. Двигается своей шпионской походкой, задевая коленкой об коленку. Вот вам и весь *наш* Плейшнер. Только на полминуты он возник перед нашим внутренним взором, а уже какое неприятное, глупое впечатление произвел он на всех нас своим появлением. Хотя если отбросить кое-какие детали и копнуть глубже, то в его поступках, возможно, сокрыт смысл, непостижимый умом нашим. Ведь этот с виду пошленький человечик, в общем-то, — глыба. Если бы тогда он не прокололся на горшке с геранью, то его до сих пор вся Европа в жопу бы целовала. Но он, как вы знаете, прокололся. Хотя прокол этот особых последствий не имел. Плейшнер вывернулся и сумел сохранить свою карьеру.

"Здесь что-то не так", — подумал шпион, зайдя за угол дома, и незаметно огляделся. Он всегда незаметно оглядывался, когда к нему в голову приходила какая-нибудь подозрительная мысль. "Почему корова одна, без хозяина, стоит посреди площади?" Ха-ха-ха. Откуда же ему догадаться, что эту корову я, автор, специально поместил там просто так, по своему авторскому желанию, чтобы показать плейшнеровскую сущность? Гнусность его характера. Зачем, спрашивается, так вести себя перед неповинным животным?

* Печатается с сокращениями

Сняв шляпу, он вытер плешь платком и снова непроизвольно пукнул, да так, что сам испугался произведенного звука. Вздрыгнул. И снова передернул плечами. Ворона, сидевшая на голове памятника с отбитыми руками, каркнула, строго глянув на Плейшнера, стеклянным глазом. "Чтоб ты сдохла!" — подумал шпион, стоявший внизу, и незаметно что-то записал в свою записную книжку. Я как автор скажу вам, что он туда записал: сначала он поставил два крестика, а потом четким шпионским почерком вывел: "Штирлиц — поц!".

А теперь вот какой пассаж; когда он, Юзик, еще учился в школе, то из подлости души своей частенько прокрадывался в туалет, куда ходили писать девочки, и, запершись в одной из кабинок, через перегородку, в которой им уже заранее была просверлена дырочка, — подглядывал за ними. А затем в эту дырочку просовывал прутик, и когда девочка делала свою нужду, он вдруг тыкал ее этим прутиком в голую попку и гавкал по-собачьи. Бедная девочка с визгом выскакивала из кабинки, продолжая свою нужду прямо уже на свои трусики, на пол туалета. Юзика неоднократно наказывали розгами, но он все равно продолжал свои проказы, связанные с туалетом для девочек. Да он постоянно подглядывал за кем-нибудь, выслеживал, ему, например, было интересно, куда направится эта женщина с чемоданом в руке, и он незаметно следовал за ней, шпионил, вынюхивал, втирался в доверие к совершенно незнакомым людям и собирал всяческую информацию об их родственниках. Но я никогда не доверял ему, этому плешивому онанисту.

В узких шпионских кругах Плейшнера так все и звали — "Плешивый Плейшнер", а некоторые после этих слов еще и добавляли: "Старый мудак!".

Когда он провалил дело в Цюрихе, толком не разобравшись, на кой хрен поставлен горшок с геранью на окне явочной квартиры, и полез туда, то Штирлиц, конечно, тут же перестроил всю шпионскую работу. Он срочно вызвал Плейшнера в Берлин на разборку, дав тому телеграмму открытым текстом: "Приезжай в Берлин, поц!". И Плейшнер приехал, поджав хвост, как побитая собака.

Плейшнер часто играл Гитлеру на волосянке. И это было просто потрясающе. Поверьте мне. Моему знанию предмета, о котором я сообщаю вам, дорогие мои читатели. На волосянке Плейшнер играл просто бесподобно. И хотя мне как автору, не любящему своего героя, хотелось бы сказать, что у него не было музыкального слуха и тому подобное, но пойти против истины я просто не имею права. Поэтому Плейшнера, этого волосячника, мы, конечно же, в обиду не дадим. И пусть это звучит патетиче-

ски, но зато в такт с ходом нашего повествования. То есть бодро и оптимистически. Поэтому мы сделаем так, что когда Плейшнер приедет в Берлин после своего провала, то вместо прочуханки от Штирлица он будет вызван в рейхсканцелярию для вручения ему ценного подарка из рук Гитлера лично. Вручая шпиону будильник, Гитлер сказал следующее: "Я всегда знал, что вы, Плейшнер, еще покажете себя! И вы себя показали!".

Да, это будет хороший роман. Я чувствую своей печенкой, что образ нашего героя стал уже вырисовываться все ясней и напористее. Мы должны показать миру — кто такой Плейшнер во всем его величии! Мы не позволим дрючить его на каждом шагу всем кому не лень. И сам Ю. С. нам здесь не указ с его фантазиями, которые только запутали все дело. "Даешь Плейшнера!" — кричу я сам себе и снова хочу кушать.

Но с горечью я должен сказать, что никто не достоин справедливого сопереживания в этом тексте. Разве что я сам — автор — бедный, старый, никчемный человечинко, все еще ждущий большой светлой любви, душевного тепла, денег, вкусной еды, каких-то развлечений — но никому я уже не нужен. Никто уже не хочет развлечь меня. Уже ни одна красивая женщина не подойдет ко мне и не скажет ласково: "Поцелуйте меня в жопу, друг мой!". Все уже в прошлом. Все осталось там — в той жизни, где нас уже нет...

Уважаемый читатель. Кое-кто из вас может задать вполне законный вопрос: а почему этот автор вздумал описывать жизнь какого-то Плейшнера, этого никому не интересного шпиона, когда в мире творится столько событий, когда вся наша жизнь похожа порой черт знает на что? Когда одни жируют по модным кабакам, а другие роются в помойках? Так вот что скажу я вам. Все вы, читатели, — люди без восторга! Ведь надо же понимать нас, писателей. У нас так: что вдохновение принесло в голову, о том и пишем. А иначе нельзя. Иначе ничего не выйдет. Настоящее творчество — это вам не стакан коньяку, который можно выпить мелкими глотками, утереться рукавом походной шинели и послать всех в рейхсканцелярию...

...Исходя из всего вышеизложенного, я хочу сказать следующее: Плейшнер на грани провала. Еще одна оплошность — и его раскроют. Еще один неверный шаг — и все полетит к чертям собачьим.

Недавно он передал в центр следующее: "Тетя ест мух. Дядя дичает. Здесь одни недовесы. Музыкальная шкатулка дрючит гимн. Тетя".

А это означало: "Я на грани провала. Высылайте деньги для подкупа высоких чинов вермахта. Штирлицу я не доверяю. Я спокоен".

Да, он был спокоен. Он держал свои нервы в кулаке, как привык держать все то, о чем думал в настоящее время. Но это только так рассуждал о себе самом Плейшнер. На самом деле он, конечно же, нервничал. Ведь ничто человеческое ему, как и всем нам, не чуждо. Ведь если Плейшнера раздеть, то голым он будет выглядеть как побитая собака. Он будет жалок. Только одна часть его организма достойна уважения. Недаром Гитлер (у которого эта часть была очень незначительной), увидев как-то Плейшнера в бане, впал в экстаз. Тогда же он произнес свою известную речь, которая вошла в анналы истории и начиналась словами: "Мой друг Плейшнер никогда не подведет нас!".

Плейшнера, в общем-то, все любили, только бродячие собаки считали своим долгом облаять его. И это не шутка. Собаки нападали на него везде: в парке, на базаре, на улице, в театральных переулках. Только великолепный дог в рейхсканцелярии Гитлера никогда его не трогал. Дог уважал Плейшнера, и тот даже проел плешь Гитлеру насчет этого дога — мол, очень хорошая собака у вас, мой фюрер, очень справедливая и главное — не воняет. А Гитлер только ухмылялся в свои усы и ничего не отвечал Плейшнеру по этому поводу. И тут внимательный читатель может задать правомерный вопрос: "А что же, Гитлер не знал, что Плейшнер шпион и на кого он работает?". Конечно же — знал! Гитлер был не такой дурак, как это может показаться на первый взгляд. Ведь он же сам лично подсовывал Плейшнеру ложную информацию. Такую ложную, что Сталин удивлялся. "Не может этого быть!" — говаривал он Жукову, похлопывая того по плечу своей курительной трубкой. "Не пора ли нам расстрелять этого Плейшнера?" — неоднократно спрашивал он у Ворошилова. "Нет, — отвечал тот робко, — пусть работает, ведь мы же через него даем Гитлеру ложную информацию". Сталин улыбался в свои широкие усы, брал в рот трубочку, набитую душистым табаком, и, покуривая на ходу, шел в свой кабинет пить армянский коньяк, который ему присылали армяне.

Да, сейчас Советский Союз распался. Но придет время, и он снова слипнется. Все в истории устроено так, что оно то разлипается, то слипается вновь. Главное, чтобы была сверхзадача, как любил говорить Станиславский, откушавая с серебра замардованную дурняку. Сверхзадача нашего романа такова — чтобы все и всем было хорошо, а Плейшнер действовал.

"Надо действовать", — не раз говорил так сам себе Плейшнер и, ковыряя спичкой в ухе, напряженно смотрел в окно, вынашивая план слежки. Ему предстояла долгая ночь на ногах. Под снежным дождем, под ветром.

Он следил за одним человеком, у которого был доступ к секретным документам. Эти секретные документы и были целью нашей ставки. Ведь нужно было войти в доверие, как-то изловчиться и выкрасть документы. Ох и опасная же это работа.

При такой работе могут запросто убить или покалечить, или же напугать так, что всю жизнь будешь заикаться, и никакой логопед не сделает тебе речь такой же, как она была до испуга. Да, Плейшнер слегка заикался, но это он делал не с испугу, а маскируя этим свое прошлое. Свое омерзительное детство и юность, когда он простым засранцем торговал на улице порнографическими открытками и надувными презервативами.

"Плейшнер, Плейшнер идиот! У тебя болит живот", — дразнили его окрестные мальчишки и девчонки. А он им показывал дулю с маком и никогда не позволял себе ничего подозрительного.

Однажды Плейшнер рассказал Гитлеру о том, как его дразнили в детстве. И Гитлер долго смеялся. Потому что его тоже так же дразнили. "Гитлер, Гитлер идиот! У тебя болит живот". У Гитлера был своеобразный юмор. Генералы часто требовали у него повышения зарплаты, ценных подарков на Новый год и на День смеха. А он, усмехаясь в свои узкие усы, подзывал одного из них к себе поближе, как бы желая что-то сказать по секрету, и, приблизившись к генеральскому уху, — плевал в него жидкой слюною. Такие же плевки в ухо доставались неоднократно и Плейшнеру, но он на них не обижался. Просто улыбался себе и, махнув рукой, посылал кого-нибудь из присутствующих в жопу. Гитлер на него не обижался и доверительно потом говорил, что казна пуста, и золота тоже — кот наплакал.

И тогда Плейшнер слал в центр, в Ставку Верховного Главнокомандующего: "Селедка съедена вместе с костями. Гвоздей нет и занять не у кого".

Ставка радовалась. Хрущев плясал на банкетах гопачка. Каганович — фрейлехс. Берия — грузинскую плясовую, а Андрей Андреевич Андреев играл им ладошками на своем голом животе, и все радовались. Даже армянин Жданов читал наизусть стихи Ахматовой и плакал.

Как-то Плейшнер шел по Берлину, неся в руках баночку из-под майонеза, и думал: "Зачем все это? Зачем вся эта свистопляска? Зачем мы живем на земле? Зачем думаем? Зачем размножаемся? Зачем любим и ненавидим друг друга? Зачем воюем? Почему мы не можем мирно жить на земле? Любить девочек. Пахать и сеять. Плясать. Играть на музыкальных инструментах. Сеять и жать друг друга где-то под звездами по закоулкам. Целовать друг друга везде. В транспорте. На концертах. Почему на кон-

цртах обязательно надо думать о том, что в животе урчит и может случиться непоправимое?"

Думая так и рассуждая, он зашел к Штирлицу. Тот как раз пек картошку в мундирах и пил водку...

Одну минутку, уважаемый читатель, — мне звонят в дверь. Это, наверное, почтальон. Да, так и есть. Он принес письмо от какого-то задрипанного читателя. Нет чтобы вложить в конверт пару рублей — так этого никто не догадается. Все пищат. Все критикуют. Вот и этот, по фамилии Зайчик, — тоже пищит. Привожу дословно его стилистику и грамматику.

"Вы суки пишете про шпионов, а не про нашу жизнь. Наша жизнь хуже шпионской. Одни козлы сидят на местах и руководят нами по силе своей возможности. Напишите что-нибудь философское. Падла".

Да, дорогой мой читатель, ты и впрямь "жизнь наша". Не видишь в моей прозе ничего философского. Дожили! Да ведь мой текст — это же одна чистая философия и ничего больше!

Ведь я же задаю философские вопросы устами моего героя. Например: что есть сама жизнь? Откуда мы вышли и куда идем? Что будет после смерти? Есть ли смысл в жизни? Где достать денег?

Разве это не вечные философские вопросы? И я их вскрываю путем познания души самого Плейшнера. Ведь мы, писатели, — тараканы человеческих душ. Ковыряемся в душах, как у себя в кармане. Наше писательское дело — это показать героя во всей его плоскости, со всеми его прибабасами и прочими закруглениями. А Плейшнер — это как раз та фигура, над которой можно производить исследования во всех направлениях сразу. Познавая Плейшнера, — мы познаем себя. Познав себя, — мы познаем мир. Познав мир, — мы будем всегда знать, где лежит счастье, к кому зайти в гости, чтоб удалось что-то перехватить и чтоб при этом не дали по шее. Куда лучше всего, в какой банк поместить свои сбережения, чтобы потом не оказаться у разбитого корыта. И наконец — где достать денег.

А вы говорите, что все мое творчество это бред сивой кобылы, что это маразм чистой воды. Еще Эразм Роттердамский говорил: "Читайте, задумывайтесь, пробуйте — и вам подвалит либо то, либо другое". Мое творчество — это только на первый взгляд хреновень собачья. Но тот, кто есть с умом своим, — тому достаточно. А тот, кто хочет прозы жизни, пусть читает газеты, смотрит телевизор, рассуждает на кухне о политике и тычет правительству дули сквозь бетонные стены.

"Привет, партайгеноссе Плейшнер!" — как-то крикнул я, заведя того стоящим через улицу у пивного ларька в образе бомжа, пьющего пиво. Он

покрутил пальцем у своего виска, давая тем самым понять мне, что я поц. Я тут же догадался, что он работает, кого-то уже выслеживает, поц, и просит ему не мешать.

"Ты что, следишь за кем-то?" — закричал ему я, как бы не понимая его жеста.

Плейшнер еще яростнее завертел пальцем у своего виска и, то открывая в безмолвии рот, то закрывая его, стал корчить мне яростные рожи.

"Вот — поц!" — подумал я и решил подойти к Плейшнеру поближе.

"Поц" на него могу сказать только я. Мне Плейшнер позволяет. Другому бы он тут же предъявил все свои документы и потребовал бы объяснений. А мы с ним запанибрата. Иногда он мне говорит "поц", иногда я ему. Я на него не обижаюсь, потому что он действительно поц, но его работа, его служба делает его значительным человеком.

А знаешь ли ты, читатель, что у нас власть повязана с криминальным миром, что у нас все хуже, чем где-нибудь в Колумбии или в Сальвадоре? Сколько трагедий, сколько отмывается денег в пивных ларьках нашего отечества! Сколько голых девок танцует по ночным клубам, продавая свое голое тело за рюмку коньяка, за фунт стерлингов! И даже за доллары — чтоб их черт побрал. И всю Америку тоже. Это они, эти империалисты, разлипли наш СССР, и он теперь никак не может спаяться вновь на основах дружбы и взаимопонимания.

Но ничего! В Белоруссии сидит Лукашенко и он оттуда посылает флюиды во все мировое пространство, чтобы мы все склеились опять в мощный кулак против мировой буржуазии. Это он первый выдвинул лозунг: "Руки прочь от Плейшнера!"

За Лукашенку сейчас вся Россия, Казахстан, Узбекистан и, конечно же, кое-кто из влиятельных лиц, хотя рассуждать об этом сейчас не стоит. Не то сейчас время, чтоб рассуждать об этом, да еще в письменной форме посреди нашего романа.

А где же Плейшнер?

Да вот же он, у пивного ларька стоит и кушает пивную пену и рыбки плавники, сухие как кость, и хвосты, и хребты рыбки. Значит, так надо. Значит, так предначертано судьбой и рыбьими потрохами. Я подошел к нему и стал незаметно за его спиной.

С одной стороны, не хочется никого обидеть, а с другой хочется. Почему, к примеру, нельзя взять и обидеть того же Плейшнера? Вы спросите, за что? А вот за что: почему он не повлиял в свое время (а ведь мог повлиять) на Иосифа Виссарионовича, чтобы тот не сажал людей в лагерь?

Ведь идея социализма в корне (без этих чертовых лагерей) вовсе не плоха. Каждому по надобности и от каждого по способности — гласит ее (этой идеи) постулат. Что же здесь плохого? Если бы, конечно, не лагеря. Лагеря обгадили всю идею. А ведь за эту идею, судя по нашим песням, фильмам и литературе, люди кровь проливали. Да еще какую! Молодую здоровую кровь без всяких там спидов и марихуан. Да, тогда гомосексуалистов столько не было. Так вот, Плейшнер мог ведь подойти к Сталину и сказать: "Друг, давай выпьем!". И Сталин бы все понял. Но никто ему этого не сказал. Потому что — да! — все боялись за свою шкуру, и Плейшнер, как видно, тоже боялся, хотя работал шпионом, был уважаемый человек, но поц. Да взял бы и рискнул своей шкурой, сука! Подошел бы и сказал: "Сталин, давай выпьем по-крупному!".

Может быть, тот и согласился б. Напились бы, а потом бы Плейшнер ему под пьяную голову взял бы все и выложил. Так, мол, и так. Кончай ваньку валять. Не сажай людей в лагеря. Дай им хлеба и зрелищ. Дай им работу, и они будут тебя в жопу целовать. Вот ты, к примеру, выставишь жопу из Кремля, а они все, проходя мимо (идя на работу), целовали бы каждый. И смеху было бы, и сколько радости детям и гомосексуалистам всяким! Эх, Плейшнер! Эх, Иосиф Виссарионович! Надо бы получше с народом. Народ — он у нас хороший.

Гад Плейшнер не раз уже подставлял мою рукопись под стаканы и кастрюли всякие. Это ты, Плейшнер, заходил, когда меня дома не было, и проделывал тут всякие гадости над рукописью моей? Учти, Плейшнер, — поймаю и сам все съем, а тебе лиру поэтическую на голову надену и убью потом из пистолета. Я не посмотрю на то, что ты лицо известное, но издеваться над рукописью я тебе не позволю. У меня и так есть кому издеваться. Так называемый мой внутренний редактор издевается над ней, от ума своего умного отталкиваясь. Это, мол, здесь не так, то не так. Все, что я про трусы свои написал, он хочет вычеркнуть уже. "Вы что это, совсем с ума сошли, где вы видели, чтобы автор романа описывал свое исподнее? Толстой описывал? Достоевский описывал?" А я вот беру и описываю. Я, может быть, из этих своих старых поношенных (но кропотливо стиранных ежедневно, вот этими вот руками) трусов сделаю знамя себе. Прибью их к древку и пойду по улице с этим знаменем в руках народ смешить. Пусть народ смеется. Народ в хорошем государстве должен быть смешливый, веселый. А вы посмотрите на наш народ. Идет по улице, будто ему обезьяна в карман нагадила, а он руку туда сунул. Все морды угрюмые, хамовитые морды все, злобные. И для такого народа я вынужден писать это свое произведение о Плейшнере!

Иногда меня берут сомнения. А хватит ли мне таланта написать этот роман, не поверхностно так, тят-ляп, а глубинно? Выявить все нутро Плейшнера. Ведь он пока что единственный у меня герой. Все остальные — это все так себе. Подтанцовка, как говорят сейчас в уху.

Плейшнер, Плейшнер! — ты заставляешь меня думать. Но я не мыслитель. Я далеко не мыслящее существо, которое распускает свои мысли где надо и не надо. Иногда мне просто противно думать на темы морали или же старческого секса. "Мои мысли — мои скакуны", — поет один наш певец, подпрыгивая на сцене. То есть, блохи они — эти мысли, скачущие по телу. Нет, я здесь не намекаю на Плейшнера, у которого всегда водились блохи, и не какие-то там песенные виртуальные, а самые настоящие скакуны бешеные. Стальные крупнокалиберные блохи, которых даже ногтем невозможно было раздавить, сколько бы ты ни давил их. Подмышками они у него водились и в паху. Что он только ни делал, чтобы вывести их! Гитлер ему советовал опалить все к едрене-фени, чтоб блохи те погорели вместе с волосами. "Давай попробуем, Плейшнер!" — не раз предлагал он ему, вытаскивая клещами полыхающее поленце из камина, а тот тут же упирался и, глупо улыбаясь, нес какую-то ахинею про терпение человеческое, про большое человеческое сердце, а потом, отойдя в сторонку, — чухался как цуцик.

Вот и сейчас стоит Плейшнер у пивного ларька и чухается незаметно для окружающих, но я-то знаю, что он проделывает. Кстати, сейчас он очень похож на булгаковского Шарикова. Ну просто копия! До чего же может перевоплощаться этот глыба-шпион человеческий! Вот актер! Вот матерый человечище! Не человечище матерый, а целая "Апассионата" бетховенская. Стоит себе, сука ненасытная, и жрет пиво глотками закладными. Да сколько же можно! Видно, неплохо зарабатывает, подлец, раз столько кружек уже влил в себя. Я уже четвертую насчитал. И куда только столько влазит в него? Живота же у этого попугая почти нет. А пива влазит много. Удивляет меня он — герой моего еще далеко не дописанного романа. Я ведь только начал писать, а уже, если честно сказать — душу воротит от всей этой хреновины. Но деваться некуда. Работа есть работа. "Верной дорогой идете, товарищи!" — говорил Владимир Ильич, когда ему нужно было что-то сказать с трибуны веское и убедительное.

Старые люди говорят, что когда нечего сказать, то лучше помолчать в сторонке, никого не трогая своими словами пустоголовыми.

...А теперь вот что: когда СССР дал трещину и затем разлетелся по своим географическим дырам, то нам с Плейшнером так и сказали: "Вы

отработанный материал, надо бы вас расстрелять по-человечески, ну да хрен с вами — живите, старые пердуны, только нигде не возникайте. Сидите тихо", — и вышвырнули без всякого пособия на все четыре стороны, поскольку мы как хохлы могли перейти на собственное пропитание без всякого ущерба для окружающих.

Никому мы не стали нужны. Плейшнер, правда, быстренько устроился в какую-то частную контору здесь же, на Украине, и неплохо зарабатывает по своей специальности, а я решил потихоньку пописывать, пока сил хватит, а дальше видно будет. Кое-что еще можно описать, как было, но с постоянной оглядкой. Многие материалы, конечно же, еще сильно засекречены, но этот Ю. С. кое-что все-таки раскрыл в этом своем дурашливом фильме. Правда, я здесь должен сказать, что актер этот, как его... кажись, Кадочников, сыграл меня неплохо. Я получился у него немного театральный такой, немного прямолинейный, но все же он выжал из себя все, что мог, он старался, и я ему, конечно же, искренне благодарен.

Черты моего характера он схватил и передал в общем-то верно. Лицо мое волевое он преподнес нам со всей убедительностью, только уши у меня более арийские все же. Да и был я тогда значительно моложе. Сейчас у меня лицо будто сделано из мошонки, а тогда было лицо холеное, усталое от шпионской работы, и опять же таки повторяюсь — сильно убедительное. Я тогда хорошо питался. Мы тогда с Плейшнером немцам такую ахинею несли насчет украинской щетины, так их убедили в ее ценном наличии, что они стали вагонами закупать ее здесь, на Украине, и отправлять в Германию состав за составом. Мол, так надо.

В 45-м, когда наши в Берлин вошли, то все удивились: стоят на станции вагоны со щетиной и ни хрена больше. Кто, какой такой поц настриг столько щетины? Генералы наши ума не могли приложить и потом, когда узнали, что это мы с Плейшнером (по нашему указанию, конечно, не своими же руками мы перестригли всех свиней на Украине) затеяли всю эту свистопляску свиную, то некоторые просто разрыдались от нестерпимого удивления. Было нам потом. Ох, и было...

Сталин чуть своими руками не расстрелял, но пожалел. Восемь лет мы с Плейшнером в Сибири кантовались. Что мы только там не пережили: и голод, и холод, но мы стойко все перенесли, и при Хрущеве нас выпустили. Хрущев хороший был человек. Только сильно целоваться любил. Сталин — тот никогда никого не целовал. А вот Хрущев, а за ним и Брежнев любили целоваться с мужиками всасос. И с неграми, и с монголами, и с китайцами, и с их шоферами. Руку, бывало, пожмут и уже губы тру-

бочкой изготавливают для поцелуя. В жопу бы целовать такими губами. А они при всем народе (по телевизору эти поцелуи тогда вся страна смаковала); может быть, отсюда и пошел этот идиотский гомосексуализм, который они своими поцелуями проявили как руководители.

Каждая собака за свою жизнь должна хорошо выгавкаться!

Да, нет у нас все-таки приличной прозы, такой, чтобы — открыл книгу на любой странице, прочел любой абзац наугад и чтоб тебя передернуло всего от авторского таланта, чтоб захотелось тут же прочесть всю эту книгу от корки до корки и получить при этом такое наслаждение, такое вскипание ума, такую метель в сознании своем, чтоб тебя еще раз передернуло всего — и только потом отпустило. Некому сейчас писать так. Для того чтобы так писать — нужен талант. Но у меня его, к сожалению, нету. Зато у меня есть талант к другому делу. В дальнейшем я, возможно, откроюсь — к какому. А возможно, и не откроюсь. Все зависит от того, как пойдет наше с вами повествование. Если я увижу, что навороченного текста будет маловато, тогда, пожалуй, откроюсь, с тем чтобы доворотить текста до нужного размера.

Современная проза — это блохи в шкуре дворовой собаки. Она выгрызает текст из своей шерсти. Ловит блох и ест их зубами, а они все не переводятся. Так и писательское дело нынче в нашей державе. Писатель пишет и думает, что он своим текстом уже покрыл весь внешний объем дворовой собаки, а на самом деле выходит, что мысли его и философские рассуждения не что иное как блохи в собачьей шерсти. Таки правильно делал ефрейтор Гитлер, когда вызывал к себе в рейхсканцелярию фашистских писателей и заставлял их всех целовать жопу Геббельса.

Да, я знаю, что и в моем тексте ничего хорошего нет. Так — бред один старого идиота. Беспардонного проходимца. Бедного и жалкого. Любящего вкусные конфеты и шоколадное мороженое. Красивое женское тело. Точеные женские ноги. Выразительные глаза и маленькие ушки. Рот с ровными белыми зубами. Хорошо, когда такой рот ест спелые фрукты или поет что-нибудь, только не пошлое, а что-то классическое или старинный романс томный, со спелыми фруктами и темно-красным вином при свечах.

Много в этом мире есть удивительного, но мы все летим куда-то и не замечаем воробышка за окном, который посмотрел на нас, или не видим розового облака в утреннем небе, которое специально для нас окрасилось в этот легкий поцелуй и улыбается с высоты для нашего внимания.

Никогда еще в своей жизни я не опускался так низко. Я всегда мог сдерживать свои порывы, свои желания. Воля, железная воля сделала из меня — простого украинского пастушка — Штирлица. Да, я прошел серьезную школу подготовки. Изучение немецкого языка, повадок немецких, потом долгое "знакомство" с оригинальным Штирлицем, которого мы взяли еще до войны, и в шкуру которого я потом влез и вылезти из нее уже так и не смог. Став Штирлицем, я не смог уже перевоплотиться в простого украинского пастушка, детство которого прошло под Полтавой, в белой украинской хате, крытой хрен знает чем, только не соломой.

Помню, все в том же Берлине я дал Плейшнеру задание: нелегально выехать в Цюрих и выйти на улицу N. Эту улицу и номер дома пока еще раскрывать нельзя. Квартиру можно. Этаж нельзя. И в левом окне квартиры № 17 постараться незаметно увидеть цветок в горшке. Если цветок стоит, значит, смело можно входить в квартиру и делать свое шпионское дело. Если же цветка нет — опять же таки, незаметно покинуть улицу и дать мне телеграмму следующего содержания: "Тетя ушла к дяде" — и все! Я буду знать, что случилось... Плейшнер увидел цветок в горшке в правом окне квартиры, но все же решил войти. Потом ему пришлось выпрыгивать из окна и как затравленная собака бегать по Цюриху, запутывая свои следы.

Да, это были тяжелые времена. Мы работали на износ. Я тогда по долгу своей службы должен был (для того чтобы доказать всем, что я полноценный мужчина) посещать раз в неделю (обязательно!) тайные немецкие бордели для высших чинов вермахта. В распоряжении борделя находилось двадцать немецких женщин и двадцать другой национальности, через которых я, сделав свое дело, черпал часть нужной мне информации. Ведь мужчины становятся болтливы во время самого акта и особенно после него. Может быть, и я здесь что-то выбалтывал лишнее. Может быть, это я сказал кому-то из них, что Плейшнер отбыл в Цюрих с заданием навести мост насчет кое-каких дел с кое-кем. Может быть, и я... Я пылкий был в те годы. Да, посещая бордель — я выкладывался весь. Я изнурял себя пыткой любви к этим формам, к этим запахам, к этим ароматам чувственности. Меня любили женщины борделя за ненавязчивый тон, за умение разжечь настоящую страсть в профессионалках. Хотя, признаться, может быть, все это было у них профессиональное, но не в этом дело... Дело в том, что у меня есть что вспомнить в этой жизни, есть о чем писать. Может быть, как-нибудь на досуге, когда я разделаюсь с романом о Плейшнере, я напишу роман про этот бордель. Надо только придумать хорошее название к этому роману...

Итак, Плейшнер шел по следу... Мужчина в кожаной куртке и с портфелем завернул за угол, вошел в подъезд и, видно, почуввав слежку, затаился там. Почуввав, что мужчина затаился, Плейшнер сначала затаился тоже, потом бесшумно на своих склеротических ногах, гася скрип в коленях, незаметно проник в парадное. Завязалась схватка. Плейшнер вцепился в горло преследуемого. Тот, хрипя, выдавливал из себя: "Старик, что тебе надо?! Какого хера ты прицепился ко мне?! Отпусти горло... Сука...".

Когда преследуемый стал хрипеть более сильно — Плейшнер отпустил горло и тут же пожалел об этом. Тут же он получил удар кулаком в свое тело и отскочил в сторону. Мужчина ринулся бежать вверх по лестнице. Отдышавшись, Плейшнер кинулся за ним. Мужчина со всего разбега выбил дверь, ведущую на чердак. Плейшнер за ним. Тот выскочил на крышу и побегал по ней, громыхая прогнившим железом, и тут вдруг провалился, снова попав на чердак. На чердаке в пыли и паутине среди старой мебели и прочего хлама вновь завязалась схватка...

"Деритесь, суки, деритесь", — подумал я и отложил свое писательское перо в сторону. Пока они будут драться, мы с тобой, дорогой читатель, тоже должны передохнуть немного. Выйти в парк, подышать свежим воздухом, покормить лебедей, плавающих в пруду.

...Плюньте тому в несправедливое лицо его, кто скажет вам, что там, в Берлине, когда наша разведка (это хорошо отображено в фильме) устроила мне негласную встречу с женой в немецкой пивнущке, что там в самом дальнем конце ее (это хорошо видно на дальнем плане в тех кадрах) не сидел Плейшнер. Он там сидел, сука, хотя его никто не приглашал на эту встречу. Еще тогда в Берлине он положил глаз на мою супругу! С той встречи у них все и началось. Где-то там, в Берлине, по-видимому, и состоялось их ночное свидание. Плейшнер все сделал, чтобы у меня выросли рога, как у лося. После сибирских лагерей они сошлись окончательно и бесповоротно. Они и сейчас живут вместе, хотя не расписаны. Она получает мою жалкую пенсию по старости и все то, что должно принадлежать мне, принадлежит теперь ей и Плейшнеру.

...Что! Что! Что! Что! Что в мире творится. Америка напала на Ирак. Снова гремит война. Снова говорят пушки. Снова осколки снарядов бомб и ракет раздирают солдатские животы и выбивают нижние челюсти. Человек, которому выбивает нижнюю челюсть, — выглядит ужасно. Он остается живой, его перевязывают, лечат он поправляется, затем его вы-

писывают из госпиталя, и он возвращается домой (если, конечно же, не пускает себе пулю в лоб). Не дай вам Бог увидеть лицо этого человека. Это лицо войны. Это ее самое настоящее лицо. И это говорит вам полусумасшедший старик, прошедший все и медные трубы. Тогда, в сорок пятом, мы думали, что всё! — с войной покончено навсегда. Человечество напилось ее гноя и грязи по самую завязку, но... видно, еще не по самую. Дня не было с тех пор, чтобы на Земле где-то не воевали. И еще более омерзительными войнами, чем тогда мы с Германией. Мне противно перечислять все эти послевоенные войны... все эти людоедские побоища, бессмысленные, бесчеловечные...

Я когда выпью немного, то... порой плачу. Вы не верите? Плачущий Штирлиц — это вам не нравится? А вот Плейшнер говорит, слезы очищают печень...

— Штирлиц, как вы себя чувствуете?

— Очень хорошо, Надежда Васильевна.

— Жалобы есть?

— Нет. Никак нет.

— Как вы переносите новое лекарство, которое я вам назначила?

— Очень хорошо, Надежда Васильевна.

— А что это все пишете в этой тетрадке?

— Мне неудобно вам говорить об этом...

— Ну почему же неудобно? Я должна знать, что вы пишете... Неужели снова про любовь и гвозди?

— Нет, Надежда Васильевна, я пишу роман о Плейшнере.

— О ком, о ком?

— О Плейшнере! Я же вам сказал. О Плейшнере!

— Хорошо, хорошо! Только не надо возбуждаться. Пишите свой роман, только помните, что стерженек вы никому не должны давать ни под каким предлогом.

— Нет, нет! Что вы, Надежда Васильевна! Стерженек я никому не дам. Стерженек это мой главный инструмент. Без него я никто. Без стерженька я нигде не устроюсь. Кому я нужен без него? Я очень берегу свой стерженек. Я пишу очень маленькими буквочками. Потому что если писать большими — то паста скоро израсходуется, поэтому я пишу очень маленькими буквочками, вот, можете посмотреть...

— Но здесь же только одни линии.

— Нет, нет! Надежда Васильевна, это не линии. Это просто очень маленькие буквочки. Это они так сливаются и кажется поэтому, что это линии...

— Как же вы это читаете?

— А зачем мне это читать? Читать будут читатели — мое дело писать. Я писатель. Я скоро устроюсь на хорошую работу. Я буду получать хорошие деньги. Мои книги будут читать молодежь. Ведь я пишу для молодежи...

— Ну хорошо, хорошо. Пишите. Пишите, Штирлиц, только будьте благоразумны. Да, кстати, у меня к вам один вопрос. Но это сугубо между нами...

— Я весь внимание, Надежда Васильевна.

— Штирлиц, вы ничего во мне не замечаете?.. Я не кажусь вам сумасшедшей?

— Надежда Васильевна, как можно?! Что вы, что вы! Вы наш лечащий врач, разве врачи бывают сумасшедшими?..

— Нет, вы не подумайте ничего такого, я просто так спросила. Просто так, вы меня понимаете? Вот сейчас я с вами разговариваю, и мне кажется, что я... что-то не то делаю. Если вы у меня что-то такое заметите, то я вас очень прошу... сказать мне об этом. Мне не с кем поговорить об этом. Я могу только с вами, Штирлиц... ведь вы мне дороги... вы моя юность... "Семнадцать мгновений весны" я смотрела несколько раз. Как мы тогда ждали каждую новую серию! Как мы любили вас! Как мне тогда хотелось, чтобы вы... чтобы вы... Я так хотела, чтобы вы...

— Что с вами, Надежда Васильевна, голубушка?.. Не надо. Ну, не надо плакать. Вас могут увидеть... Вам нельзя, нельзя так...

В своем предыдущем романе "Любовь и гвозди", который Надежда Васильевна, как она мне сказала, предала огню, — я описал свою любовь к тринадцатилетней девочке, дочери сторожа нашего санатория. Я видел ее всего несколько раз и влюбился до беспамятства. Я видел ее только издали, но какое это было счастье видеть ее! Я влюбился, я представлял себя воздухом, которым она дышит, я был ее платицем, ее туфельками... ее школьным ранцем, ее тетрадками. Мне было так хорошо, как никогда в жизни. И так мучительно. Зачем порой кто-то посылает нам, кто-то навязывает нам эти удивительные чувства к другому человеку?..

— Штирлиц! Почему вы смотрите в окно?

— Я просто так, Надежда Васильевна.

— Просто так ничего не бывает. О чем вы думаете?

— О девочке...

— О девочке — это хорошо. А почему вы не думаете обо мне? О вашем друге, о вашем лечащем враче?

— Я думаю о вас тоже.

- Ну и что же вы обо мне думаете?
- Я думаю только все хорошее.
- Ну и в чем же это хорошее заключается?
- Я думаю, что вы несчастны...
- Да? Это интересно, а вы не хотели бы что-нибудь спеть для меня? Какой-нибудь романс, например, "Очи мрачные"?

В рейхсканцелярию вошли двое в черной эсэсовской форме с черепами на кокардах. Они вынули из карманов свои удостоверения личности и, раскрыв их, сунули прямо под самый нос стоявшему часовому. Это были Штирлиц и его тень. Тень проделывала все то, что проделывал ее хозяин, только в горизонтальном положении. Да, это был я со своей тенью. Сегодня у меня был трудный день, и впереди меня ожидала не менее трудная работа. Пройдя еще несколько блок-постов, я вошел в кабинет Гитлера.

Он стоял ко мне спиной, глядя в окно. Не оборачиваясь, спросил:

- Что будем делать с Плейшнером?
- Хорошо бы его отправить еще раз в Цюрих, мой фюрер, — сказал я.
- Займитесь этим делом. Пусть там ему накостыляют по самую завязку. Я хочу, чтоб ему отбили почки.

Я щелкнул каблуками.

— Не щелкайте, — скривился Гитлер, — у меня от этих щелчков голова болит... Пойдемте, я покажу вам одну вещь.

Адольф поманил меня в небольшую комнату, примыкавшую к кабинету. Большой серый дог последовал за нами...

— Когда-нибудь о нас будут писать книги, — сказал Гитлер, садясь в глубокое кожаное кресло. В такое же кресло после указания бледной руки фюрера сел и я. — Может быть, даже вы, Штирлиц, напишете такую книгу... А теперь посмотрите сюда, — и он протянул мне старую фотокарточку...

— Это я... маленький, — сказал как-то нежно Гитлер. — Здесь мне всего два годика...

Я взял фотокарточку, всмотрелся в нее и прослезился...

Я не знаю, почему в этой... в этом санатории все зовут меня Штирлиц. Кто-то первый дал мне такую кличку. Здесь все имеют какие-то клички. Вот тот странный старик с большой волосатой бородавкой на носу — Плейшнер. Так его называли еще до моего прибытия сюда. Я пишу о нем роман. Мне он очень интересен. Не каждый из нас отважится на то чтобы

отхватить ножницами себе мошонку, а потом обычной иглой и нитками зашить себе рану.

Как-то я спросил его: "Плейшнер, зачем вы это сделали?".

— Я хотел покормить собаку. У меня ничего не было. У меня не было даже хлеба. А та собака стояла у меня под окном, смотрела мне в глаза. Тогда я сделал это и бросил ей свою мошонку через форточку. Она мне все равно уже была ни к чему...

— А потом сами себе зашили?

— А потом зашил. Я ведь был когда-то хирургом. Во время войны мне приходилось проделывать подобные операции. Ведь осколок, когда летит, он не выбирает сам себе конечной цели. Он летит туда, куда мы сами приглашаем его в наше тело... Это трудно объяснить, но поверьте моему опыту. Кто-то просит пулю, чтобы она прошла мимо виска, а кто-то подставляет ей свой лоб... Это трудно объяснить... В этом мире все загаочно. Это мир загадок. По-видимому, я несу какую-то чушь, но это так. Мне кажется, что это так... Этот мир, как стекло в очках. С одной стороны он искривлен наружу, а с другой вовнутрь... Это знают многие, но мы почему-то боимся тех знаний, которые противоречат так называемой реальности...

— Плейшнер! Что вы здесь расселись?! Вам пора на укол! И вам, Штирлиц! Вам тоже пора на укол. Быстро марш в процедурную! Быстро, я сказал, еб вашу мать, человеческого языка не понимают, суки долбаные! Я кому сказала!!!

В процедурной хорошо. Медсестра Ниночка, которую я люблю уже давно, делает укол очень нежно. Я бы всю жизнь делал у нее уколы... если бы мне не надо было писать этот idiotский роман...

— В вашем романе нет сюжета.

— Может быть.

— В нем одна сплошная чушь.

— Может быть.

— Вы графоман?

— Наверное...

— Не наверное, а точно. Вы испытываете некоторое облегчение, когда пишете?

— Нет. Скорее, даже наоборот. Мне тяжело писать...

— Тогда зачем же вы пишете?

— Я не знаю. Я должен писать...

— Но вы же пишете бред какой-то!..

— Возможно...

— Он ничего не говорит, ваш бред, ни к чему не призывает. Он не заставляет сопереживать вашему герою. Ведь без этого сопереживания нет литературы.

— Но может быть, я хочу, чтобы сопереживание вызывал не мой герой, а те розовые облака на вечернем небе, которые так тихо говорят с моим сердцем. Отчего, когда я смотрю на них — мне хочется плакать? И сердце плачет мое...

— Так не бывает. Автор должен всегда быть отстраненным нейтральным наблюдателем. Вот вам мой совет. Сделайте план романа. Выберите сюжет и заставьте читателя сопереживать главному герою. Вы поняли меня?

— Понял...

План романа:

1. Детство Плейшнера. (Но я ведь описал его уже в своем романе "Любовь и гвозди".)

2. Юность Плейшнера. (Его школьные годы также отражены в новелле: "Дырочка".)

3. Дружба с Гитлером. (Эта их дружба также имела место быть описанной в эскизе "Шептун".)

4. Дружба с лесоповальной пилой "Дружба". (Каламбур, но куда денешься? Некоторая доля пошлости все же должна украшать хорошую добротную прозу. Как кремовая роза украшает своей пошлостью праздничный торт своим кремовым присутствием.)

5. Зрелые годы Плейшнера.

6. Плейшнер и экономика развитых стран социализма.

7. Плейшнер и моя жена. (Этот тяжелый для меня вопрос, я не хотел бы освещать его вовсе. Но, по-видимому, придется осветить его со стороны сторонних наблюдателей, таких как Гитлер и Сталин.)

8. Я в жизни Плейшнера.

9. Плейшнер как кривое зеркало нашей литературы.

10. Плешь Плейшнера.

Ну вот, план есть. Сюжет... осталось сложить сюжет. Он должен быть не очень сложный. Главный акцент мы сделаем на психологию личности.

Ах! Друзья мои, какие могут быть сюжеты! Зачем что-то планировать? Пошел слух, что содержать нас в этом санатории не на что. Государству это крайне невыгодно. Бюджет трещит, но во всем этом есть много хорошего.

Господи, как повезло нам! Мы с Плейшнером сели в автобус первыми и сели у окна. Он на одно сиденье впереди меня, а я сзади. Какой-то старик, который при входе в автобус тоже хотел сесть первым и оттирал ме-

ня от двери, оказался вдруг сам оттертым в сторону. Получилось так, что толпа совсем отбросила его. Он вошел в салон, когда все места уже были заняты. Его погнали в другой автобус, и я не знаю, нашлось ли там для него место. Он плакал, когда покидал наш автобус, потому что он хотел сесть рядом с Плейшнером...

Я бы тоже, наверное, плакал, если б со мной произошло подобное. Нас всех пересчитали и предупредили, чтоб все вели себя хорошо и сидели тихо. Но мы с Плейшнером радовались. Мы подсказывали на своих сиденьях и смотрели в окно. Наконец водитель завел мотор, и мы поехали. Мы почему-то выехали за город, и все стали спрашивать друг у друга — куда нас везут? Но Надежда Васильевна нас успокоила. Она сказала, что все мы давно не видели моря, и нам решили его показать. Степь и море. Чистую степь и широкое море. Мы ехали очень долго. Через какие-то перелески и овраги. Через какие-то опустевшие поля и села. Уже не хотелось смотреть в окно. Хотелось спать. И многие уснули. Несколько раз автобус останавливался, и всем нам было разрешено оправиться. Потом в нашем автобусе поломались двери. Они перестали закрываться, потому что автобус был очень старый, а двери ржавые и кривые. Потом шофера меняли старые колеса на новые. Мы также выходили на прогулку, а Надежда Васильевна все беспокоилась, чтоб никто из нас не потерялся. Потом мы снова поехали, а море все не показывалось. "Еще наедитесь вы этого моря по самую завязку", — сказал нам военрук, и все мы успокоились. Уже под вечер нам всем раздали по большому куску хлеба, а в пластмассовые стаканчики налили вкусной шипящей водички. Мы хотя и устали от этой долгой поездки, но все равно радовались, что скоро увидим море. И вот когда солнце уже склонилось к горизонту, автобусы остановились, и мы наконец-то оказались в чистой степи. Там были только покосившиеся столбы, уходящие вдаль вдоль поросшей бурьяном дороги, и везде была степь, степь, степь, Такая широкая, такая просторная и очень красивая. Нам сказали, что слева должно быть море. И действительно, с той стороны слышался его шум, но мы его не видели. "Все бегите смотреть море! — сказал военрук. — А кто не побегит, тот будет трус и предатель родины!" О, как мы все дружно побежали. Мы бежали в сторону моря, а оно бежало к нам своим веселым шумом, своим свежим вечерним воздухом. И вот уже все увидели его темно-синюю полоску, которая становилась все шире и шире. А когда добежали, то все остановились на краю обрыва... Обрыв тянулся бесконечно в одну и другую сторону. А море оказалось далеко внизу, до него было, наверное, метров двадцать, а может быть, и больше,

и спуститься к воде не было никакой возможности. Там, внизу, тянулась длинная полоска песка, и на него тихо накатывались ленивые волны. Ах, какой удивительный запах был здесь! Многие из нас почему-то заплакали. Легкий ветерок развеивал наши одежды. Какая это была удивительная картина...

Потом кто-то недалеко в стороне нашел тропку, по которой можно было спуститься вниз. Обрыв там как-то осел и получился откос более пологий. Несколько человек стали по нему спускаться к воде...

Мы с Плейшнером вначале тоже хотели было спуститься, но потом какая-то тревога появилась у нас в груди. Какая-то печальная смутная тревога... Автобусы вдруг загудели, и мы с Плейшнером побежали к ним. С нами побежали еще несколько человек, а остальные остались там, у обрыва, и там, внизу, на песчаной полоске. Мы с Плейшнером и еще человек пять едва успели вскочить в наш автобус через поломанные и уже не закрывающиеся двери. Он неуклюже разворачивался на старой заросшей бурьяном дороге, и когда развернулся, то поехали в ту сторону, откуда привезли нас. В салоне было очень свободно, и Надежда Васильевна осталась там, на берегу. Мы уезжали и махали руками тем, кто остался, и они махали нам с берега. Потом военрук, который вел наш автобус, сказал, что Надежда Васильевна уже давно двинулась мозгами и место ей там — на берегу моря. "Пусть, сука, инструкцию выполняет, а не антимонию разводит!" — пояснил он нам свои мысли.

Когда мы ехали, я почему-то подумал, что у Гитлера тоже было детство. Он, наверное, тоже любил играть в разные игры. Его, наверное, обижали. Может быть, даже били. Мне стало жаль маленького Гитлера. Я вспомнил ту его фотографию, которую он мне показал давно там, в рейхс-канцелярии... Он на ней был такой беззащитный, такой трогательный. Худое бледное личико, тонкие бледные ручки.

Гитлер любил детей. Он гладил их по головкам и дарил конфеты. И его дети тоже любили. Нет, Сталина так дети не любили. Он все-таки был более сложным человеком, более жестким, совсем мало улыбался и только попукивал часто, покуривая свою трубку.

Дети к нему не тянулись. Он обижал свою дочь Светлану. Забирал у нее игрушки, а когда она плакала — сердился.

Утром нас выгрузили на Тираспольской площади. По Преображенской улице в сторону Дерибасовской шли веселые и шумные люди. Особенно шумели, толкались и ругались матом миловидные подростки, мальчишки и девочки. Мне сначала все это сильно не понравилось, но потом я

понял, что этот мат лишен для них своего нехорошего смысла. Он был просто частью их речи, их восторга, их молодости. На многих были какие-то украшения из цветного картона и пластмассы. Всякие ослиные уши, клоунские колпачки на носу, и у многих волосы были выкрашены разноцветной краской. К нам подошел какой-то верзила и грубо потребовал купить у него колпачки для носа. Хорошо, что у Пейшнера нашлось несколько измятых бумажек, и мы приобрели эти дурацкие колпачки на резинке. Верзила тут же потребовал, чтобы мы нацепили их на нос и шли, как все люди: "А не как хорьки поганые!".

Мы нацепили эти колпачки и сразу стали как все. И наша санаторская одежда, полосатые пижамы и штаны уже не вызывали ни у кого никакого особого внимания. Мы шли со всеми на Дерибасовскую и, наконец, пришли.

Это счастье! Столько веселых разнаряженных людей. Столько шуток смеха, столько радости. Толпа двигалась по Дерибасовской и, дойдя до Преображенской, развернулась и пошла назад. Мы с Плейшнером влились в эту толпу, и она нас понесла, как река... как река, которая понесла на себе две старые лодки, закрутила их, отделила друг от друга, и вот я уже совсем потерял Плейшнера, а там, ниже, где Дерибасовскую пересекают другие перпендикулярные ей улицы, с этих улиц в нашу реку влились новые потоки. Меня сильно сжали с боков, вокруг трещали трещотки, пищали какие-то пищалки, и все люди сильно радовались... Под ногами у меня оказалась бутылка, я наступил на нее, но не упал, меня несла толпа. Кто-то сзади стал бить меня по голове какой-то бумажной трубкой. Нет, больно мне не было, но стало как-то просто противно. Я не люблю глупых шуток. Труба, ударяя меня по голове, отскакивала, издавая глухой и довольно громкий звук. Я хотел развернуться и посмотреть, кто же это проделывает над моей головой такую глупость, но не смог. Вдруг толпа понесла меня куда-то, и мы оказались у того места, где бесплатно раздавали мороженое. Пищали придавленные толпой дети... Мороженое пачками бросали в воздух, и люди ловили его. Одна пачка попала прямо ко мне. Я схватил его одной рукой и зубами стал разворачивать обертку, но тут кто-то выхватил у меня это мороженое, и я от обиды чуть было не заплакал. Рядом очутился Плейшнер. Я обрадовался, а Плейшнер застонал. "Надо выбираться отсюда", — прошептал он. "Но как?" — уже хрипел я. "Надо что-то делать, надо стараться выбраться из середины к краю, к домам".

И мы стали продираться к краю

"Группенфюрер, дайте мне вашу руку", — услышал я голос справа. По-

вернув туда голову, я увидел генерала Вольфа, вцепившегося в ствол дерева. Я протянул ему руку, но вместо того чтобы остаться с ним, оторвал его от дерева, и мы поплыли втроем. Потом мы видели в толпе еще много наших. Я видел Мюллера и Бормана. Они сказали мне, что Гитлер мелькал где-то впереди, но где он сейчас, никто не знает.

Иосифа Виссарионовича прижали к какому-то ларьку. Я увидел его усы и фуражку, а дальше уже ничего не увидел. В толпе промелькнули Берия и Троцкий. Гитлера мы увидели потом, когда толпа, докатив до Думской площади, немного ослабла в своем напоре...

Я чувствовал, что мы победили. Мы прошли через все и победили. Победа — вот ради чего стоило жить. Вот она, наша победа. И День смеха — это вершина нашей победы. "Слава победителям!" — крикнул я. "Слава, слава, слава!" — понеслось по округе...

"Дед, на, потяни косячок! Что ты стоишь, как неродной?!" — обратился вдруг ко мне какой-то взлохмаченный паренек, протягивая недокуренную сигарету. Я взял ее и потянул в свои легкие сладковатый дым.

"Тяни! Тяни еще, сука!" — паренек стал как-то неестественно хохотать.

Я потянул еще и вдруг почувствовал, что и мне сделалось смешно, и я стал смеяться. Всем было очень весело.

В воздухе летали шарики. Я ухватился за ниточку одного из них и тоже поднялся в воздух. Я летел над толпой. Воздушный поток поднимал меня все выше и выше. Рядом со мной, так же ухватившись за ниточку шарика, летел Плейшнер.

— Оберштурмбанфюрер! Мы летим! — закричал он.

— Летим, Плейшнер!

— Вы видите море?

— Конечно, конечно вижу! Конечно, мой дорогой Плейшнер!

И вот мы уже летели над морем. Внизу белыми полосками стояли корабли на рейде...

Боже мой! Боже мой! Автобусы уехали, а мы остались здесь, на этом обрывистом берегу.

— Да нет же! — сказала Надежда Васильевна. — Вы прилетели сюда на шариках. Разве вы не помните? Вы и Плейшнер прилетели сюда со стороны моря. Я вас первая увидела. Снимите, пожалуйста, эти ваши идиотские колпачки с ваших носов.

Мы сняли колпачки...

— Нужно пробираться в город, — сказал кто-то.

— Нет, нет! — запротестовали мы с Плейшнером, — Только не сегодня! Сегодня там праздник! Там наша юморина! Сегодня туда нельзя!

Мы долго шли по обрывистому берегу. Ветер терзал наши одежды и унес в море шляпку Надежды Васильевны. Она хотела было схватить ее рукой, но не успела. Она оступилась и упала с обрыва вниз... Там, куда она упала, не было песка, там море било прямо в обрыв и шипело пеной. Мы посмотрели вниз, но Надежды Васильевны нигде не было... Не было ни чаек, ни рыб, в которые она могла бы превратиться. Ведь сумасшедшему человеку очень легко превратиться в птицу или рыбу, но таковых за обрывом не было. И мы решили, что она просто растаяла в воздухе. Потому что, когда она упала, то даже всплеска воды мы не услышали...

Иногда мы шли вдоль обрывов, а иногда там, где они становились совсем небольшими и даже совсем пологими, — мы спускались к морю и шли по песку.

В море можно было зайти и нарвать водорослей — они тоже были съедобны. И еще маленькие рачки облепляли наши босые ноги, и тогда мы их тоже ели. Мы шли уже несколько дней. Плейшнер каждый день пересчитывал всех, но два или три человека обычно куда-то пропадали...

Как хорошо бывало нам днем! Светило солнце, дул легкий ветерок, море что-то все время шептало. Оно было такое доброе к нам... А вот по ночам было прохладно. Мы обычно садились где-нибудь под кустами паслена и, прижавшись друг к другу, засыпали. Но некоторые из нас совсем не спали. Они ходили всю ночь по берегу моря и разговаривали с ним.

Какие удивительные рассветы видели мы! Солнце всходило из-за воды такое тихое, такое торжественное. Мы все в это время смотрели на него и не дышали. Это были такие счастливые минуты. Такие бесконечные, длинные минуты счастья...

Потом мы шли дальше...

...Под вечер, когда солнце уже клонилось к горизонту, чтобы уйти спать за степь, откуда-то стали слышны звуки автомобильных моторов, а потом прямо перед нами возникли четыре таких же черных сверкающих никелем машины — такие, какой была та, которую мы видели раньше. Машины остановились невдалеке от нас, оттуда вышли люди в черных кожаных куртках и в кожаных штанах. Я сразу же догадался, кто они. Это были люди Мюллера — эсэсовцы.

— Кто вы такие? — обратились они к нам по-немецки.

— Мы не знаем, кто мы, — ответил им также по-немецки Плейшнер.

— Ви есть партизан? — спросил кто-то из них по-русски.

— Нет, мы не есть партизаны. Мы просто идем в Одессу, — ответил им Плейшнер.

— Зачем вам туда? — снова прозвучал вопрос.

— Мы не знаем, — пожал плечами Плейшнер.

— У вас есть оружие? — крикнули сверху снова.

— Нет, мы безоружны, — ответил Плейшнер.

— Тогда мы будем вас немножечко убивать.

— Нет, нет! — закричал Плейшнер. — Мы просто идем в Одессу. Нас не надо убивать.

— Надо, старичок, надо, — лениво донеслось сверху.

И тут кто-то из них выстрелил. Мы все побежали к морю, к обрывам. Мимо меня просвистело несколько пуль. Стали падать убитые, а раненые все еще продолжали петь революционную песню... Мы бежали, а там, на обрыве, был слышен громкий смех и ржание лошадей. Дикие лошади ржали, сгрудившись на обрыве... Стало уже темно, а мы бежали все дальше и дальше, за нами уже никто не гнался, никто не преследовал нас...

Утром Плейшнер снова пересчитал всех и сказал, что не хватает двенадцати человек.

Кто-то сказал: "Апостолы ушли через море"...

И вдруг на обрыве снова появились черные машины и люди с оружием. Снова началась охота на нас. Мы бежали кто куда, кто вдоль берега, а некоторые побежали прямо в море. Впереди меня упал маленький худой человек. Я остановился и перевернул его на спину, и он улыбнулся. Но он улыбался не мне, потому что смотрел куда-то сквозь меня, и я догадался, что он улыбается своей близкой смерти. Он уже знал, что она забрет его прямо сейчас с этого берега под обрывом и унесет куда-то в другую неведомую страну, где ему будет хорошо. Он знал это и тихо затих... Я побежал дальше, но почему-то вдруг почувствовал, что меня сейчас не убьют. Мне даже стало смешно. "Почему я бегу? Ведь меня не убьют сейчас, — думал я. — И Плейшнера тоже не убьют". "Плейшнер, — сказал я ему на бегу, — не бойся, тебя не убьют". "Я знаю, — ответил он, — но мне все равно страшно". Наши преследователи охотились за нами целый день. Они то отпускали нас, и мы думали, что все уже кончилось, то снова появлялись на обрыве и стреляли. "Меня сейчас не убьют", — все равно думал я, но вдруг пуля черкнула меня сверху по голове, будто кто-то ударил по ней хлыстом. На какое-то мгновение я испугался, и уверенность моя поколебалась. Но это было недолго... Мы прятались за камни, залазили в расщелины обрыва, и наконец под вечер обрыв над нами стал высок,

как стена замка, и охотиться на нас оттуда стало не очень-то удобно. Когда стрелять перестали, и гул машин растаял в вечернем воздухе, Плейшнер снова пересчитал всех, и нас оказалось только двенадцать человек. "Апостолы перешли море, — сказал тот человек, который раньше говорил про апостолов, — и вышли на берег целы и невредимы". Да, мы были целы, но наши ноги были разбиты о камни. Очень хотелось пить, и тут... пошел дождь — холодный и недолгий... Одинокая тучка напоила нас, омыла и унеслась в даль...

"Теперь нас больше не будут убивать", — сказал Плейшнер. Мы прошли еще немного, обогнули скалистый выступ, и перед нами открылись огни далекого города... Ночью, когда мы лежали под кустами паслена, вдруг почему-то пошел снег... "Меня долго не убьют, — думал я, — потому что я люблю одного маленького беззащитного человека..." И я уснул. Утром снова взошло одинокое солнце. Оно было как лимон... Кисленькое...

Огни города по вечерам становились, все ближе и ближе... Море в этот день сделалось беспокойным. А берег стал очень каменистый, редкие пляжные островки попадались нам на пути, но они уходили назад, а мы все шли по камням. Когда уже почти стемнело, мы решили обойти еще один выступ и потом заночевать где-нибудь на пологом месте. Мы шли, шли, а пологое место все не появлялось. Море прижимало нас к берегу. Оно бурлило, пенилось, и волны тугие, твердые, как камни, стали бить в наши тела и сбивать нас с ног. Мы хотели повернуть назад, но прошли уже очень много. Нам негде было укрыться от этих волн. Над нами нависал обрыв метров десять в высоту, а внизу уже творилось что-то невообразимое. Море совсем потеряло разум. Оно стало захлестывать нас большими накатами. Мы взялись за руки и крепко держались друг друга. Здесь я и потерял свою тетрадь. Вода вырвала у меня ее из-за пазухи и унесла куда-то. Вдруг позади нас обвалился кусок берега — он с грохотом и шипеньем сполз в море, и оно стало топтать и месить его. Мы повернули назад и вскарабкались по этому рухнувшему берегу. Вода уже не доставала нас. Потом там, где мы были недавно, тоже рухнул берег. Этот не сполз, а именно рухнул, потому что он нависал над морем, как покосившаяся стена. "Вот и все, — сказал один из нас, — мы обманули нашу смерть". "Надолго ли?" — сказал Плейшнер. Там, где мы находились, была небольшая площадка и куст паслена. Мы окружили этот куст, вцепились в его ветки и жались друг к другу, чтобы согреться. Потом кто-то запел революционную песню, и тут вдруг налетел такой порыв ветра, что мы еле удержались на земле и не улетели куда-то. Такого ветра я не встречал в своей жизни. Нам всем, пока он рвал на

куски наш куст, стало страшно и одиноко. Море при свете то исчезающей, то появляющейся луны сделалось стального цвета. И ветер тоже был стальной. Он резал все своими стальными ножами. Он хотел с корнем вырвать наш куст, но мы вцепились в него и не давали ветру убить его. Потом мы стали петь революционные песни...

Так длилось всю ночь и почти весь следующий день. Ветер хорошо подсушил нас. А потом он пропал куда-то. Мы сидели на своем пятачке и не знали, что же нам делать. Внизу было все еще бушующее море, а вверх тянулся обрыв еще метров пять-шесть, наверное. И тогда мы сломали наш куст и стали его ветками ковырять в обрыве ступени, чтобы по ним выбраться вверх. Мы ковыряли этот обрыв, как сумасшедшие, без всякой системы, и у нас ничего не получалось. Тогда мы решили все-таки спуститься к воде и постараться пройти через рухнувший берег, но и это оказалось невозможным. Спасения в воде тоже не было, волны сбивали нас с ног. Кое-как мы снова забрались на нашу площадку и уже сидели там смирно, ничего не предпринимая.

Господи! Какой я был глупый. Раньше, когда у меня была тетрадка, то я записывал туда всю жизнь Плейшнера и всякую чепуху. А теперь я сделал открытие. Ведь можно же все записывать в уме. У меня ведь очень хорошая память. Я мысленно открыл новую чистую тетрадь и мысленно написал в ней первое слово; и это слово было... курочка. "Господи, как хорошо, что я могу писать вот так, просто, без всяких инструментов, без ручки и тетради... Нужно только стараться не выпускать эту новую тетрадь из своего воображения, а писать (о, как это смешно) можно даже собственным пальцем"...

...Тот, кто решает покончить жизнь самоубийством, поступает, по моему, очень глупо. Потому что наша жизнь — это кино. Каждый смотрит свое собственное кино, и в один из моментов ему кажется, что плохая часть фильма слишком затянулась, и он выходит из темного кинозала. Но Великий Режиссер предусмотрел в этот момент такой поворот сюжета, что поддержишь наш уходящий зритель в темном кинозале еще немного, и тот поворот оказался бы пусть не хеппи эндом, но чем-то иным, чем-то переломным в так называемой "судьбе человека". Мне, конечно же, ближе фильм "17 мгновений весны", чем какой-либо другой. Этот фильм резко отличается от всех других фильмов своей таинственностью, своим пафосом, своей нежной иронией и самоиронией. Да, в этом фильме есть сцена, где я ем печеную картошку и пью русскую водку втихаря, так, чтобы ни одна фашистская морда не заподозрила меня в моем предназначении.

Что нужно, чтобы чувствовать себя хорошо в любой компании? Выдержка! Нужно контролировать ситуацию и себя в ней. Через несколько дней после того как мы расстались с Плейшнером на Привозе, пошел слух, что в Одессе будут отмечать Октябрьские праздники. Что еще не все потеряно из нашего прошлого. И хотя нам, советским шпионам, не положено появляться на людных местах, я, пожалуй, на этот раз изменю этим правилам. Нет, недаром я привел в порядок свою форму. Недаром я выдраил сапоги до зеркального блеска...

Конец первой части

Часть вторая

Моя фамилия Нуйкин. К вышеизложенному тексту я не имею никакого отношения. Но вынужден вмешаться. Эти старые козлы — так называемый Штирлиц и Плейшнер — своим мерзким и неприличным поведением не дают нормально жить мне и моей жене Нуйкиной Раисе Ивановне (в девичестве Чмых). Вот уже год, как эти шалопаи вошли в ее бизнес и теперь, прибрав к рукам шесть мусорных баков, вытеснили мою жену из вышеизложенного бизнеса. Ну да хрен с ними, с этими, так сказать, горешпионами. Моя жена — женщина добропорядочная, мать двух с половиной детей (за половину мы считаем нашу собачку Тяпу, которая на правах полноценного члена семьи сидит с нами за столом, ест борщ, пьет водку и кашляет). Но дело не в этом. А в том, что, втесавшись в бизнес, вышеизложенные господа-товарищи, не стесняясь общественности, нагло похитили рукопись неизвестного писателя, которую первой в мусорном баке № 3, стоящем возле аптеки, нашла моя жена Нуйкина Раиса Ивановна. Взявши у нее эту рукопись якобы для того, чтоб сдать в приемный пункт как мукулатуру, они на досуге вчитались в нее и решили в приемный пункт не сдавать, а издать ее под своими пошлыми именами как книгу мирового значения. Но дело в том, что эту рукопись написал не неизвестный писатель, как было сказано выше, а, извиняюсь за выражение, я лично. Но как-то в пылу гнева на всех и вся не сжег ее, как положено, а выбросил в вышеозначенное место.

Теперь же, когда дело приняло серьезный оборот, я как писатель Нуйкин хочу восстановить нахлынувшую на нас на всех справедливость и предъявить свои права в означенном деле. Скажу сразу, что в прошлую субботу, когда эти два балбеса спали, я справедливо выкрал у них свою

рукопись и сел за ее тщательную переработку. Но моя жена Рая (в девичестве Чмых), чтобы усугубить ответственность и опечалить меня, подкравшись сзади, ударила меня по внешнему контуру головы твердым предметом, и когда я отключился умом своим от происходящей действительности, выкрала вышеозначенную рукопись и скрылась вместе с нею неизвестно куда, разнося микробы и плесень всей своей внешностью. Прошу правительство Украины оказать мне содействие в поисках жены и рукописи под название "Любовь и гвозди". Иначе произойдет что-то непоправимое. Я такой человек, что если меня вовремя не свяжут, то могу натворить много страшных дел вплоть до самообороны. Это не угроза, а просто объективная реальность всего вышесказанного.

Моя фамилия простая — Сарайкин. Я также не имею никакого отношения к приведенному здесь тексту, хотя на стр. 38 моя фамилия, кажется, употреблялась, хотя, может быть, просто слово — сарай или же что-то подобное. Но это к делу не имеет никакого отношения.

Моя фамилия Подзаец. Я инвалид. Но я люблю крепко выпить, а потом танцевать. Еще я сильно люблю девочек. Девочки — это моя страсть. Каждую из них я так бы крепко обработал, что наблюдающему со стороны мою похоть сделалось бы не по себе. К вышеизложенному тексту я также не имею никакого отношения. Просто захотелось хоть как-то заявить о себе, о своей нелегкой судьбе. А вот где я потерял сначала шестнадцать гривен, потом четырнадцать, потом восемнадцать, потом семь и так далее — этого я вам не скажу. Это не ваше собачье дело.

Моя фамилия Свистунов. Это старая дворянская фамилия. Свистуновы когда-то имели обширные поместья. Ели рябчиков с ананасами, пороли крепостных и жили, скажу я вам, не бедно. Сейчас крепостных у меня нет. Есть жена и дочка, я их воспитываю в строгой руке и взгляде. Боятся они меня. Уважают. Я что хочу, то с ними и делаю. Ну а как же иначе? Пусть знают, с кем их свела судьба. Со мной! Я гордость нашего дворянского сословия. При советской власти, конечно же, приходилось всеми силами скрывать свое происхождение. Теперь можно. Жаль, конечно, что документов, подтверждающих мое происхождение, у меня нет. Их пришлось уничтожить в свое время, но сейчас я требую восстановить мои документы. С этим требованием я обращаюсь к вам, господа Штирлиц и Плейшнер. Прошу вашего содействия в создавшемся положении.

Во время войны я не выдал немцам ни одного нашего коммуниста, ни одного еврея и ни одного партизана. Хотя мог бы. Прошу учесть этот мой гражданский поступок и содействовать. Даже споспешествовать, как говорили когда-то мы — дворяне.

Моя фамилия Иванов. Вы слышали такую фамилию? Нет? Это очень печальная фамилия. У нас три таких печальных фамилии: Иванов, Петров, Сидоров и Рабинович. Бывало, вот так все втроем сядем играть в карты — Рабинович сдает, а я уже Петрову подаю знак, мол, у меня туз червей. Глядишь — и выиграешь какую-то мелочишку. Мы по-крупному никогда не играли. Так, по копейке, не более. Но к старости лет я скопил несколько бутылок, заполненных копейками. Советскими, правда. Их у меня восемь бутылок, а украинских копеек всего только одна. Целую всех в жопу. Ваш Иванов.

Моя фамилия Овсянкин. Лошадиная, так сказать. И то правда — я очень люблю лошадей. Хорошая раньше была колбаса — так и называлась, "Конская". Теперь что-то такой не делают. То ли кони перевелись, то ли нас, гурманов, меньше стало. К вышеизложенному тексту Иванова, Петрова и Сидорова я никакого отношения не имею. Заявляю это во всеуслышанье. Я никогда не играл с ними в карты, а с Рабиновичем я всего один раз выпил водки и больше не пью. Он сказал, что пить со мной — брезгует. Но почему брезгует, этого он мне не сказал. Неужели потому, что я не всегда тщательно слежу за своим взглядом? Он у меня тяжел. Зато ноги у меня, как новые, никогда не воняют. Это большая редкость среди нас, блондинов. А то бывает так, что навоняют полный трамвай, а я должен ехать и нюхать. Надо в трамваях вешать специальные объявления: "Граждане независимой Одессы, просьба сдерживать ваш пыл в общественном месте". Под таким объявлением я бы подписался всей душой своей пылкой и порывистой.

Моя фамилия Подзаец, но я женского рода. Раиса Андреевна. О себе мне нечего сказать. Я человек незаметный. Не то, что эти шпионы. Развелось их — прямо шагу негде ступить. Теперь и пенсии получают солидные, и дачи у них с заборами, и всякие привилегии. Но ничего. Придет еще наше время. Будем резать шпионов и предателей нашей родины. Когда придет наше время, я первая возьму в руки кухонный нож и выйду на улицу. И все мы выйдем с ножами, за наше будущее. А сейчас я никто. Так

себе, служу на почте и многое вижу. Дома у меня все ножи наточены. Слава одесской юморе!

Моя фамилия Подопрыгора. Понятно. Ну, так вот. Долго базарить не буду. Вот мой кулак. В этом кулаке я сжимаю что? Правильно — концентрацию власти и силу. Служу в милиции. Штирлица в обиду не дам. Он наш человек. Плейшнера повесил бы за яйца на фонарном столбе. Он предал родину. Переметнулся к этим блядам и теперь думает, что мы его не достанем. Вот этим вот кулаком я стукну его по голове сверху — и все! Люди, стремитесь к справедливости! Берите пример с нас, с милиции. Нас не надо бояться. Доверьтесь нам. Мы ваша защита. Последнюю рубашку отдам, если вдруг увижу раздетого. Последним куском заткну пасть голодному. Сексуально озабоченного лично направлю к проститутке. Интеллигенту дам книгу. Школьнику букварь. Слесарю — слесарный инструмент. А двоечника выпорю ремнем по голой жопе. По-братски всех обнимаю. Люблю. Нет слов. Просто нет слов, чтобы выразить все мои чувства человеческими словами. Поэтому просто благодарю всех вас и желаю счастья.

Моя фамилия Пивные-Дрожжи. Шесть лет я уже сижу в дурдоме. Меня здесь лечат. Внушают мне, что моя фамилия Плейшнер. Но я ведь точно знаю, что Пивные-Дрожжи. Так у меня и в паспорте написано, и во всех других справках. И даже на этикетках. На коробочках и на баночках. Я никогда не был Плейшнером. Это чушь какая-то. У них все здесь Плейшнеры и Штирлицы. Так они и меня хотят подогнать под эту гадость. Нет! Нет! Нет!

Я творческая личность. Я художник. Маститый! Я гордость нашей живописи. Я никогда не писал картин человеческим калом, как того они от меня здесь требуют. Только всего один раз я написал и предоставил на выставку портрет лидера всей нашей эпохи этим раствором, и они тут же посадили меня на излечение. Но живопись превыше всего!

Творческий спад был у меня подряд несколько дней. Теперь все в прошлом. Да, я забыл сказать — моя фамилия Негодяйкин. Из этих букв можно составить слово зов, воз и слово выхухоль. Всем привет.

Если бы моя фамилия была Балалайкин, то я бы удавил того, кто дал мне такую фамилию.

Моя фамилия Жетон.

Моя фамилия Чтож. Пишется без вопросительного знака в конце. Я мужчина традиционной женской ориентации, не то, что эти пидарасы Штирлиц и Плейшнер. Но что ж (здесь "что ж" — это не моя фамилия) поделаешь, если развелось их сейчас столько, что спасу нет. В любой подъезд зайдешь, а они уже там стоят, тискают друг друга — гомики! Пидарасы чертовы. Это же такая мерзость! Я всего только один раз попробовал — и теперь только плююсь и каюсь. Нет, я не пидарас. Я простой человек. А к этим пидарасам больше и на пушечный выстрел не пойду. Куда приятнее, скажу я вам, иметь дело с порядочной женщиной. С чаепитием, с разговором неторопливым, со свежими бубликами, с чистой кроватью. А не в подъезде раком, и чтоб тебя дрючил какой-то пидарюга поганый! Нет! Больше ни за какие деньги! Ни за какие гривны и даже доллары. И даже за 100 долларов я больше никогда не стану в позу идиота. Пусть другие идиоты становятся в эти позы. Теперь даже баночку с вазелином я решил выбросить раз и навсегда. Вот смотрите — беру эту баночку, подхожу к форточке и... почему-то рука не хочет ее выбросить. Что такое? Не хочет — и все! Ну и рука же у меня... С приветом, ваш Чтож.

Когда членоложеством занимается наша элита, т. е. профессура, видные актеры, люди шоу-бизнеса — это еще простительно. Но когда в это тонкое дело лезут всякие токаря, сантехники и прочие дворники, то это просто гадость.

Моя фамилия Найденов. Я адвокат. Членоложеством я занимаюсь уже 40 лет и не нахожу в этом ничего предосудительного. Да, я был в близких сношениях со Штирлицем и Плейшнером. Штирлиц мне понравился больше. Он более деликатный, более тонкий человек. У него отличный вкус. Это человек — из той еще закваски нашей интеллигенции, которая вершила культуру и на ее вершине создавала такие произведения, как "Любовь и гвозди" (роман), "Любовь и серп" (повесть), рассказы "Согнутый гвоздь", "С любовью не шутят" и прочее. На этих произведениях выросло не одно наше поколение. Слово "поколение" надо читать правильно, без всяких там эротических для себя воображений. Да, встречаются некоторые экземпляры, у которых это самое "поколение" может кого-то привести в ужас. Но только не меня. Я люблю наше поколение и в том, и в ином смысле.

Будьте здоровы, дорогие мои.

Моя фамилия Дача. От лица нашего правительства и от лица всех умных людей нашего государства я хочу сказать следующее: "Бойтесь данайцев, дары приносящих!". Т. е. ничего ни у кого не берите просто так. Даже если к вам на улице подойдет незнакомый человек и протянет вам 6 рублей и 30 копеек — не берите! Я однажды взяла. И ничего хорошего из этого не вышло. Только одно плохое. Не доходя до магазина, спотыкнулась и подвернула ногу, да так, что в стопе что-то хрустнуло, и две недели я вообще ходить не могла. Вот и все, что я хотела сказать. Ваша Дача.

Моя фамилия Раздача, Елизавета Иосифовна. Я внебрачная дочь... (да вы и сами уже догадались, кого). Да. Этого человека. Прошу прощения — а вы когда-нибудь видели фотографию моего лица рядом с портретом известного вам человека? Одна копия — говорю я это вам без улыбки и лени. Ленин здесь ни при чем. Были люди и повыше Ленина. Мы, т. е. моя мать работала в то время уборщицей в Кремле. В чине капитана. А как же! Это вам не просто по улице метлой махать. Она убирала кабинеты видных людей. Таких видных, что одно имя их приводило в трепет Гитлера и всю его свору. Ну а потом появилась я, и маму уволили с работы. Сначала хотели расстрелять, а потом передумали. Набили ей карманы деньгами и отправили в Сибирь на перевоспитание. Там я и родилась. Вот. Пошли вы все в жопу.

Моя фамилия Калашников. Нет, я не изобретал никаких автоматов, никакого огнестрельного оружия. Моя профессия мирная — я травлю крыс, мышей, тараканов, клопов. По заказу вылавливаю на вашей собачке или кошечке блох. Если у вас есть вши, я берусь их ликвидировать. Мой адрес: Москва, Кремль, Калашников. Меня там все знают. А если кто постесняется спросить, то я часто бываю в Киеве наездом. Останавливаюсь прямо в Верховной Раде. Но здесь я уже прохожу по фамилии Калашниченко МIRON Саввович. Прошу любить и жаловать. Господ Штирлица и Плейшнера именно я избавил от застарелого педикулеза. Особенно мне долго пришлось повозиться с Плейшнером. В его тело въелись насекомые редкой, так называемой стальной породы, крепкие на раздавливание ногтями и стойкие ко многим препаратам специального назначения. Еще раз повторяю — педикулез это совсем не то, что вы подумали в эротическом смысле этого слова. Это относится только к вошам. Вы поняли меня? Да, конечно же, бывает так, что и педики страдают педикулезом, но это уже совершенно другая форма разговора. Другая форма оплаты и чистоты

нравов. Другая ориентация. А вошка — это очень интересное животное. От затхлости помещения она может появиться на теле сама по себе, без всякого внешнего воздействия. Просто вылезет из-под кожи, и вот вам — здарсьте! Приехали. Начинает кусаться. У человека начинает свербеть. Нет, керосин здесь не поможет. Тут нужен специалист моего образа жизни. И я наложением рук на вошку избавляю ее от вашего присутствия. Желаю здравствовать.

Сколько развелось у нас этих специалистов, сколько всяких сил таинственных они понапускали вокруг! Один воду заряжает, другой пьет эту воду, и у него ноги подкашиваются. Я тоже сразу же, как только вышел этот закон про курей, тут же схватил топор и пошел во двор курей рубать. Перерубил всех, а потом, весь в куриной крови, стал по двору бегать, как петух кукарекать и соседей пугать. Потому что это село. Да, правда, было дело. Прибегает тогда мой младшенький и кричит: "Папа, там за обрывом народ на оползне сидит и вылезти не может, и море бушует, и они в море не могут сунуться".

Бывают такие тексты, которые завораживают читателя своей нудностью, скукой и пошлостью. Но читатель уже ничего не может с собой поделаться. Он читает дальше. С отвращением, но читает. Он просто сделался рабом своего любопытства. Ему интересно сквозь эту тяготию узнать, а что же будет дальше? А дальше продолжается все то же, и конца-края не видно бесконечной серости и тупости автора и его повествования. Так что же нам остается делать? Ничего. Читать дальше. Иного выхода у нас нет. К тому же, Плейшнер должен вот-вот разделаться с авторитетом в законе. А куда мы дели Штирлица во всей этой катавасии? Я уже забыл. Не то в зоопарке оставили, не то в бункере Гитлера забыли. Уважаемый читатель, подскажи ты мне, автору, куда мы дели Штирлица? Не то я начну описывать все сначала до полной победы коммунизма.

Моя фамилия Шлакоблочный.

А моя фамилия... (Никто не угадает какая!) Моя фамилия Клоб. Прошу не путать с известным домашним животным. Мы, Клобы, расплодились по нашей земле, еще начиная с Петровских времен, а затем при Екатерине II двинулись дальше и дошли до самого Херсона. А из Херсона уже перебрались в Одессу на ПМЖ. Клобы — это вам не Чумаки какие-нибудь, не Кашпировские. У нас дар! Если кто о нас что-то не так думает — мы тут

же вычисляем и записываем. Вот так-то. Со Штирлицем я встретился в банке, где он менял найденные им под забором в очень плохом внешнем виде пять американских долларов. Больше я его не видел. И нечего приставать ко мне! Не видел я его! Никого я больше не видел! Отстаньте! Пошли в жопу все! Сколько раз можно повторять, что не видел я его больше. А вот немцев трогать не надо. Они все там спят в штанах и шляпах.

С приветом, уставший от вас всех, Клоб.

Вон, смотрите! Смотрите — сороконожка побежала. Моя фамилия Одеядьцев. Наверное, из-за нее, из-за этой фамилии я люблю баиньки. Спаточки. Где бы то ни было. Спокойной вам всем ночи. Не держите мочу в мочевом пузыре. Выпустите ее перед сном в унитазик. Ложась баиньки, не забудьте везде выключить свет. И пусть вам как умному человеку приснится, что вы после смерти попали в рай. В раю всегда лето. Поют птички. На деревьях висят фрукты. Все можно кушать, и яблоки тоже. Тихо играет невидимая музыка. Много света. На всех легкие льняные одежды. Никакой синтетики. Все ходят, прогуливаются. По дорожкам и аллеям парка. Вот пошел Пушкин вместе с Тарасом Григорьевичем Шевченко. Шевченко его мягко укоряет:

- Не любил ты, Саша, Украину...
- Любил, любил, но женщин больше!

Примерно в таком же тихом задушевном разговоре проводят свое время и другие обитатели рая. Всем им очень хорошо...

Баиньки, мои дорогие. Баиньки. Моя фамилия — Одеядьцев. Запомните мою фамилию. Пусть она всегда будет с вами. Пронесите ее через всю свою жизнь. И пусть жизнь ваша будет как сон. Пусть все хорошее будет реальным, а все плохое уплывающим в даль.

Честно вам говорю — моя фамилия Фамильярный. Честно вам говорю еще раз, что писать надо умеючи. Содержание написанного не важно. Важно то, как это написано. Писать надо аккуратно, строго соблюдая размер букв, расстояние между строчками и т. д. Честно вам говорю, что от хорошего почерка и правильного размещения текста на бумаге зависит многое. Честно вам говорю, что лучше один раз написать красиво, чем потом сто раз переписывать. Поскольку моя фамилия выглядит нахально, то я вынужден приспосабливаться к своей фамилии. Хочется сказать честно, что я человек скромного поведения в быту, но на улице крайне агрессивен. Честно вам говорю, что все будет хорошо.

Я как человек робкий, то сильно боюсь собак. Обхожу их на улице или в квартире, если они там присутствуют. А кошек я не боюсь. Меня еще ни одна кошка никогда не укусила. А собаки кусали. За ногу. За ботинки. За плащ. За сумку с куриными потрохами, когда я шел с базара в прошлую пятницу. У собак очень крепкие зубы. Я когда-то учился на стоматолога и знаю это до слез. Еще они бывают бешеные. Особенно весной и осенью, когда они сбиваются в крупные стаи и путем открытого секса делают щеночков. Щеночков я люблю. Они не кусаются. Моя фамилия по матушке — Сердобольный, а по отцу Ворона. Мне очень хотелось, когда я получал паспорт, взять дедушкину фамилию. А она у него вот такая: Окраец. Но без взятки зачислить меня на эту фамилию не пожелали и дали мне фамилию папы.

Это снова я — Фамильярный. Честно вам говорю, что я против Штирлица и Плейшнера ничего не имею. Пусть они живут как хотят. Пусть едят котят. Это их дело вкуса. Но почерк у них отвратительный — и у того, и у другого. Собаки, позаканчивали разведшколы, а почерк — как куриной лапой пишут. Вот, например, пишет Штирлиц. Посмотрите, разве можно что-то разобрать? Будь я графологом, я бы сказал, что, судя по почерку, Штирлиц — форменная зараза.

Моя фамилия Штирлиц. Часто в момент совокупления с женщиной я почему-то ловлю себя на мысли, что я занимаюсь чем-то второстепенным. Особенно, когда наши тела отражаются в зеркале. Порой мне становится смешно, глядя на это отражение, и я начинаю чувствовать себя глупо, пошло и безнравственно. Вот сейчас пойдут эти горестно-сладострастные судороги... зачем они мне? Я старый человек, мне хочется умных разговоров, игры ума, каких-то экзальтированных движений души... и вдруг эти судороги. При этом кричишь, как дурак. И она кричит. А с чего кричать? Смешно все это... Страсть ушла... Остался тупой бесстрастный секс, как какая-то идиотская работа... Грустно все это. Но другого ничего нет. Приходится терзать другое тело, не чувствуя в том смысла. Раньше в моем теле жила страсть, и картина, конечно же, была иная. А сейчас слово *была* почему-то не делает меня печальным. Да, так предписывалось Адольфом Гитлером. Мы все выполняли свой долг.

Это снова я, Фамильярный. Я вам еще не надоел? Нет? Ну, вот и хорошо. Я буквально скажу два слова и тут же уйду в тень. Честно вам гово-

рю. Мои слова такие: Штирлиц не прав. Он просто не может уже по старости лет своих отдаться сексу, как музыке. Лично я наслаждаюсь от каждого сантиметра тела женщины. От каждого прикосновения ко всему хорошему, Ч. С. Г. (вы догадались, что это значит). Правильно. Я всегда блюду обоюдоострые ощущения. Еще К. Марс сказал, что жизнь нам дана в ощущениях.

Снова осень. В парке, в сером его воздухе медленно скользят, слетая с веток, одинокие сирые листья. Их так жалко. Черная ворона, как кусок угля сидит на голой ветке и уныло каркает. А вот идет дама с синим зонтиком. Он так резко выделяется на фоне одиноких листьев. Их уже так много на земле, и все они одиноки. Каждый превращается в прах со своими глупыми мыслями... Синий зонтик проплыл по аллее и скрылся в затуманенном пространстве. Одинокий эксгибиционист затаился за темным стволом конского каштана. Он так старательно показывал предмет своей гордости даме с синим зонтиком, но та проплыла перед ним, как прекрасная рыбка в аквариуме, и скрылась. Эксгибиционист спрятал свой озябший инструмент и зябко поежился. Нет, не везет ему сегодня. Разве показать его этой пробегающей мимо собаке? Нет, рискованно. Еще возьмет и укусит. "Пойду в сторону базара, — подумал уныло эксгибиционист, — может быть, там из-под полы как-то. Но там меня уже многие знают. Прощлый раз побили сильно. Ребра болят. Но я же не мазохист. Я совсем другое. У меня свой бздык. Нет, пожалуй, постою еще здесь..."

Листья описывают в воздухе разнообразные балетные пируэты. Они скользят то плавно, то, вдруг встрепенувшись, меняют направление, кувыркаются в густом сером воздухе, пропитанном липкой водою. Но запах осеннего парка ни с чем не сравнимый. Так пахнет светлая печаль об ушедшем детстве. Которого, уже кажется, и не было...

Ежась на парковой скамье, лежит старый Плейшнер. Он смотрит на опадающие листья, и ему почему-то до слез жалко себя — маленького. Не взрослого, нет, а маленького, идущего по аллее парка, держась за теплую руку мамы. Он все забыл уже, кроме ощущения этой теплой ру...

...Я вытолкнул этого словоблуда из нашего повествования. Моя фамилия Филимонов. Я вытолкал этого прохиндея. Пошел он в анус. Я академик. В академии наук я занимаю видное место. В филологическом плане. "Секс и только?" — эта тема волнует не только меня. Весь советский народ, когда шел вышеозаглавленный фильм, задавал себе этот вопрос. И не нахо-

дил ответа. Да, здесь есть над чем поразмыслить. Так что, я надеюсь, мы поразмыслим вместе с вами, но сейчас меня кто-то выталкивает, кто-то выта...

...Я те дам, сука! Я Фамильярный. Честно вам говорю — все документы, касающиеся Штирлицевой близости с женским полом, я храню у себя. В тайном месте. Нет! Еще не время ковыряться в грязном белье нашего героя. В морду дам тому, кто по...

...Хамло! Лезет, куда его не про...

...Сука! Сучара филологическая!

Серая, как осенний воздух, слеза выкатилась из глаза и потекла, коснувшись свежей раны на скуле. Рана запекла, впитывая в себя соль слезы. "Приятно печет", — подумал Плейшнер и стал плакать, уже не сдерживая своих слез... Замерзший эксгибиционист подошел к нему:

— Старик, ты чего?

— Да так. Это я так просто...

— Это у тебя от осени... Ты от осени подальше держись...

Конец второй части

...Прошло сто лет.

...Следующая часть. Третья или четвертая? Я не помню, какая. Кажется, все-таки четвертая. Ну и хрен с ней. Какая разница? Да, случился перерыв в нашем писательском творчестве, ну и хрен с ним, с этим перерывом. Даже хорошо, что он случился. Как давно я не брал в руки авторучку и начисто забыл все, что пришлось насочинять ранее. Кажется, была полная фигня. Герои — какой-то Штирлиц-идиот, идиот-Плейшнер. К чему все это? Вспоминать стыдно...

Пробуждается совесть от всех этих воспоминаний, и делается нехорошо на душе. Написал всякую фигню, как эти два идиота на воздушном шарике летали. Тоже мне, — новшество. Сейчас в нашей новомодной литературе на чем только не летают. На всяких предметах и без них — просто так, сами по себе, летают все, кому не лень: и главные герои, и не главные, и сами авторы, и их жены, и их любовницы. Какая гадость все эти полеты!

Нет, в этой части мы Штирлица и Плейшнера взашей изгоним из наших страниц, чтобы и духу их близко не было. Наберем новых героев, мас-

совку — заменим все начисто. Все интерьеры, пейзажи, все натюрморты... Но тут в комнату вошел Штирлиц.

— Попрошу вас выйти вон! — сказал я строго и нахмурил брови.

— Разрешите доложить! — начал бодрым голосом Штирлиц, но я поднялся из-за своего писательского стола и вышвырнул его вон, за дверь.

— Пошел вон, дурак! И чтоб ноги твоей больше здесь не было! — крикнул я вдогон этому идиоту...

Да, уважаемый читатель, вот так порой приходится поступать нам, писателям, со своими не в меру раздувшимися героями. Вон — и точка!

Пришла пора брать свою судьбу в руки. Задуматься о будущем. Пофилософствовать в меру, развить кое-какие свои мысли, а не идти на поводу у каких-то идиотов. У них свой мир, а у нас пусть будет свой, более возвышенный мир, более духовный. Нужно стремиться к духовности как в быту, так и в литературе. Не показывать в ней каких-то придурков, а наоборот, стремиться отразить во всей его наготе человека красивого, умного, с богатым жизненным опытом, человека не со скудной биографией, а со сложной, красивой, значительной. С такой, чтобы читатель, войдя целиком и полностью в подоплеку романа, мог вздрогнуть, оглянуться на свою прожитую жизнь и плюнуть себе в лицо, стоя против ветра в чистом поле. Вот такую судьбу, такую биографию мы возьмем на наши страницы...

Но тут вошел, кто бы вы думали? Правильно! — Плейшнер.

— Попрошу выйти, — сказал я, строго сдвинув брови до полного неузнавания лица.

— Я только хочу спросить, — пропищал Плейшнер жидким, как разбавленная сметана, голосом, и мне стало его жалко.

— Ну?..

— Баранки гну! — вдруг выкрикнул Плейшнер и выскочил за дверь, показав мне фигу.

"Вот сволочь", — подумал я про себя и утратил мысль своего нового повествования... Перечитывать все то, что я написал выше, я не стал (я никогда не перечитываю свою писанину), а просто решил, вытянув ноги, посидеть у камина со стаканчиком хереса в руке урожая 1945 года. Вспомнилась почему-то одна женщина, которая...

Одну минуту: в дверь кто-то скребется. Если это Плейшнер, то я сейчас покажу ему, с кем он имеет дело.

Но это оказался Штирлиц. Я открыл дверь и, сурово насупив брови, спросил:

— Скажите мне, Штирлиц, куда впадает Волга?

— В Каспийское море! — бодро ответил он и стал было уже снимать свой китель, чтобы повесить его на спинку стула — так, как он делал это всегда в прежней нашей с ним жизни.

— Попрошу прекратить, — сказал я строго.

— О чем это вы, мой фюрер? — озадаченно взглянув на меня, спросил мой гость.

— Во-первых, я вам не фюрер, а во-вторых, вы нахальный клоп. Я только что выставил вас за дверь, а вы теперь вешаете свой китель в этом помещении.

— Но позвольте! — стал вдруг в позу Штирлиц, — Попрошу соблюдать культуру вашей прямой речи, мой фюрер! Я вам не какой-нибудь клоп самородный! Я есть фигура вашего произведения и попрошу воздерживаться от подобного тона!

Штирлиц топнул ногой и пошел на меня грудью. Я, признаться, слегка струхнул, но, чтобы не уронить свою честь, вооружился цинизмом.

— На кого прешь, сволочь?! — спросил я ядовито и посмотрел Штирлицу ровно в переносицу.

— Меня взглядом не возьмешь! — так же ядовито ответил Штирлиц и уперся своим взглядом в мою переносицу.

Я уловил сильное давление его взгляда и стал было уже отклоняться назад, но тут в комнату влетел Плейшнер с поллитровкой.

— Фу! — выдохнул он. — Еле достал! Перед самым закрытием успел проскочить в дверь — и вот.

Он поставил поллитровку на мой письменный стол с властным стуком донышка об столешницу и вдруг, как старая шлюшка запричитал:

— Ну что вы стоите, давайте стаканы, сволочи, стаканы прошу я у вас! Ну что ты смотришь, вытупок?! — это он сказал уже прямо мне. — Стаканы давай!!

— Позвольте! Кто здесь писатель, а кто герои подзаборные? — возвысил я свой голос.

— Ты что, не понял еще?! Я здесь писатель, — рявкнул Плейшнер и пошел на меня грудью, выставив вперед два пальца правой руки, как бы для выкалывания глаз.

— Что это за фигня? — обратился я к Штирлицу, ища в нем поддержки всем своим писательским видом.

— Стаканы давай, жлоб. Сказано же тебе, чтоб без всяких хамских выражений стаканы дал, фюрер ты мой помойный! — произнес Штирлиц.

Я пошел за стаканами, в недоумении пожимая плечами. Когда вернулся, то тут же, прямо в лоб спросил Плейшнера:

— Так это вы, выходит, писатели тут? А кто же тогда я?
— А ты поц! — сказал Плейшнер и стал разливать водку.
Разлив ее, он сунул мне мой стакан и как-то ядовито сказал:
— Пей, шуток не понимаешь, поц.

Я выпил. На душе стало легче. В голове прояснилось. Плейшнер и Штирлиц куда-то исчезли, хотя полная нетронутая поллитровка так же стояла на столе, как часовой на посту. Эту поллитровку подарил мне в 1945 году сам Сталин. С тех пор она стоит на моем писательском столе нетронутой.

Странно все это. Почему порой хочется вот так вот взять и раскрепоститься, ни о чем не думая, довериться своей писательской руке, ее свойству — писать? Голова порой пухнет, но разве не так же писали Толстой, Гоголь, Тургенев, Штирлиц и Плейшнер, Дюймовочка, Брежнев, в конце концов? Ведь это он, делая очередную запись в своем дневнике, писал: "Утром хорошо помыл голову, расчесался. Затем ко мне зашел Подгорный. Сыграли в дурачка. Я выиграл. Решили половой вопрос сессии поллитбюро".

Конец энной части



Стучащий

Денис Иванов отсутствовал дома более шести месяцев. Когда его молодая красавица жена увидела мужа, спускающегося с корабля, она побежала к нему и, повиснув на его загорелой шее, загрозила движение по трапу. В этот момент, когда его уставшие товарищи выстроились в очередь за ним, ему показалось, что прошло столько же, если не больше — хорошо, что они отнеслись с пониманием, и он не услышал и слова упрёка, только доброжелательные шуточки.

Еще не так давно он считал свою любовь к Марине безнадежной, а сейчас у них была четырехлетняя дочь, мячиком прыгающая около ног.

Нежно заглядывая в глаза жены, он не мог не заметить в них плохо сокрытый страх, который обморочной бледностью оттенял тонкие черты ее лица. На его вопрос о самочувствии она ответила, что все хорошо, и продолжила его целовать, но он не сомневался, что она что-то скрывает, и по дороге домой утвердился в этой мысли. В его голове роилось множество самых разных предположений, но ни одно из них, как оказалось потом, не было даже близко похоже на реальность.

Незадолго до того как он ушел в море, они приобрели недорогую квартиру в одном из спальных районов города. Уезжая, он оставил жене деньги на ремонт и новую мебель и оказался приятно удивлен, увидев вместо купленных по дешевке голых стен дышащую теплом и уютом квартиру.

Вместе с тем, осваиваясь в ней, он заметил, что вид у нее не жилой. Еда в холодильнике была упакованной или только открытой, мусорное ведро было чистым, в ванной не оказалось многих туалетных принадлежностей, необходимых в повседневной жизни. Он обратил на это внимание жены, и она ответила, что предпочитала ночевать у своих родителей; ее работа в аспирантуре занимала много времени, и она не могла совмещать ее с болеющим ребенком и ведением домашнего хозяйства.

Денис не придавал этому большого значения, соскучившийся по жене, он думал совсем о другом, и первая в новой квартире ночь пролетела для него незаметно, как сон.

Следующие несколько дней ничем не отличались от первого, и даже бледность жены и не проходящий страх в ее глазах стали привычными для него.

— Не бойся, я теперь с тобой, — успокаивал он.

Марина в ответ лишь молчала. А спустя еще несколько дней страх до-

— Так это вы, выходит, писатели тут? А кто же тогда я?
— А ты поц! — сказал Плейшнер и стал разливать водку.
Разлив ее, он сунул мне мой стакан и как-то ядовито сказал:
— Пей, шуток не понимаешь, поц.

Я выпил. На душе стало легче. В голове прояснилось. Плейшнер и Штирлиц куда-то исчезли, хотя полная нетронутая поллитровка так же стояла на столе, как часовой на посту. Эту поллитровку подарил мне в 1945 году сам Сталин. С тех пор она стоит на моем писательском столе нетронутой.

Странно все это. Почему порой хочется вот так вот взять и раскрепоститься, ни о чем не думая, довериться своей писательской руке, ее свойству — писать? Голова порой пухнет, но разве не так же писали Толстой, Гоголь, Тургенев, Штирлиц и Плейшнер, Дюймовочка, Брежнев, в конце концов? Ведь это он, делая очередную запись в своем дневнике, писал: "Утром хорошо помыл голову, расчесался. Затем ко мне зашел Подгорный. Сыграли в дурачка. Я выиграл. Решили половой вопрос сессии поллитбюро".

Конец энной части



Стучащий

Денис Иванов отсутствовал дома более шести месяцев. Когда его молодая красавица жена увидела мужа, спускающегося с корабля, она побежала к нему и, повиснув на его загорелой шее, загрозила движение по трапу. В этот момент, когда его уставшие товарищи выстроились в очередь за ним, ему показалось, что прошло столько же, если не больше — хорошо, что они отнеслись с пониманием, и он не услышал и слова упрёка, только доброжелательные шуточки.

Еще не так давно он считал свою любовь к Марине безнадежной, а сейчас у них была четырехлетняя дочь, мячиком прыгавшая около ног.

Нежно заглядывая в глаза жены, он не мог не заметить в них плохо сокрытый страх, который обморочной бледностью оттенял тонкие черты ее лица. На его вопрос о самочувствии она ответила, что все хорошо, и продолжила его целовать, но он не сомневался, что она что-то скрывает, и по дороге домой утвердился в этой мысли. В его голове роилось множество самых разных предположений, но ни одно из них, как оказалось потом, не было даже близко похоже на реальность.

Незадолго до того как он ушел в море, они приобрели недорогую квартиру в одном из спальных районов города. Уезжая, он оставил жене деньги на ремонт и новую мебель и оказался приятно удивлен, увидев вместо купленных по дешевке голых стен дышащую теплом и уютом квартиру.

Вместе с тем, осваиваясь в ней, он заметил, что вид у нее не жилой. Еда в холодильнике была упакованной или только открытой, мусорное ведро было чистым, в ванной не оказалось многих туалетных принадлежностей, необходимых в повседневной жизни. Он обратил на это внимание жены, и она ответила, что предпочитала ночевать у своих родителей; ее работа в аспирантуре занимала много времени, и она не могла совмещать ее с болеющим ребенком и ведением домашнего хозяйства.

Денис не придавал этому большого значения, соскучившийся по жене, он думал совсем о другом, и первая в новой квартире ночь пролетела для него незаметно, как сон.

Следующие несколько дней ничем не отличались от первого, и даже бледность жены и не проходящий страх в ее глазах стали привычными для него.

— Не бойся, я теперь с тобой, — успокаивал он.

Марина в ответ лишь молчала. А спустя еще несколько дней страх до-

брался до их дочери; ночью испуганный ребенок попросился к ним в постель. И в ту же ночь началось это...

Они лежали втроем в крошечной тьме. Один повернется на бок, другой шмыгнет носом — сразу не уснуть.

— Ты слышала? — настороженно спросил Денис. — Кто-то стучит в дверь...

— Это не к нам, это к соседям, — ответила Марина.

Стук, в реальности которого он начал сомневаться, стал сильнее и ближе.

— А теперь к нам? — спросил он.

Жена ответила: нет, к соседям...

— Эти милые ночные шорохи, которых так не хватает вдали от дома. Наверное, я отвык от звуков на суше, — иронично сказал он; и только это пробормотал, раздался новый стук, такой, что не приходилось сомневаться — стучались к ним. Дробные звуковые волны разошлись по двухкомнатной квартире, холодными мурашками ужаса забегали по их телам.

— Папа, я боюсь, — пропищала малышка, прижимаясь к нему.

— Кто это, черт возьми, может быть! — выругался он и привстал, чтобы надеть тапочки.

— Пожалуйста, не ходи, — замогильным шепотом произнесла Марина и вцепилась в его локоть. — Не надо...

Малышка под одеялом тоже нашла его руку и держалась за нее. Денис чувствовал себя кораблем, стоящим на двух якорях в ночной гавани.

Стук повторился...

— Пожалуйста, не иди!

— Что происходит? Кто это стучит к нам среди ночи?!

— Сумасшедшие. Постучат и перестанут.

— Но почему к нам? — возмутился он.

— Не только к нам. Они ко всем соседям стучат, — успокаивала жена.

Когда он попытался встать, жена с ребенком еще сильнее вцепились в его руку, и он сказал: "Черт с ними, пусть стучат".

Стучащие звуки удалялись, потом прекратились, но заснул он нескоро.

Следующей ночью все повторилось.

— Кто-то опять шкрябается, — недовольно сказал он, — пойду, посмотрю!

— Не надо... Не ходи...

Умоляющим голосом жена его опять отговорила, но в третью ночь ей это не удалось. Денис пообещал разобраться с хулиганами и решительно прошел к бронированной двери.

В глазке он не увидел ничего, кроме неправдоподобно удаленной лестницы и продолговатого межпролетного окна.

Он открыл дверь и увидел свой четвертый этаж таким, какой он есть, реальным и без мифических сумасшедших.

Проверив соседние этажи, он вернулся к себе, но не успел отойти от закрытой двери, как в ее деревянную обшивку вновь постучали...

В поле зрения глазка — никого. Он осторожно приоткрыл дверь и удивился прыткости безумцев. Парадная вновь была пустой.

Чертыхаясь, он, осторожно, не отнимая взгляда от уменьшающейся щели, закрывал дверь, и так и не закрыв ее, был точно током поражен раздавшимся звонком.

Теперь он сам стал свидетелем невероятного! Звонком не мог прозвенеть сам собой. Или кто-то невидимый стоял перед ним, напрашиваясь в гости, или он просто сошел с ума.

Испуганный голос жены позвал его обратно, и Денис закрыл дверь. Произошедшее не поддавалось логическому разъяснению, и он решил не обращать на стуки и звонки никакого внимания, так, словно их не было, потому что не могло быть.

Обняв спрятавшуюся под одеялом жену, он поведал о неуловимых стукачах и попросил у нее объяснений.

— Это проклятый дом, — неохотно начала она. По мере своего рассказа она не раз повторяла это слово.

Проклятый! Проклятый!

— Мы дешево купили эту квартиру, потому что от нее хотели избавиться из-за этого проклятия. В этой парадной какая-то злая сила все время стучится в двери жильцов, и особенного безумия эта канонада достигает ночью. Из-за этих стуков я не жила здесь, когда ты был в рейсе. В этом проклятом подъезде сам дьявол ходит по гостям. Соседи совершают самоубийства. Тут жить нельзя, мы должны эту квартиру продать — или сойдем с ума.

Негромко тикали настенные часы. Между их мерными ударами Денис мог отчетливо различить тишину.

Расспрашивая жену, он понял, что она мало общалась с соседями, и весь смысл происходящего сводился, с ее слов, к одному: в доме какая-то сила стучит в двери жильцов.

Крепко спящий в первую неделю, он не замечал этих шорохов. Теперь же он просыпался от самых легких порывов ветра за окном, деревянный треск сухих веток напоминал шкрябание в дверь.

Его настойчивое желание подробнее узнать об этом явлении заставило его обратиться с расспросами к соседям.

Он был здесь новым жильцом и понять, кто сосед, а кто гость — оказалось непросто. Бабушки на лавочке у дверей тут не сидели. Первым человеком, к которому он обратился, стала женщина средних лет с двумя большими сумками продуктов.

Кратко поведав ей об истории своего заселения, он пожаловался на то, что в его дверь по ночам кто-то стучит.

— Представляешь, — рассказал он в тот вечер жене, — она посмотрела на меня как на психа и сделала вид, что удивилась. Но когда она открыла свою дверь, внутри под глазком я увидел... Что бы ты думала? Никогда не догадаешься!..

— Икону!

— Представляешь? Много ли ты видела придурков, вешающих на входные двери иконы? Она что, там молится, коленями стоя на коврике для чистки обуви? Двух комнат не хватает? Дело не в этом. Она повесила образок для защиты от духов!

— Не помогает, — выдохнула жена.

— Что?.. — удивился он ее ответу, и тут же был огорошен рассказом о том, как она вешала на дверь православную икону, но стуки не прекращались.

— Не помогает, — бессильно ответила она. — От этого стука одна защита — нужно оглохнуть.

— Не падай духом, в любой ситуации можно что-то сделать. Главное искать выход.

Ему казалось, что он сможет что-то сделать, разузнав у соседей всю хронологическую подноготную об этом бездомном барабашке. И он продолжал приставать к ним с расспросами.

Сухопарый физкультурник с оранжевым мусорным ведром из квартиры № 10 принял Дениса за журналиста. Ничего внятного он не сказал. Как, впрочем, и все остальные. Вымученные улыбки. И лишь один человек радостно просиял, заявив, что на пятом этаже этих стуков нет.

А у него на четвертом они продолжались.

Каждую ночь. Когда шел снег, накрывая белым ковром их дворик, и когда звенела оттепель.

Жена во время этой зловещей канонады прижималась к нему, и он, глядя ее теплое тело под ночной рубашкой, шутил о том, что этот стук стоило бы придумать во всех домах для укрепления семейных уз.

Марина не смеялась, и он замечал, что ее плохо скрытый страх уже не прятался, он овладевал ею, разрастаясь с каждым днем. И вместе с ним росло в ней безумие, ежесекундное желание убежать из этой квартиры, едва ли не через окно...

Он за нее боялся. А полуночные стуки в доме продолжались.

Денис не переставал искать разгадку, и однажды стечение обстоятельств отблагодарило его за настойчивость. Возле подъезда, ожидая жену, он увидел старого знакомого по мореходному училищу, который, как оказалось, жил на первом этаже, в однокомнатной квартире № 3.

Тряся руку Дениса, тот громко кричал: "Привет, моряк! С прибытием! — он называл имена давно забытых знакомых, от которых слышал о Денисе. — Рад, что мы теперь соседи!".

Они пообщались минут десять. Приободренный Денис хотел расспросить его о ночных стуках, но вышедшая из парадной жена помешала ему это сделать. Не хотелось при ней ворошить болезную тему.

Знакомый, имени которого он не помнил, зазывал Дениса в гости, и на следующий день, купив шесть бутылок пива, он убрал палец с кнопки звонка и нарочно постучал в соседскую дверь.

— Фу, напугал! — ответил его сосед после заминки. — Не мог позвонить? Звонок же есть!

Денис усмехнулся, это помогло ему перевести их дальнейший разговор на интересующую его тему.

— Жена меня замучила, — говорил Денис, попивая пиво. — Вчера вечером, после нашей встречи, она устроила очередную истерику, в которой я не виноват. Она хочет переехать к теще и продать квартиру. Разменять ее даже на однокомнатную, лишь бы не слышать проделки здешнего "полтергейста", как она любит выражаться.

Сосед понимающе причмокнул и почесал волосатую грудь под грязной, как его квартира, майкой.

— Что тебе сказать?.. — задумчиво начал он.

— Скажи все, что знаешь, — попросил Денис.

Сосед осушил начатую бутылку и поставил ее на пол возле батареи. Денис заметил там две дюжины пивных бутылок зеленого и оранжевого цвета. Они напоминали стоящих на задних лапах крыс.

— Так вот, — начал он свой рассказ, — это случилось больше года назад. Я той ночью дежурил в котельной и могу рассказывать только со слов очевидцев. Не знаю, изменилось бы что-нибудь в той истории, будь я тогда дома. Но факт в том, что у нас в парадной произошел не очень прият-

ный случай: замочили одного парня, который убегал от преследователей. Бедняга колотил во все двери и звал на помощь. В то время у нас вышел из строя выключатель, и в парадной не было света; от этого он, наверное, не мог позвонить, но не это важно, а то, что никто не вышел на помощь.

— Народ оказался отзывчивым, — заметил Денис.

— Да, — усмехнулся сосед и продолжил. — Стуча во все двери, он добежал до твоего четвертого этажа и там, на вашей лестничной клетке, его и порешили.

— Кто это сделал?

— Неизвестно кто, неизвестно, сколько их было. Никто даже не позвонил никуда, все надеялись друг на друга. Рано утром его нашла бывшая хозяйка твоей квартиры. Лестница до первого этажа была в следах крови. Женщина неловко ступила и поскользнулась, пролетев целый пролет. Перелом ноги, многочисленные трещины и ушибы.

Денис очень точно вспомнил женщину с костылем, у которой он купил квартиру.

— Она стала первой жертвой проклятья. А потом начались стуки. И самые впечатлительные соседи сразу же догадались, кто их производит. Тот парень попал не в рай и не в ад, он остался здесь, превратившись в убогого барабашку, и напоминает людям об их равнодушии и грехе.

Денис почесал подбородок.

— Странно, почему он не мстит своим убийцам?

— Откуда мы знаем? Может, он им уже отомстил? Никто ведь не видел убийц. Раз он тут невиновных людей донимает стуком, то может быть, тех ребят утопил потоками льющейся с потолка крови? А может, просто стучит в их ушах, днем и ночью, каждую секунду, стучит, стучит, стучит...

Денис спросил за суицидальные случаи.

— Нет дыма без огня. В тринадцатой квартире нашли мертвого соседа. Я хорошо помню тот дикий рой мух, что хлынул на улицу из окна после того как тело увезли в морг. Бурная журчащая река. Никогда я не видел ничего подобного. Как будто черный кит выпрыгивал из злополучной квартиры.

— Подъезд у нас злополучный.

Сосед согласно кивнул.

— Да. И попа вызывали со святой водой, и экстрасенсы с уфологами здесь лозоискательствовали. Ничего не помогло. И, наверное, не поможет. До Страшного суда.

Денис грыз сушеного леща и слушал историю подъезда. О том, как из

квартиры № 16 съезжали первые квартиранты и как потом из нее же и из нескольких других, в которых хозяева не могли больше жить. Эти съезды стали постоянными.

— Куча людей прошла через эти квартиры, никто не хотел здесь жить больше месяца. Аренда квартиры стала чуть выше аренды топчана на социальном пляже перед открытием сезона. Весь город знает о том, какие дела здесь творятся.

— Весь город? — усомнился Денис. — Я об этом не мог допытаться ни у кого в подъезде.

— Люди предпочитают об этом молчать. Но в нашем городе есть такие дома и квартиры, которыми даже агентства по недвижимости не хотят заниматься. Все из-за потусторонних явлений, которые в них происходят. Взять хотя бы дом на Днепропетровской дороге, недалеко от Лузановки. Там вылетают пробки из электросчетчика, летают предметы и двигается мебель. А дом цыганского барона, в котором он хотел сделать казино... Там все время кто-то ходит. И то же самое с нами. Наш дом, и в особенности подъезд — мрачно знаменит.

За окном крепчал ветер. По местному радио говорили о штормовом предупреждении и, похоже, прогноз оправдывался.

— Схожу за пивом и рыбой, пока не началось ненастье, — задумчиво сказал Денис и под громкий посвист ветра в открытую дверь ушел в магазин.

Он скоро вернулся, и они продолжили свое скромное застолье. За пивом и разговорами они не слышали ни стуков в дверь, ни треска деревьев. Даже темнота, возникшая вследствие отключения электроэнергии, ничуть не обеспокоила их умиротворенные легким алкоголем души.

— Наверное, ветка оборвала провод. А может быть, дерево упало...

Света не было не только у них. В доме напротив мертвые окна зияли чернотой.

Постепенно часть окон заморгала искусственным дыханием свечей и аккумуляторных ламп.

Немногом позже Денис, одной рукой держась за перила, другой за стену, медленно поднимался к себе домой, отчетливо представляя ту роковую погоню в кромешной темноте, стуки в двери... Молчание... Четвертый этаж, где произошла кровавая бойня. Хорошо, что он ни от кого не убегал, расслабленный, чуть потерявший ориентацию в пространстве — мог, не мучаясь в потемках поисками замочной скважины, мерно стучать в дверь, ожидая, когда жена, встав с постели, невесомой пылинкой пролетит к двери и настороженно-сонно спросит: кто?

Он не учел лишь одного: испуганная темнотой и его отсутствием Марина тяжело переживала регулярные полуночные стуки, и теперь, когда они повторились, готова была сойти с ума.

Открылась дверь, и в танцующем свете свечи он увидел безумные глаза своей благоверной и самое грозное оружие в ее тонких руках — старую чугунную сковородку.

С Мариной творилось что-то невероятное, ее бил нервный припадок, и даже мужа своего она не могла узнать.

Ему показалось, что она обиделась на него за долгое отсутствие, и логическим результатом ее истерики стала размашистая траектория сковородки, после встречи с которой он потерял сознание.

Это был катарсис ее безумия. На следующий день Марина с ребенком уехала к своей маме, оставив его одного, поразмыслить над ультимативным требованием избавиться от квартиры.

Так началось его одиночество. На родном берегу, в своей квартире. Он дал платные и бесплатные объявления в несколько газет, обратился в ближайшие агентства по торговле недвижимостью и уже через день ему привели первого клиента, а через неделю начались звонки. Денис дал максимальную цену за свою квартиру и неохотно торговался.

Ему не хотелось отсюда съезжать. Необъяснимые стуки заинтересовали его, Денис желал раскрыть тайну этого подъезда.

— Надо снизить цену, — говорила Марина по телефону. Она уже отошла от шока, вызванного потрясением, и десять раз извинялась за причиненную боль. Он навещал ее почти каждый день, но возвращаться жена не намеревалась. — Представляешь, мне звонили по объявлению, и когда я рассказала, где находится дом, меня сразу спросили, не тот ли это подъезд, где обитают приведения! Никто толком ничего не знает, но все знают о том, что здесь что-то происходит. Снижай цену, иначе ее никто не купит! Я в эту квартиру больше ногой не ступлю.

Денис соглашался, но от своего не отступал. Стучащий подъезд не на шутку его увлек.

Был последний февральский вечер. Кровавое солнце падало на синюю траву неба, как срубленная мечом голова. Денис наблюдал за ним на кухне. Ожидая, когда вскипит чайник, он мазал шоколад на печенье и по телефону разговаривал с женой.

— У меня есть обнадеживающие новости, — сказал он. В его голосе сквозил легкий сарказм, который жена не заметила.

— Кто-то согласен купить квартиру? За сколько?

— Нет, я не про это. Вчера я нанес визит к одному ясновидящему из деревни. Мне посоветовал его родственник, дядя Миша. Нет смысла рассказывать его невероятные истории, ибо со мной все повторилось в точности, за исключением, конечно, личных деталей моего прошлого, о которых он мне поведал.

— Надеюсь, я про эти детали знаю? — спросила жена.

Денис оставил без внимания ее слова и продолжил:

— Никто, даже дядя Миша об этом не знал. И, ошарашив меня первыми рассказами о моем прошлом, он в точности назвал цель моего визита, что было уже не так удивительно. И поведал о беспокойном духе, чьи ночные бесчинства вселяют ужас в жителей нашего подъезда.

Его душа не может покинуть мир живых и перейти в мир мертвых. После смерти она пребывает в состоянии, в котором перед ней проходит вся ее жизнь, и когда доходит до переживаний смерти — душа бунтует и испытывает состояние гнева, которое недопустимо в более высоком духовном мире. Этот способный материализоваться гнев — присущ только очень сильным духовным субстанциям, а также незрелым, так как достигшая более высокого уровня душа никогда не будет нарушать установленный порядок вещей.

Существа духовного мира обладают особой проникающей мудростью, которая ставит их выше физических существ, и в дополнение к этой мудрости они имеют опыт своих прошлых жизненных перевоплощений, который для нас недоступен. Земные горести кажутся им незначительными, но тот погибший в нашем подъезде человек не может выйти на их уровень. Вспоминая испытанную боль, он крутится в безумном вихре своего последнего жизненного переживания и в ярости своей мстит.

В замкнутом пространстве своей обиды он не ощущает ход времени. Мсть его может продолжаться до тех пор, пока не разрушится дом.

— Я надеялась, ты нашел покупателей, а ты занимаешься черти чем, — вставила жена, не позволив ему договорить.

Когда они закончили разговор, она так и осталась в неведении насчет обнадеживающей новости.

Впрочем, то была не новость. Просто ясновидящий заверил Дениса в том, что ночные стуки можно прекратить, но для этого требуется вступить в контакт со стучащим и узнать, что он хочет...

Денис был заинтригован. Каждый раз, когда ночной смерч ударов начинал разворачиваться от первого этажа до его квартиры, в воображении возникала та роковая погоня.

Крики, стуки, стуки. Смерть и кровь.

Стуки были яростными. Одинок завернувшись пледом, он мечтал, чтоб они прекратились навсегда.

Ему предстояло решить проблему, с которой не справились священнослужители и уфологи. Вступить в контакт с неведомой силой, взломать засургученную тайну.

Однажды холодным мартовским вечером во время особо сильной дробовой канители он, поднявшись с дивана, выключил телевизор, в потемках добрел до двери, настезь ее распахнул...

— Заходи...

Он произнес услышанное от ясновидящего имя и отошел от порога, учтивым наклоном головы приглашая дух в свой дом.

Глухо щелкнуло за шкафом для одежды — он был в коридоре.

Щелкнула белая канадская дверь, отделявшая коридор от гостиной. Дух мялся на пороге.

Решив, что гость уже в комнате, Денис перешел порог и сел в глубокое, как медитация йога, кресло. На свои вопросы он не услышал ответов, и когда далеко из парадной до него донесся стук — понял, что спиритический сеанс завершен, и закрыл дверь.

На следующий день все повторилось, только с большим успехом. Следуя наставлениям, он, открыв дверь, пригласил гостя в дом и оговорил порядок стуков: да и нет, которыми дух стал отвечать на его вопросы.

Их общение становилось все более и более доверительным. Вечера проходили в леденящих душу беседах, и они даже начали играть в шашки.

Денис узнал много сомнительного — ведь так трудно было до конца поверить невидимому собеседнику. То, что он не сходит с ума в одиночестве, Денис понял, когда позвонил матери духа по телефону, продиктованному в дубовую столешницу стучащим.

История, в которую он ввязался, напоминала детектив. Мать стучащего приняла его хорошо. Денис увидел семейные фотографии и услышал ее версию убийства сына.

Ее потрясло то, что он рассказал.

— Несколько раз я ходила к вашему подъезду с букетами цветов, и один раз мне рассказали о таинственных стуках, которые раздаются в подъезде по ночам. Какое это счастье, если это мой сын! Я буду еще сильнее молить бога за успокоение его души.

Эта женщина была единственным человеком, который обрадовался,

узнав о стучащем. Больше он никому не был нужен. Он погиб слишком молодым, не успел завести семью.

Юное белесое лицо с чуть наивными голубыми глазами врезалось в память Дениса, и он вспоминал его на кладбище, куда пришел почтить его память и попытаться понять, что он мертв.

У своей матери и на кладбище стучащий не подавал признаков существования. Почему? Денис не знал. Иррациональных объяснений могло быть сколь угодно много.

Во время их общения некоторые вопросы Дениса оставались без ответов, но иногда его собеседник даже проявлял юмор.

— Почему ты общаешься со мной? — вопрошал Денис.

— Ты мне нравишься, — простучал дух.

Почувствовав расположение духа, Денис сказал:

— У меня есть проблема.

— Какая? — призрак проявил почти живой интерес.

— Мне нужно продать эту квартиру, но из-за твоих проделок люди шахраются от нашего подъезда. Не мог бы ты на время успокоиться? А потом, когда я ее продам, — вновь, если захочешь, вернешься к своим стукам.

В ответ он услышал стучание, смысл которого не разобрал. И наступившую тишину.

В последующие дни стуки в парадной не прекращались, но общаться с Денисом полтергейст не хотел. Наверное, обиделся, — решил Денис.

Продолжали звонить потенциальные покупатели. Очень быстро они куда-то пропадали, и Денис оставался один в двухкомнатной квартире и стуками в бронированную дверь.

Жена спрашивала его о том, как идут дела.

Все, что он мог ответить:

— Стучит.

Ничего больше она не спрашивала, и он чувствовал, что она корит его за бездействие, но старался большую тему не задевать.

Довольно скоро, когда отступили мартовские холода, его настроение заметно улучшилось. Стучащий вновь начал общаться с ним.

Стуки в дверь, в стены коридора и, наконец, в дубовый стол.

Денис садился в кресло, и они начинали "беседовать".

— Если ты не хочешь мне помочь — я помогу тебе. Только расскажи как. Что мне сделать, чтобы отомстить за тебя? На убийство я не пойду. Несколько тысяч зеленых в разнице за квартиру того не стоят. Да и откуда я знаю, кто убийца... Ты хоть знаешь? Чувствуешь его?

В ответ стук: да.

Денис продолжил свой расспрос, в результате которого узнал номер дома и телефон подозреваемого в убийстве. Стучащий в этом не сомневался.

Денису же было сложнее.

У него имелся телефон и адрес предполагаемого убийцы. Но что с этим делать? Отнести следователю?

Его в лучшем случае засмеют.

Действовать самому?

В бездействии начали проходить все последующие дни. Тепло сменилось гололедом. Потом снова капель. И стуки. Однажды они ему даже приснились, и он, утром проснувшись, пообещал себе, что позвонит по указанному телефону.

На улице, из телефонной будки, чтобы его не засекли определителем номера, он наконец-то позвонил и после нескольких гудков услышал грубый прокуренный голос.

— Убийца, — сказал Денис и быстро повесил трубку.

— Идиот, — сказал он самому себе, но, тем не менее, продолжал названивать и прогуливаться возле дома предполагаемого убийцы.

Вскоре он уже знал, как выглядит подозреваемый. Пренеприятный тип, даже для него, немало повидавшего в своей жизни.

По телефону он рассказывал про убийство, заставляя нервничать своего невольного собеседника.

Тот только успевал спрашивать: кто это? Кто это!

Несколько раз угрожал, пока Денис не вешал трубку, но однажды жертвой телефонного хулиганства стал сам Денис. Его мобильный телефон зазвонил в кармане висевшего в шкафу пальто, когда он после ужина читал газету.

В трубке тишина. Звонили, судя по всему, из уличного автомата.

Через пять минут молчание в его трубке повторилось, словно звонящий хотел удостовериться, туда ли он попал.

Каким-то образом телефон Дениса стал известен предполагаемому убийце. В том, что звонил именно он, — Денис не сомневался.

Стучащий все время утверждал, что Денис на правильном пути. Что он звонил убийце, что видел убийцу и что убийца ему звонил.

Но что он должен был делать дальше? Убивать этого типа? Он не мог. Все имеет свой предел, и Денис дошел до стенки, разбить которую у него не хватало духа. Игра, увлекшая поначалу, подходила к концу.

Жена через знакомых нашла покупателя, готового купить их квартиру.

"Потеряем одну тысячу и сделанный ремонт, — говорила Марина, — но зато избавимся от этой квартиры".

Покупатель оказался настроен решительно, Денис через крюинговое агентство подыскал себе судно для нового рейса и прощался с городом и своей квартирой.

Довольная жена уже не так сильно боялась стуков, она ночевала с ним, а днем перевозила отобранные вещи к своей матери. Этот хлопотливый процесс ее увлекал.

Ночью за несколько дней до продажи квартиры Денис откликнулся на ночной стук и открыл дверь.

Жена, наверное, не спала, но он знал, что его шепот она не услышит, поэтому говорил не стесняясь.

В темноте, прощаясь со стучащим и извиняясь за то, что не смог ему помочь, — он и не предполагал, что развязка этой истории произойдет на следующий день.

Скорее по привычке, чем намеренно, он вновь пришел к дому, в котором снимал квартиру убийца, и увидел его выходящим из парадной.

Тот пристально посмотрел на Дениса и стремительно направился к нему.

Денис, делая вид, что кого-то ждет, ответил ему, который час и, развернувшись, ушел.

Он заметил, что убийца идет за ним. Неприятный тип, старательно перешагивая зеленые лужи, не отводил от него взгляда небритого остроносого лица.

Трубка звонила в кармане, но Денис, не обращая внимания, запутывал следы, и когда ему показалось, что он отделался от хвоста, взял машину и поехал домой.

Эта погоня заставила его попотеть. Он расстегнул пальто и снял шарф. Во дворе, когда он подходил к своему дому, мобильный снова загудел. Он ощупью вытащил его из кармана, слегка удивился, увидев на экране незнакомый номер, и хрипло спросил: кто?..

Ответ не замедлил себя ждать.

— Это я, — прохрипел знакомый голос. — Узнаешь меня?

Денис остановился как вкопанный и обернулся. Теперь он понял, кто мог звонить в тот момент, когда он пытался избавиться от преследования. Что ж... Теперь все было известно. Сначала Денис выдал свой голос и телефонный номер, сейчас он выдал себя. Его преследователь стремительно

приближался, он был всего в нескольких метрах, и ошеломленный Денис инстинктивно побежал.

Он слышал, что за ним бегут. Остроносый решил не притворяться, что гуляет здесь в оздоровительных целях. Его целью был Денис.

Они влетели в парадную почти одновременно. Денис развернулся и ударил своего преследователя в пах. Тот, пригнувшись, смягчил удар животом и схватил Дениса за ногу, чем заставил его потерять равновесие и упасть.

Отбиваясь ногами, Денис швырнул бесполезный телефон в лицо нападавшего. Он давно ни с кем не дрался, и оттого сопротивление его выглядело хаотичным.

Кое-как поднявшись, он оставил пальто в цепких пальцах своего противника. Тот бросил его через себя и побежал за Денисом; пальто, ударившись о потолок, упало на серый кафель.

Денис стучал в двери первого этажа, звал на помощь своего приятеля из квартиры № 3. Отбиваясь ногами на межлестничном пролете, он устремился на второй этаж и, колотя в двери и давая звонки, продолжал звать на помощь.

Но никто не откликнулся. В руке его преследователя стальными зазубринами сверкал нож. Денис только терял время.

Бежать домой — выдавать свое место жительства рецидивисту? Даже если бы он вспомнил, что квартиру эту они продадут, — все равно у него не оставалось другого выбора.

Бежать...

На третий этаж. И здесь даже стучать и звонить не пришлось. Парадная наполнилась какофонией яростных стуков. Дрожали все двери, от первого этажа до последнего. Играли все звонки. И этот внутренний пятиэтажный хор дополнило залиvistое соло оставленного у подъезда "фольксвагена".

Преследователя этот концерт не смутил. Как заведенный автомат он продолжал бежать за своей целью.

Денису вспомнилась история о предыдущей погоне. Каскады крови, стекающие с лестницы. Удар ножом в спину. Удар ножом в живот. Прошлого перемешалось с настоящим. Яростный водоворот.

Между третьим и четвертым этажом Денис, споткнувшись, упал. Не сразу он понял, что падением своим обязан остроносому, который рыбкой прыгнул Денису в ноги и в отчаянном прыжке нанес колющий удар.

Адскую боль в левой икре он почти не почувствовал и обеими руками и ногами яростно отбивался от своего противника.

Жена Дениса припала к глазку. Она не видела дерущихся на лестничном пролете, но сердце ее было не спокойно за мужа.

Яростный стук бронированных дверей соревновался с яростью схватившихся мужчин. Денис в этой схватке уступал. Ему, дравшемуся в последний раз еще в школе, было нелегко противостоять более искушенному противнику, у которого к тому же был нож. Он только успевал уворачиваться.

Когда они повалились на пол, и Денис, пропустив сильный удар в голову, безвольно наблюдал за ножом, опускавшимся на него, точно гром с неба, ему показалось, что наступила развязка.

— Сделай же что-нибудь! Хватит стучать в бесполезные двери! — кричал, срываясь, Денис.

Марина тут же узнала голос мужа. Потом прекратился стук. Так неожиданно, что ей показалось, будто она оглохла.

Потом посыпалось стекло.

Темная фигура появилась на лестнице и, отряхиваясь, шла наверх. К ее двери.

Не раздумывая, Марина открыла дверь еще до того, как рука дотянулась до звонка. Перед ней предстала страшная картина: у двери возвышался человек с красным от крови лицом, точно кожу с него сняли.

Марина замахнулась сковородкой, но окровавленный монстр успел схватить ее руку.

— Что, не узнаешь мужа? — спросил он и рукавом протер лицо.

— Денис... — прошептала она и поволокла обессиленного мужа в ванну.

Как назло не было воды. Во дворе кричали сирены, и Денис с намоченным полотенцем в руках спустился вниз.

Там уже собралась толпа народа, а соседи открывали свои бронированные двери только сейчас, когда смолкли стуки о помощи.

Жене Денис рассказал больше, чем записали для протокола. Когда остроносый, сидя на нем, занес руку для решающего удара, и Денис обратился к потусторонней силе за помощью — произошел последний стук, последнее, как потом оказалось, чудо в этой парадной.

Треснули стекла на первом этаже, на втором, на третьем, на четвертом. Осколки разлетались от подоконников, со звоном падали на кафель, врезались в перила...

Денис закрыл глаза. Мелкие осколки отлетали от его лица, путались в волосах.

Кусок стекла в форме ножа, как нарочно, лежал рядом с его правой рукой и, схватив его, Денис полоснул своего противника по горлу так, что кровь излилась на него красным фонтаном.

У него не возникло больших проблем. Преследователь Дениса оказался опасным рецидивистом в розыске.

Раненая нога быстро зажила. В рейс он ушел только через полгода. А стуков после того безумного дня больше не было, и проклятие подъезда, тревожившее его жителей в течение долгого времени, постепенно превратилось в легенду, которой никто не верил.

Свое старое жилье они продали позже, выручив больше денег, чем в свое время потратили. И когда Денис вернулся из рейса — они переехали в новую квартиру на престижном Французском бульваре. Там все было лучше и ничто не мешало им ощутить полноту семейного счастья в те дни, что они проводили вместе.

Единственный стук, который они слышали, производил трамвай № 5, ходивший по санаторно-пляжному маршруту. Они очень быстро привыкли к нему, а Денис его даже полюбил. Иногда, когда он скучал по морю, этот стук напоминал ему про конечную остановку трамвая — пляж "Аркадия".



Скорбь и теснота

Отрывок из киносценария

Ближний Восток. Июнь, 1963 г.

Тягин, немолодой уже — лет 50-ти — мужчина плотного телосложения, с брюшком, стоит в полдень на пыльной улочке небольшого ближневосточного городка. На нем светлый костюм, шляпа и темные очки. Он стоит в тени тентов, натянутых над тротуарами, и, по всей видимости, кого-то ждет. Под тентами идет торговля; вдоль прилавков движутся люди; по мостовой проезжают редкие покрытые пылью автомобили и автобусы.

Тягин смотрит на часы и идет к телефону; снимает трубку и набирает номер.

Советское консульство в этом же городке.

В спальне молодая женщина нервно собирает вещи, пакует их в чемодан. За ее сборами угрюмо наблюдает ее муж-консул, Александр.

Александр. И ты можешь вот так вот просто бросить меня здесь?..

Мария. Что значит "бросить"? Ты что, маленький ребенок? Ты взрослый мужчина. И прошу тебя, давай не будем в тысячный раз повторять одно и то же. Все уже решено.

Александр. Ничего еще не решено.

Мария. Все уже решено.

Александр. Ничего еще не решено.

В это время звонит телефон. Александр срывает трубку.

Александр. Алло!

Мария. Дай трубку, это меня!..

Александр. Алло!..

Мария бросается к Александру, но тот ее отталкивает, и так сильно, что Мария падает на разбросанные по полу вещи.

Улица городка.

У телефона-автомата стоит Тягин, прижав к уху трубку. Из трубки доносится "Алло!" — голос Александра. Тягин молчит.

Консульство. Спальня.

Денис закрыл глаза. Мелкие осколки отлетали от его лица, путались в волосах.

Кусок стекла в форме ножа, как нарочно, лежал рядом с его правой рукой и, схватив его, Денис полоснул своего противника по горлу так, что кровь излилась на него красным фонтаном.

У него не возникло больших проблем. Преследователь Дениса оказался опасным рецидивистом в розыске.

Раненая нога быстро зажила. В рейс он ушел только через полгода. А стуков после того безумного дня больше не было, и проклятие подъезда, тревожившее его жителей в течение долгого времени, постепенно превратилось в легенду, которой никто не верил.

Свое старое жилье они продали позже, выручив больше денег, чем в свое время потратили. И когда Денис вернулся из рейса — они переехали в новую квартиру на престижном Французском бульваре. Там все было лучше и ничто не мешало им ощутить полноту семейного счастья в те дни, что они проводили вместе.

Единственный стук, который они слышали, производил трамвай № 5, ходивший по санаторно-пляжному маршруту. Они очень быстро привыкли к нему, а Денис его даже полюбил. Иногда, когда он скучал по морю, этот стук напоминал ему про конечную остановку трамвая — пляж "Аркадия".



Скорбь и теснота

Отрывок из киносценария

Ближний Восток. Июнь, 1963 г.

Тягин, немолодой уже — лет 50-ти — мужчина плотного телосложения, с брюшком, стоит в полдень на пыльной улочке небольшого ближневосточного городка. На нем светлый костюм, шляпа и темные очки. Он стоит в тени тентов, натянутых над тротуарами, и, по всей видимости, кого-то ждет. Под тентами идет торговля; вдоль прилавков движутся люди; по мостовой проезжают редкие покрытые пылью автомобили и автобусы.

Тягин смотрит на часы и идет к телефону; снимает трубку и набирает номер.

Советское консульство в этом же городке.

В спальне молодая женщина нервно собирает вещи, пакует их в чемодан. За ее сборами угрюмо наблюдает ее муж-консул, Александр.

Александр. И ты можешь вот так вот просто бросить меня здесь?..

Мария. Что значит "бросить"? Ты что, маленький ребенок? Ты взрослый мужчина. И прошу тебя, давай не будем в тысячный раз повторять одно и то же. Все уже решено.

Александр. Ничего еще не решено.

Мария. Все уже решено.

Александр. Ничего еще не решено.

В это время звонит телефон. Александр срывает трубку.

Александр. Алло!

Мария. Дай трубку, это меня!..

Александр. Алло!..

Мария бросается к Александру, но тот ее отталкивает, и так сильно, что Мария падает на разбросанные по полу вещи.

Улица городка.

У телефона-автомата стоит Тягин, прижав к уху трубку. Из трубки доносится "Алло!" — голос Александра. Тягин молчит.

Консульство. Спальня.

Александр (кричит в трубку). Тягин! Слышишь меня? Убирайся к чертовой матери! Она никуда с тобой не поедет! Ты меня понял?! И если ты, сука, сегодня не уберешься, то уже завтра утром ты будешь сидеть и давать показания!

После этих слов Александр бросает трубку на аппарат, а потом обрывает телефонный шнур; пинает ногой чемодан так, что из него вываливаются все вещи.

Мария (сидя на полу, плача). Я все равно... все равно уеду... это уже решено...

Александр. Ничего еще не решено. И решать тут будете не вы с Тягиным, а решать тут буду я.

Александр выходит и запирает за собой дверь спальни на ключ.

Аэропорт.

Тягин стоит у стойки, где проверяют билеты, и пропускает всех опаздывающих пассажиров; не отрываясь смотрит в сторону входа, еще, очевидно, надеясь увидеть Марию.

Консульство. Кабинет Александра.

Александр, сидя на столе, наливает полстакана водки и залпом выпивает; закуривает; потом подтягивает к себе телефон и набирает номер.

Сверху доносится громкий стук в дверь спальни.

Маленький внутренний дворик с фонтаном. Два араба сидят играют в нарды, пьют чай. Из дома во дворик выходит юноша. В одной руке у него телефонный аппарат на длинном шнуре, в другой руке трубка. Юноша подходит к одному из играющих и протягивает ему трубку.

Консульство. Кабинет Александра.

Александр говорит по телефону; свободной рукой наливает в стакан водку.

Александр. Хасан? Это Александр. Ты готов? Да, сегодня. Сейчас. Хорошо. Жду.

Дворик с фонтаном.

Говоривший по телефону араб, Хасан, возвращает юноше трубку, разводит перед своим партнером по нардам руками, мол, ничего не поделаешь, дела, встает и идет вслед за юношей в дом. Они входят в комнату, где сре-

ди прочих вещей много чуел животных; есть несколько клеток с живыми птицами. Хасан выходит в другую комнату и возвращается с большой кожаной сумкой. Вернувшись, он проходит через комнату к дверям, которые выходят на улицу. Возле дверей он меняет свою домашнюю обувь на уличную и выходит на улицу. Садится в машину.

Аэропорт.

Служащий обращается к Тягину.

Служащий. Посадка заканчивается. Вы летите?

Тягин, не отрываясь от входа, протягивает ему билет и паспорт, которые все это время держал в руке.

Служащий, просмотрев, возвращает их Тягину и жестом приглашает пройти на посадку.

То и дело оглядываясь на вход, Тягин заходит за стойку.

Консульство.

Александр тяжело поднимается по лестнице на второй этаж. Посреди лестницы останавливается, о чем-то задумывается, опустив голову.

Машина Хасана медленно пробирается по пыльным улочкам городка. Наконец подъезжает к консульству.

Хасан глушит мотор, выбирается из машины, одергивает на себе одежду, вытягивает из машины свою тяжелую сумку, запирает машину, подходит к воротам консульства, звонит.

Салон самолета.

Самолет уже в небе. В кресле, уронив голову на плечо, спит Тягин.

Тягину снится сон. Это что-то маловнятное. Какой-то срез ямы или окопа, и по нему тонкой струйкой бежит песок. При этом слышен сухой, очень сухой шорох. Шорох нарастает и при этом переходит в какие-то мучительно-неприятные высокие частоты.

На пике этого раздражающего звука Тягин дергается, открывает глаза и облизывает пересохшие губы. Приподнявшись и высмотрев стюардессу в салоне, он жестом ей показывает "пить". Стюардесса, улыбаясь, кивает и уходит выполнять просьбу.

Консульство. Раннее утро.

В холле у дверей стоят Александр и Хасан. На полу у ног Хасана стоит

его большая сумка. Александр стоит, качаясь; лицо у него довольно помятое — много пил и ночь не спал.

Александр достает из кармана и вручает Хасану деньги. Хасан пересчитывает деньги, кивает и прячет.

Хасан. Все. Будь здоров, дорогой. Тебе надо поспать.

Александр открывает двери, и Хасан выходит. Александр нажимает кнопку возле дверей, и открываются ворота. Александр ждет, пока Хасан выйдет за ворота, и опять нажимает кнопку — ворота закрываются.

Хасан садится в машину, хлопает дверцей.

Александр стоит у двери, прижавшись лбом к стеклу.

Машина Хасана трогается с места и уезжает по утренней, еще безлюдной улице.

Самолет, на котором летит Тягин, в предрассветной темноте идет на посадку; касается бетонной полосы.

Месяц спустя

Где-то на балтийском побережье. День.

Пасмурная погода, время от времени выглядывает солнце. На песчаной полосе между сосновым бором и морем стоит небольшое открытое кафе. В кафе только два посетителя — Тягин и его сотрудник. Оба в белых рубашках и черных костюмах, Тягин в темных очках. Сидят симметрично по разные стороны столика лицом к морю, положив по локтю на столик, закинув ногу на ногу, и смотрят на набегающие волны; Тягин курит. Неподалеку стоит машина, черная "Волга", на которой они сюда приехали; в машине водитель читает газету.

Подходит официантка в белом передничке и кружевном кокошнике, ставит перед Тягиным и сотрудником по чашке кофе и уходит.

Сотрудник (сделав глоток). Это началось почти сразу после вашего отъезда оттуда... Вы, кстати, так поспешно уезжали...

Тягин (размешивая сахар). Были причины.

Сотрудник кивает.

Сотрудник. Да, так вот. Почти сразу пошли эти угрозы или ультиматумы, не знаю даже, как их назвать... Общее мнение, что он просто сошел с ума...

Тягин. А жена?

Сотрудник. Что — "жена"? Извините, не понял.

Тягин. Ну, он же там не один, а с женой. Что она?

Сотрудник. Не знаю, про жену ничего не известно. Знаем только, что он прогнал всю прислугу. Та же прислуга сообщает, что ворота и двери консульства постоянно заперты, вечерами ни в одном из окон не горит свет, к телефону никто не подходит. Все текущие дела переданы пока в ведение посольства. Что вы на этот счет думаете? Вы ведь знакомы с ним.

Тягин (пожимая плечами). Понятия не имею. Не могу даже представить, что там происходит. А что за угрозы?

Сотрудник. Он девять лет проработал в Южной Америке...

Тягин. Я знаю.

Сотрудник. Довольно активно там работал, очень активно. И вот теперь он грозит сдать всю нашу тамошнюю агентурную сеть... Она, кстати, почти наполовину была создана им.

Тягин. И в каком случае он готов выполнить свою угрозу?

Сотрудник. В случае, если мы его не оставим в покое.

Тягин. То есть?

Сотрудник. Он требует, чтобы его не трогали, оставили в покое, чтобы к нему не совались. Две недели назад мы отправили туда нашего человека, через день его труп нашли за городом. Где произошла утечка, мы до сих пор не знаем. Вот после этого мы и получили от него ультиматум: еще раз, мол, сунетесь — и можете попрощаться с Южной Америкой.

Тягин. Интересные дела... От меня-то вы что хотите?..

Сотрудник. Вы проработали там почти три года, знаете все входы и выходы, наверняка у вас остались там какие-то связи, контакты...

Тягин. Ну так что?

Сотрудник. Вы лучше других могли бы справиться с задачей...

Тягин. Что за задача?

Сотрудник. Нейтрализация.

Тягин. Вы хотите сказать — ликвидация...

Сотрудник. Да, можно и так сказать.

Тягин. Ну вот так и говорите. А то, что меня там каждая собака в лицо знает — за Южную Америку не опасаетесь?

Сотрудник. Вы же профессионал. Поселитесь за городом... И потом, все это надо сделать как можно скорее, день, два от силы, чтобы он не успел ничего предпринять. Мы готовы пойти на все ваши условия.

Тягин. А как же быть с утечкой?

Сотрудник. Утечки не будет. Об этом будут знать только трое: вы, я и Сорокин.

Тягин. А почему я должен доверять вам?

Сотрудник (пожимая плечами). Я здесь новый человек, работаю только два года, и никаких контактов с консулом у меня быть не могло... Так что, согласны?..

Тягин. Мне надо подумать.

Сотрудник. У нас очень мало времени.

Тягин, потянувшись, окидывает взглядом окружающий пейзаж.

Тягин. Славная погодка сегодня. Люблю такую погоду.

Сотрудник вдруг отворачивает лицо, потом закрывает лицо ладонями, и тело его начинает сотрясаться от беззвучных рыданий.

Тягин смотрит на сотрудника, закуливает; отворачивается, смотрит на море.

Сотрудник довольно быстро справляется с собой; все так же отвернувшись, вытирает ладонями глаза, лицо.

Сотрудник. Извините... извините, ради Бога... у меня два месяца назад сын погиб в аварии... иногда вдруг ни с того ни с сего как накатит... извините... (*Глубоко, прерывисто вздохнув и повернувшись к Тягину.*) Давайте я позвоню вам завтра утром и вы сообщите мне свое решение.

Тягин молчит, курит, смотрит на набегающие волны.

Квартира Тягина. Утро.

Квартира Тягина — настоящая холостяцкая квартира, необжитая, нет и намека на уют, минимальный набор необходимых предметов.

В данный момент Тягин заканчивает утреннюю зарядку под бравурную музыку радиоточки, последние отжимания от пола. На письменном столе лежат фотографии, на которых Мария одна и вместе с Тягиным. Тягин встает и идет в ванную. Шум льющейся воды.

Звонит телефон, которого Тягин не слышит; стоит под душем.

Спустя некоторое время Тягин, одетый, сидит на кухне за столом и очищает яйца от скорлупы.

Опять звонит телефон. Тягин подходит, берет трубку.

Голос сотрудника по телефону. Доброе утро. Мы с вами вчера встречались...

Тягин. Да, я вас узнал.

Голос. И что вы решили?

Тягин. Я готов.

Голос. Отлично. Давайте сделаем так. Я знаю, где вы живете. Через два часа я буду ждать вас внизу в машине. Вам хватит двух часов?

Тягин. Вполне.

Голос. Тогда до встречи.

Короткие гудки. Тягин кладет трубку.

Спустя два часа Тягин выходит из подъезда и довольно быстро отыскивает черную "Волгу" — она стоит в сотне метров.

Тягин садится на заднее сидение.

Сотрудник. Итак...

Сотрудник лезет во внутренний карман пиджака и достает какие-то бумаги; оборачивается к Тягину.

Тягин останавливает его жестом и легонько похлопывает ладонью по плечу водителя. Водитель оборачивается к Тягину.

Тягин. Ты вот что, приятель, иди пока купи себе сигарет или газету. Водитель переводит вопросительный взгляд на сотрудника. Тот кивает. Водитель выходит и остается стоять на тротуаре рядом с машиной, спиной к ней, заложив руки в карманы брюк.

Сотрудник. Вы это напрасно — он глухой.

Тягин. Глухой водитель? Это что-то новое.

Сотрудник. Он очень хороший водитель. Проработал здесь много лет и... в общем, мы можем себе это позволить... Итак... Вот билет на самолет. Полетите до Багдада, а весь остальной путь придется проделать на автобусах. Вот специально выбранное, чтобы вам было удобнее, расписание автобусов. Вот название и адрес гостиницы, где вы можете остановиться. Гостиница, кажется, из паршивых, но...

Тягин. Я знаю эту гостиницу, я как-то прожил там два дня.

Сотрудник. Хотите, чтобы мы поменяли на другую?

Тягин. Да нет, пусть будет. У меня с нею связаны неплохие воспоминания.

Сотрудник. Так. Дальше... Вот ваши водительские права. Вы уже бывали американцем?..

Тягин. Приходилось.

Сотрудник. Ну вот, побудете еще раз. Вот ключи от машины и ее номер. Она будет стоять на стоянке возле гостиницы, серый "бьюик". Пистолет в машине. И вот еще что... У нас там есть свой человек, возможно, вы даже с ним сталкивались, он владелец автомастерской, мы пять лет держали его в консервации, но в связи с этими последними событиями решили ввести в дело. Он знает, когда вы прибудете, знает вашу машину, зовут его Виктор. Может, его помощь окажется нелишней...

Тягин. Я вас, кажется, об этом не просил.

Сотрудник. Нам показалось, что свежий человек... Но если не хотите, мы можем дать отбой...

Тягин (после некоторых раздумий). Ладно, пусть. Может быть, пригодится.

Сотрудник. Ну, вот, собственно, и все. Вылетаете сегодня ночью, машина у вас будет в половине второго. Счастливого пути, и до встречи.

Тягин засовывает переданные ему сотрудником бумаги во внутренний карман пиджака и выходит из машины. Все это время стоявший возле машины водитель садится за руль.

Тягин идет к своему подъезду. Его обгоняет черная "Волга" сотрудника и быстро исчезает из виду.

Комната в квартире Тягина. Ночь.

Тягин, одетый, готовый к отъезду, сидит на стуле, положив локти на колени и опустив голову; в правой руке у него теннисный мяч, который он сжимает-разжимает с частотой сердечного ритма. У ног Тягина стоит чемодан.

На письменном столе все так же лежат фотографии.

Тягин смотрит на свои наручные часы. Поднимается, бросает мячик на диван, собирает фотографии и прячет их в ящик стола, берет чемодан, окидывает равнодушным взглядом комнату и, достав из кармана пиджака ключи, идет к входной двери.

Спустя 18 часов

Видавший виды автобус подъезжает к небольшой двухэтажной гостинице. Среди прочих из автобуса выходит Тягин в шляпе, с чемоданом, с сигаретой в зубах. Он прикуривает и идет в гостиницу.

Небольшой грязноватый холл гостиницы.

Тягин подходит к стойке, ставит у ног чемодан. За стойкой молодой — лет 18-ти — араб-портье.

Тягин. Мне нужен номер. Почище.

Портье (ставя перед Тягиным пепельницу). Пожалуйста! У нас как раз утром освободился очень хороший номер — на втором этаже, налево, в конце коридора. Там есть вода! И вентилятор...

Вы надолго?

Тягин (выкладывая на стойку деньги и документы). Пока на сутки. А там посмотрим.

Портье (быстро подбирая и пряча деньги под стойку). А то у нас через три дня освобождается люкс — там есть душ.

Портье быстро что-то пишет в гостиничном журнале, потом, повернув его, пододвигает к Тягину и, крутанувшись вокруг своей оси, кладет на стойку ключ от номера.

Пока Тягин достает из внутреннего кармана пиджака ручку и расписывается, портье заглядывает в распахнутую дверь напротив стойки и подзывает кого-то ладонью.

Портье. Давай-давай, хватит спать, хватит!

В холл выскакивает мальчик лет 12-ти, подскакивает к стойке. Портье пальцем ему показывает на чемодан Тягина. Мальчик хватается тяжелой для него чемодан вначале одной рукой, потом обеими; застывает, отклонившись спиной назад, ожидая указаний.

Тягин (расписываясь, не поднимая головы). Не надо. Я сам.

Мальчик вопросительно глядит на портье.

Портье (отмахивая ладонью). Ладно, иди-иди...

Мальчик тут же не очень аккуратно опускает чемодан на пол и убеждает туда, откуда появился.

Расписавшись, Тягин гасит сигарету, берет чемодан и идет к лестнице.

Гостиничный номер Тягина.

Тягин по пояс голый, со спущенными подтяжками, моется над раковиной. Вытирается полотенцем.

Спустя некоторое время лежит на кровати, заложив руки за голову. Рядом работает вентилятор; открытое окно, из которого доносится пенье сверчков и цикад.

Глаза Тягина смыкаются, и ему начинает сниться тот же сон, что снился в самолете: какой-то срез ямы или окопа, по которому сбегает струйка песка; и опять этот звук норовит перейти в мучительные, невыносимые высокие частоты.

Тягин открывает глаза.

В дверном проеме, опираясь обеими руками на косяки, стоит жена консула — Мария. Стоит и улыбается.

Тягин. Мария?! Как ты здесь...

Тягин пытается приподняться, открывает глаза и... понимает, что все это ему приснилось — он все так же лежит на спине, заложив руки за голову; так же шумит вентилятор, так же поют за окном сверчки и цикады.

Тягин переворачивается на бок, тянется к раскрытому лежащему на

полу возле кровати чемодану; достает оттуда Библию; садится, раскрывает ее на истории Лота, Содомы и Гоморры.

Перед его глазами четко набранный текст.

Утро. Площадь перед гостиницей.

Из дверей гостиницы выходит Тягин и идет по направлению к стоянке автомобилей. По дороге он вытаскивает из внутреннего кармана пиджака бумажку с номером машины и выискивает глазами серый "бьюик".

Наконец он его находит, подходит, на ходу вытягивая из кармана ключи.

Но только он засовывает ключ в замок, как его окликает бегущий к нему араб — служащий стоянки.

Араб. Эй, мистер, мистер, это ваша машина?

Араб, натолкнувшись на довольно угрюмый взгляд Тягина, останавливается за несколько шагов от него.

Тягин (хмуро). Моя. Еще вопросы есть?

Араб (пожимая плечами, виновато). Извините, мистер, но я видел, как на этой машине приехал другой мистер...

Тягин. Он пригнал ее для меня. Еще вопросы есть?

Араб (пяясь). А-а, тогда все понятно, мистер, все понятно... Счастливого пути!

Тягин, провожая взглядом удаляющегося араба, распахивает дверцу и садится в машину, заводит мотор.

Какого-то еле слышного скрипа, едва заметного промелька в зеркале заднего вида достаточно Тягину для того, чтобы в долю секунды распахнуть бардачок, выхватить оттуда пистолет, передернуть затвор и упереться стволом в лоб неизвестному, возникшему у него за спиной, на заднем сиденье.

Так они некоторое время сидят, не шелохнувшись — некто лет до 30, модно одетый, с рок-н-рольной стрижкой, в темных очках, обливающийся от страха потом, и Тягин с наставленным в лоб неожиданному гостю стволом.

Тягин. Ну, что скажешь?

Неизвестный. Я — Виктор.

Тягин. Викторов много.

Виктор. Я тот самый. Это я пригнал сюда машину.

Тягин, поразмыслив, отводит и разряжает пистолет.

Тягин. Можешь считать, что ты сегодня второй раз родился.

Виктор. Я как раз тоже об этом подумал... (Вдруг начинает нервно смеяться.) А хороша была бы картинка: мои мозги, вылетающие через заднее стекло!.. (Смеется.) Ничего себе, пошутил, да?..

Тягин равнодушно смотрит на него в зеркальце заднего вида.

Салон "бьюика"; несколько минут спустя.

И Тягин, и Виктор сидят, откинувшись на спинки сидений. Оба смотрят сквозь пыльные стекла в сторону гостиницы. Там перед входом разыгрывается действие: молодой араб-портье, его двенадцатилетний помощник и сторож стоянки выпихивают из гостиницы какого-то человека; голосов их не слышно, но видно, что настроены они очень решительно. В руках у сторожа стоянки чемодан, он им размахивается и бросает его в сторону изгоняемого из гостиницы. Чемодан падает и от удара об землю раскрывается; из чемодана вываливается все его содержимое. Человек пытается все это собрать, но тут к нему подсказывает вся троица — портье, мальчик и сторож стоянки — и начинают бить его ногами.

Виктор (не отрываясь от зрелища). Ну, что будем делать, командир?

Тягин. Мне надо выпить.

Виктор. Прекрасно. Тогда едем ко мне.

Тягин. Куда?

Виктор. Я покажу.

Тягин выводит машину со стоянки, выезжает на трассу и, проехав с сотню метров, останавливается.

Тягин. Иди ты за руль. Я две ночи не спал. Засыпаю.

Тягин и Виктор меняются местами, и машина едет дальше.

Виктор. А что будем пить?

Тягин. Водку.

Машина мчится по трассе. Тягин на заднем сиденье; похоже, что он спит; очки сползли на переносицу.

Виктор. Водка — это хорошо. Меня ее отец научил пить. Он из эмигрантов. Пить один не мог. Вот сядет и меня зовет: давай, сынок, выпьем. Ну, давай... Он, значит, выпьет, и давай родину вспоминать, а он родом то ли из Брянска, то ли из Курска, то ли из Смоленска — который там у вас все время горел?..

Тягин (не открывая глаз). Смоленск.

Виктор. Вот, значит, из Смоленска... И вот он сядет, выпьет, и, вижу, вспоминает свой Смоленск. А мне что вспоминать?.. Мы столько стран поменяли... Ну вспомнишь, там, Южную Родезию какую-нибудь, Марокко, Аргентину... Эй, ну какого хрена?!.. (Последние слова обращены к полицейскому, который им приказывает свернуть на обочину.)

Полицейский. Там, впереди — авария.

Виктор. Ну и хрен с ней! Нам-то что до этого?

Виктор объезжает по обочине пробку, вырывает на трассу и дальше гонит на большой скорости.

Виктор. Ну, вот скажи ты мне на милость, какого черта они слезли со своих верблюдов? Что ни день — то авария... *(После паузы.)* Хотя, с другой стороны: у меня всегда есть работа... *(Помолчав.)* А как там вообще, в России?..

Тягин *(не открывая глаз)*. Нормально.

Спустя какое-то время они подъезжают к небольшому двухэтажному дому Виктора; на первом этаже мастерская и гараж; вход в квартиру сбоку по лестнице.

Тягин и Виктор выходят из машины и идут в дом. У Виктора в руках бумажный кулек с продуктами и выпивкой.

Они поднимаются по лестнице и входят в квартиру Виктора.

Виктор входит в комнату, ставит кулек на стол и выкладывает из него бутылки и продукты.

Виктор *(громко)*. Ки-ти! Прелесть моя! А ну-ка иди сюда!.. *(Объясняет Тягину.)* Это моя подружка. На редкость ленивое и медлительное создание... Ки-ти! Давай, мой ленивец, просыпайся!.. У нас гости!.. *(Тягину.)* Присаживайся... извини, забыл, как тебя...

Тягин. Пек. Роберт Пек.

Тягин закуривает и усаживается.

В дверном проеме появляется Кити; стоит босиком, упершись ладонями в косяки, почти так же, как стояла Мария в коротком сне Тягина; на ней блузка, джинсы, волосы собраны в хвост, лицо заспанное. Стоит, смотрит на Тягина.

Виктор. А вот и Кити! А вот это, Кити, мистер Роберт Пек, приехал из Штатов...

Кити. Зачем?

Виктор. Ну, по делам, естественно...

Кити. Интересно, какие могут быть дела в этой дыре кроме как чинить этим долбаным арабам их долбанные автомобили?..

Виктор. Послушай, перестань ругаться и задавать идиотские вопросы, займись лучше делом, приготовь что-нибудь...

Кити закуривает, подходит к столу, забирает кое-что из продуктов и уходит.

Спустя некоторое время все трое сидят за столом, выпивают и закусывают. Все это время Кити довольно заинтересованно поглядывает на Тягина, и Тягин это чувствует.

Виктор берет бутылку водки, чтобы разлить; подносит бутылку к рюмке Тягина; Тягин останавливает его жестом.

Тягин. Мне достаточно.

Виктор наливает себе и залпом выпивает.

Кити. А мне?

Виктор. Тебе тоже достаточно. Еще только 11 утра.

Кити. Свинья.

Виктор. Я, кажется, просил тебя не ругаться. Предупреждение второе и последнее, третьего не будет. *(Тягину.)* Кстати о свиньях! Не хочешь поесть свининки, Боб? Тут это связано с большими трудностями и интересными приключениями, поскольку свинина в этой стране под запретом. Здесь есть человек, который единственный держит свиней, где-то там чуть ли не в катакомбах. Меры конспирации — сумасшедшие. Мы тут с друзьями как-то решили сделать шашлычок из свинины...

Кити. В этой долбанутой дыре дурь купить проще, чем свинину.

Виктор как-то походя, вскользь, между делом, но довольно сильно бьет Кити по лицу и тут же с улыбкой поворачивается к Тягину.

Виктор. ...Но мы столкнулись с такой системой конспирации, какие-то пароли, отзывы, проверки документов... в общем, мы так до самой свинины и не добрались...

В это время Кити шумно отодвигает от себя свою посуду и выходит из комнаты. Тягин внимательно следит за ее перемещениями.

Когда она выходит из комнаты, Тягин обращается к Виктору.

Тягин. Ты мне сегодня понадобишься. Больше не пей.

Виктор. Пожалуйста, Боб. Я сегодня вообще выходной.

Тягин. И еще. Ты мог бы, хотя бы при мне, не бить баб...

Виктор *(помолчав, почесав кончик носа)*. Хорошо, Боб. Хорошо. Но ты знаешь, в чем дело?.. Она это любит. Поверь мне. И они все это любят. Для них это как успокоительная таблетка. Вот ты увидишь, она сейчас придет веселая, как ни в чем не бывало... Но если ты против — все. При тебе не буду. Ну так что, Боб, может, сгоняем сегодня вечером за свининкой? Может, с тобой у нас получится? Ты, я вижу, мужик что надо. А то я, честно говоря, стосковался...

В комнату, заложив руки за спину, входит улыбающаяся Кити.

Кити *(весело)*. Ну что, алкоголики, за свининой собрались?..

Виктор (показывая рукой на Кити, Тягину). Ну, что я тебе говорил, Боб!.. Бодра, весела... (Кити.) Ну, иди ко мне, мой ленивчик... Ты меня уже простила?..

Кити с выражением застенчивости на лице, потупив взгляд, подходит к Виктору и вдруг, размахнувшись, что есть силы бьет Виктора пустой бутылкой по голове.

Бутылка разлетается вдребезги.

Кити (кричит). Получи, тварь!!!

Виктор (хватаясь руками за голову). Ах ты, сука!..

Виктор бросается на Кити, и они, сцепившись, падают на пол.

Виктор (кричит). Я же убью тебя, сучка! Я же тебя сейчас прикончу, гадина!!!

Кити визжит, сцепившись с Виктором в волосы.

Тягин бросается к ним разнимать. У него это плохо получается — Виктор и Кити сплошной клубок. Наконец он ухватывает и ее, и его за грудки, неимоверным усилием разрывает и резким движением раскидывает по противоположным углам комнаты.

Тягин. Встать!

Виктор и Кити послушно поднимаются, почти одинаково тыльными сторонами ладони утирают носы. В какую-то минуту, кажется, решаются опять броситься друг на друга...

Тягин (громко). Стоять!

Тягин стоит согнувшись, упершись ладонями в колени, тяжело дышит. Потом выпрямляется, подходит к столу, наливает себе водки, выпивает, ставит рюмку на стол.

Тягин (Виктору). Поехали.

Улица города. День.

В припаркованной у тротуара машине Тягина сидят Тягин и Виктор. Тягин напряженно глядит на дом напротив, курит.

Виктор. И где я только ни работал: и коммивояжером, и в театре, и напарником у карточного шулера, и собачек каких-то выгуливал... Какой только херней не занимался...

Тягин (не отрываясь от дома напротив). Все. Давай, иди. Сразу как войдешь, дверь налево. Там живет пожилая пара. Откроет он. Скажешь, что у тебя есть несколько старинных книг, им необходим ремонт, порекомендовал его тебе некто Ричард — запомнишь?.. В квартиру он тебя не пустит, но постарайся поговорить с ним подольше, как можно дольше... Все понятно?

Давай.

Виктор. Я же тебе только что говорил, что работал коммивояжером, у меня железная хватка, я ему так зубы заговорю...

Виктор выходит из машины и, сунув руки в карманы брюк, развинченной походкой переходит улицу и исчезает в подъезде.

Тягин весь внимание: он смотрит по сторонам и заглядывает время от времени в зеркальце заднего вида, но больше всего его внимание занимает подъезд, в котором исчез Виктор.

Виктор появляется довольно быстро. Он подходит к машине с недоуменным лицом. Садится в машину.

Виктор. Ты был прав, Боб. Он меня не впустил, сказал, что больше этим не занимается, и закрыл перед моим носом дверь.

Тягин заводит машину.

Тягин. Ладно. Теперь я пойду. Будь готов к тому, чтобы как только я сяду, рвануть отсюда.

Виктор. Отлично! И — за свининой!

Тягин выходит и идет через улицу. Виктор становится возле машины, прислонившись к ней, смотрит на окна напротив на первом этаже.

Подъезд.

Тягин звонит в дверь. Ему открывает пожилой человек с усталым лицом.

Человек. Ты?

Тягин. Я.

Не спрашивая разрешения, Тягин входит в квартиру, планировка которой ему, по всей видимости, знакома, проходит в гостиную.

В гостиной на диване сидит пожилая неряшливо одетая женщина с растрепанными волосами. Она испуганно глядит на вошедшего Тягина. По левую руку от женщины на полу гора изорванных, исковерканных книг и страниц.

Следом за Тягиным в комнату входит хозяин.

Хозяин. Ты же уехал. Зачем ты опять здесь?

Тягин. Дела. Ну?.. Что тут у вас происходит?

Хозяин. Ты о чем?

Тягин. О том, что тут у вас происходит.

Хозяин. Я ничего не знаю.

Хозяин отворачивается и глядит в окно. За окном, на другой стороне, стоит, прислонившись к автомобилю и скрестив руки на груди, Виктор.

Хозяин (пожимая плечами). Я ничего не знаю.

Тягин. Врешь.

В это время жена хозяина протягивает к мужу руку.

Жена. Дай мне, дай мне, дай, дай, дай мне, дай...

Хозяин, почти не глядя, берет со стопки книг на комодке одну книгу и протягивает ее жене. Жена жадно хватается книгу и начинает с остервенением своими длинными и острыми ногтями рвать ее; она даже рычит от удовольствия.

Тягин. Ну, так что?

Хозяин опять смотрит в окно.

Хозяин. Я ничего не знаю.

Тягин. Ты все прекрасно знаешь. Во всяком случае — многое. Я это чувствую. Я это знаю. Я знаю, что ты хочешь, чтобы тебя оставили в покое, но я знаю, что твой покой обернется большим беспокойством для очень многих других, для их жен и детей, которые сейчас висят на волоске, и мне приходится выбирать. Поверь, это нелегкий выбор для меня, но я его уже сделал...

В это время жена хозяина с резким криком швыряет изуродованную, исполосованную ногтями книгу в Тягина. Тягин ее ловит и отшвыривает в кучу таких же изуродованных книг.

Жена хозяина (протягивая трясущуюся руку то к мужу, то к Тягину; умоляет, но и с некоторой угрозой). Дай мне, дай мне, дай, дай, дай, дай, дай, дай...

Тягин (поднимается и идет к дверям). В общем, давай сделаем так: я дам тебе подумать и приду к тебе завтра... и, надеюсь, что ты примешь верное решение... Договорились?

Они подходят к дверям.

Хозяин. Договорились. Прощай.

Тягин. До свидания. До завтра.

Тягин выходит.

Хозяин некоторое время смотрит ему вслед и захлопывает дверь.

Тягин выходит из подъезда.

Все это время простоявший у машины Виктор, увидев его, садится за руль. Тягин садится рядом.

Виктор. Теперь куда?

Тягин. Прямо.

Машина трогается с места.

Виктор. Далеко?

Тягин. Нет.

Виктор. Странный мужик этот переплетчик, да?..

Тягин. Кто сказал тебе, что он переплетчик?

Виктор. Как кто? Ты сказал...

Тягин. Я этого не говорил.

Виктор. Ну, значит, я это придумал...

Тягин. Сейчас направо.

Виктор сворачивает направо.

Виктор. Ну, а кто он?

Тягин. Реставратор.

Виктор. Какая разница?..

Машина Тягина останавливается у тротуара.

Тягин. Сейчас выйдешь, войдешь вон в ту (показывает) подворотню, выкуришь там сигарету и возвращайся. Давай.

Виктор. Я не курю.

Тягин достает сигарету, прикуривает ее и протягивает Виктору.

Тягин. На. Дождешься, когда она догорит, и возвращайся.

Виктор (распахивая дверь, выходя, ворчит). Нет чтобы пострелять, уйти от погони... — иди поддержи сигарету... очень серьезное задание... может быть, еще двор подмести... Вот всегда...

Тягин. Иди.

Когда Виктор уходит, Тягин пересаживается на его место за рулем и опять внимательно осматривает во все стороны улицу.



Театральное межсезонье

Не хлебом единым

Однажды за завтраком режиссер Халявкин, чувствуя творческий зуд и слабеющий интерес зрителей, задумывает поставить нечто эпохальное.

...В преддверии великого поста, перелопатив груды литературной макулатуры, он выбирает остросюжетную пьесу "Крошки", нечто вроде комедии с трагическим концом. Сюжет пьесы незамысловатый, но беспроигрышный: у честного до неприличия директора элеватора Цуркана большие неприятности. Он состоит в интимной связи с резвой не по годам кладовщицей Ниной, однако тайком подкармливает шалунью из санэпидстанции Зину. На дармовых хлебах Зина пухнет не по дням а по часам, становясь все шаловливее. Завистливая Нина влюблена в Цуркана и давно не прочь прибрать к рукам эту сладкую булку, набитую деньгами. Узнав об интрижке с Зиной, она скармливает годовой запас зерна молодым воронам...

Зритель с самой изощренной и необузданной фантазией не может представить себе все лихо закрученные трюки, которые ожидают его в этой постановке. Режиссера носит как на качелях: от мелодрамы к трагифарсу, от комедии положений к трагедии характеров.

Герои пьесы смеются, интригуют, много и охотно раздеваются, прежде чем затолкать друг друга локтями... В предыдущих постановках Халявкин всегда удивлял даже искушенного зрителя невероятными фантазиями и беспредельной раскрепощенностью. Невозможно себе представить более плодovitого режиссера, штампующего блистательные постановки одну за другой. Его спектакли никого не оставляют равнодушными, вызывая недоуменные вопросы и горячие споры у искушенных театралов, а такие постановки, как "Зима и лето", "Весна и осень", "Межсезонье" благодаря обширным связям режиссера вошли в золотой фонд ТВ.

И на этот раз его неукротимая энергия ищет выход... И находит.

Вспомнив фразу Островского из комедии "Без вины виноватые" — "Мы артисты, наше место в буфете", — он отказывается от традиционной коробки сцены. Контакт зрителей и актеров, так называемая "точка соприкосновения", происходит в буфете, во время антракта. Зритель как бы втягивается в действие, становясь соучастником различных недоразумений, происходящих в спектакле. Он воспринимает малую сцену буфетно-

го пространства как некий уютный домашний мирок с неизменными атрибутами — диван, стакан, бутерброд, телевизор...

Для полноты ощущений репетиции решено перенести на территорию местного элеватора.

Непрерывно меняя декорации, режиссер кипит в творческом экстазе, отрываясь лишь на завтрак, обед, ужин и роман с актрисой, играющей Зину.

...В ходе репетиций Цуркан делает попытку за попыткой постигнуть глубину женской логики героини и построения между ними человеческих отношений через мужское лицо.

...Зина и Нина стараются отпихнуть друг друга локтями, борясь за вечное бабье счастье...

...Роли молодых воронов талантливо и выпукло репетируют грузчики близлежащего склада.

Но вот изматывающие репетиции подходят к концу и спектакль готов.

Премьера! Все волнуются!

Бутерброды нарезаны, зрители по контрамаркам собраны. Зал наполовину полон...

Цуркан в волнении доучивает слова, сбиваясь на шекспировского Петруччо, роль которого он когда-то исполнял. Режиссер доторговывается с руководством театра о размере гонорара. Молодое воронье допивает ящик пива.

Звучит третий звонок...

После каскада умопомрачительных трюков и буфетных шуток волна рукоплесканий, доходящих до рукоприкладства, катится по залу.

— Шампанского! Шампанского! — требует взыскательная публика, подтверждая успех свистом и топотом.

— Чур без меня! — уносит ноги Халявкин, сжимая в руке гонорар и набрасывая в уме картину следующей постановки — игрищ с песнями и танцами к пасхе.

Записки на тумбочке

Любимый, ненаглядный мой Петенька!

Полна впечатлений от нашей вчерашней свадьбы. Ты был неотразим — в строгом черном костюме и с рыжими кудрями, которые я так люблю гладить.

Не стала тебя будить, ты так сладко посапываешь, а мне пора в театр на репетицию. Не спи долго — сессия на носу. Вместо зарядки можешь пропылесосить ковры — твоей молодой женушке будет приятно. Суп в кастрюльке, в маминой сумке, в прихожей. Рубашки там же, в чемодане.

Не скучай. Смотри свадебные фотографии. Буду поздно.
Целую бесконечно. Люблю.

Твоя половинка

P.S. Деньги, что нам подарили, — пересчитала и беру с собой, так надежней.

Драгоценный мой Петушок!

Худсовет утвердил меня на роль Лолиты. Ставить будет молодой, но, говорят, талантливый Галин.

Пойти к твоим родителям не могу, вживаюсь в образ. Иди без меня, заодно захвати рубашки, пусть мама простирнет. Неужели тебе трудно стряхнуть пыль с мебели хотя бы раз в неделю? Суп в холодильнике, сметана в супермаркете, там же картошка, хлеб и фрукты. Ложись без меня. У нас после спектакля — капустник.

Люблю. Скучаю.

Анечка

P.S. Кстати, сколько ты получаешь? Если это те жалкие гроши, что ты оставляешь в тумбочке, то не поменять ли тебе работу?

Петруша, дорогой!

Получила твои фотографии по электронной почте. Ты так изменился, возмужал, только очень худой. Если тебе надоел холодный суп, попроси разогреть соседку Галю, все-таки не чужой для нас человек.

Критики хвалят мою Катерину в "Грозе", хотя обстановка в театре сложная — зависть, интриги. Надо все время держать руку на пульсе. Недавно Лукина съездила домой покормить детей, Галин тут же отдал ее роль молодой стажерке. Ты стал реже писать, откуда такое невнимание к жене?

Обнимаю. Аннушка

P.S. Денег в тумбочке все равно не хватает, почему бы тебе не подработать где-нибудь?

Милый Петя!

Гастролируем по Карелии, затем Сибирь и Дальний Восток. В этом году вряд ли попаду домой. Не скучай. Я оставила тебе свои фотографии. Перед отъездом нашла на тумбочке валерьянку — это твои капли или мама заходила прибраться?

Кстати, тебя видели с соседкой в зоопарке. Это что — культпоход за несколько тарелок супа? Я бы ей не доверяла, все-таки чужой человек.

Твоя Аня

Петя!

С Новым годом тебя!

Репетирую круглосуточно, хотя скачет давление и мучает подагра. Лукина интригует, пытаюсь забрать у меня роль Раневской, но ее частые отлучки настораживают худсовет. Во дворе столкнулась с соседкой, от которой узнала о тебе много нового. Ты, оказывается, защитился! А где деньги, которые тебе должны доплачивать за звание? Пока мы разговаривали, эта маленькая рыжая бестия с кудряшками, соседская дочка, совсем меня замучила — дергала за рукав и выпрашивала конфету. Дети меня утомляют, хотя роль учительницы Степановой, по признанию зрителей, одна из лучших в моем репертуаре.

Кстати, твоя мама стала плохо гладить рубашки, сделай ей замечание.

Аня

P.S. Нашла в тумбочке две одинаковые пачки денег, забираю обе.

Петр!

Как быстро летит время! Вчера случайно увидела тебя по телевизору. Боже! Куда делась рыжая шевелюра? Тебя представили как доктора наук, профессора. Почему не пригласил на банкет? Впрочем, вряд ли нашлось бы время, роль королевы матери забирает все силы. Театр практически держится на мне. Галин забронзовел, получил народного и уехал преподавать в Америку.

Мне достали хорошее лекарство от склероза, одну упаковку оставляю тебе.

Анна

P.S. Не нашла твой подарок на мой день рождения, поставь на видное место.

Уважаемая Анна Николаевна!

Мама больше не смогла гладить мои рубашки из-за возраста, поэтому я по привычке обратился к нашей соседке, у которой и проживаю, ведь я так привык к горячему супчику. Мат. помощь в тумбочке значительно уменьшена в связи с выходом на пенсию. Извини за неразборчивый почерк, внучка дергает за рукав и лезет на колени. Ковер в гостиной протерся, и я его выбросил. Буду заходить, поливать цветы.

Бывший муж Петр Иванович

P.S. Недавно были в театре, где смотрели Горького — вы замечательно сыграли старуху Изергиль.

Почитательница вашего таланта соседка Галя

ПОЭЗИЯ

Илья РЕЙДЕРМАН
У моря жить, у моря умереть... .181

Анатолій ГЛУЩАК
Вірші без назв .188

Анатолий ГЛАНЦ
Вот такой я теперь... .196

Ирина БЕНЬКОВСКАЯ
Гавана .206

Алена ЩЕРБАКОВА
В сторону -от- .209

Алена БЕЛЯКОВА
Звезда .213

Илья РЕЙДЕРМАН

У моря жить, у моря умереть...

Мой город

"...на выученный наизусть бульвар..."

Иосиф БРОДСКИЙ

Да, выученный наизусть бульвар.
Гуляй с женою, тещею, детьми.
Морской вокзал, гостиницы кошмар
и море, что уморено людьми.
Вдруг понимаешь, как тоскует Дюк,
что повернулся к городу спиной.
Должно быть, знает он, какой уют
прошелся и разгладил лик живой —
чтоб иностранец никаких морщин
не видел! Чтобы лживо-молодым
был город, взглядом бодрым и пустым
глядел, почти дремля под шорох шин.
Мой город — как корабль, что сел на грунт.
Шумят, орут — да только не плывут.
В нем нынче быть талантливым — не фунт
изюма. В нем заметней — те, кто врут.
...Позорно молод город, сам ты — стар.
Шагай и от раздумий сатаней.
Да, выученный наизусть бульвар.
С кем говорить? О, без родных теней,
что в старых прячутся еще домах,
что в памяти, в истории, в судьбе,
без тех, кто, даже превратившись в прах,
живей иных, хохочущих в толпе, —
без них и вовсе жизнь была бы пресной.
Мы с ними дышим воздухом одним,
с великими — и с вовсе неизвестной
особой, что присутствием своим
окрасила мой город странной дымкой,
живым и теплым сделала его.

Поговорю я с этой невидимкой,
 чтоб скрасить пошлой жизни торжество.
 Мать позову, ее друзей, подруг
 (и Ойстрах — среди них!). Как молод каждый!
 И вновь услышу этой скрипки звук.
 И задохнусь от радости, от жажды,
 от воли и нахлынувшей волны,
 от жизни, что ушла — да не исчезла.
 Мой город спит — и видит эти сны.
 В полночных залах — рукоплещут кресла.
 И в воздухе ночном — восторг и хмель.
 И жизнь кипит. И вдохновенье хлещет.
 Мой город спит. Тесна ему постель.
 Он руки разметал. И море плещет.
 Мой город, все тебе прощу грехи я.
 Пусть держит Дюк святого свитка медь,
 пускай шумит свободная стихия.
 У моря жить. У моря умереть.

Евгению Голубовскому

О, сколько самообладания
 у лошадей простого звания,
 не обращающих внимания
 на трудности существования.

Анатолий ФИОЛЕТОВ

Есть Багрицкий и есть Фиолетов...
 Сколько в радуге разных цветов!
 Яркой краскою метит поэтов
 этот лучший из всех городов.
 Здесь поэт — непременно художник.
 Как он краски бросает, злодей!
 Из острога сбежавший острожник,
 упоенный свободой своей.
 Как он любит неосторожно,
 как он неосторожно живет!

Невозможное — все же возможно.
 Чистый цвет нам дарит небосвод.
 Эти краски — из райского сада,
 те, какими их выдумал Бог.
 И такое неистовство взгляда —
 позавидует даже Ван Гог!
 Разве нет уже этих поэтов?
 Разве слову цветному — конец?
 Ночью неба клочок — фиолетов,
 а деревья — одеты в багрец.
 Ну а нынешние, молодые?
 Я готов им простить все грехи —
 пусть берут псевдонимы цветные,
 чтобы радугой были стихи!
 Жизнь, быть может, излишне сурова,
 да и город — как будто не тот,
 но основа всего — это слово,
 что сияет с небесных высот.
 Только выдохни воздух из легких —
 чтобы шарик воздушный взлетел.
 Может, дело — не очень из легких,
 ну да что же — таков наш удел.
 Ношу, лошадь, вези, хоть крылата, —
 пусть устала и сил маловато...
 Ну а трудности существования
 в самом деле — не стоят вниманья.

* * *

Шумит волна, сама собой полна.
 Ни радостна она и ни печальна.
 Она, должно быть, просто изначальна,
 как небо, камни, степь и тишина.
 Кто, с берега шагнув, ее встречал
 всем существом своим, всей кожей, телом,
 тот прикасался к воле тех начал
 и становился хоть на миг — да целым,
 не придорожным камнем, не песчинкой,

не тем, кто затоскует, одинок,
а мира, моря дорогой кровинкой,
его, хоть он и мал, — увидит Бог.
О, нежное прикосновение влаги,
ладонь, что поднимает и несет.
Вручи себя волне, ее отваге,
как лодка, снявшись с якоря забот.
И вдруг поймешь: заботы так нелепы,
а жизнь — всегда самоотдача, риск,
когда волна тебя вздымает в небо,
и радуга — среди соленых брызг.

Лиман

Пустынный берег. Жесткая трава,
колючки, камни, да кустарник чахлый
с цветами желтыми, что сладко пахли,
и неба выцветшая синева...
И кажется: остановилось время,
и можно сбросить этот тяжкий груз,
всегда нам докучающее бремя,
и с вечностью немой вступить в союз.
Она нас обнимает, нежит, лечит
и укачает, словно колыбель.
О ней стрекочет без конца кузнечик.
Каким далеким кажется отсель
все то, что за спиной! Вот муравей
задумался: правей или левей?
Назад ли повернуть? А может — прямо?
Бедняга заблудился. Вот где — драма.
Ах, нужно ль что-нибудь еще? Покой —
как будто Бог коснулся нас рукой,
и эта — на плече — его рука,
как лето ласкова, как облака легка...

* * *

Большой Фонтан. Не вижу я фонтана
нигде... Лишь с хлоркою — вода из крана,
да грязная соленая вода.
Фонтана нет — и не сыскать следа.
Но это, право, вовсе не беда —
лишь имя назови, произнеси лишь имя...
Фонтан бьет в небо! Как вода чиста!
И радуга стоит во влажном дыме.
И детство, улетаая словно птица,
все время возвращается назад,
в который раз даря прощальный взгляд.
Гляди же, как дитя! Тебе не снится
весь этот мир. И солнце. И песок.
Тринадцатая станция Фонтана.
И камешек, попавший под висок,
и радость, что как море — неустанна.
Старик, в тебе дитя — смеется, плачет
и с пирса прыгает вниз головой.
И жизни путь — как будто только начат.
И бьет фонтан. И ты еще живой.

* * *

Здесь раньше был "Два Карла" — кабачок.
Какой-нибудь последний дурачок,
быть может, думал: всякий Карл — велик.
Но тот, считавшийся великим, сник,
а с ним его соратники лихие.
Иные наступили времена.
И улицы — сменили имена,
и вывески повесили другие.
История, как дворник, что метлой
сметает грубо прошлое долой,
но мы-то разве все уже забыли?
Здесь кабачок "Два Карла", здесь мы пили.
История — как мусорный бачок,
в котором мы и этот кабачок,
и молодость, и мысли, и прозренья?..

Нет, длится все... Обман ли это зренья,
способность видеть то, чего уж нет?
Воображенье? Стариковский бред?
Ах, в самом деле, понимает город
совсем не тот, кто беспредельно молод, —
тот, кто дополнит видимую часть
невидимым, не даст ему пропасть.
Вот плоскость зримого — а вот объем
того, что мы зовем житьем-бытьем,
работою, беседой, развлечением...
Вот город, ставший счастьем и мученьем.

* * *

"В Одессе нет поэтов или есть?" —
звучит вопрос на языке одесском.
Конечно, есть, — да нужно их прочесть
и в этой жизни не считать довеском.
Неужто же спортсмен иль депутат
нужней того, кто в жизни верит чуду?
Политики поэтам ставят мат.
Не оттого ли — мат звучит повсюду?
Поэт в Одессе больше чем поэт,
поскольку солнца жар и моря буйство,
фантазии неугомонной бред,
влюбленности и южный градус чувства —
все он в себе вмещает — вопреки
господству прозы, трезвого расчета.
Так захмелейте от его строки,
припомните забывшееся что-то...
Поэзия — как солнечный удар.
Бойтесь солнца — так наденьте шляпы.
В стихотворенье — мир дается в дар,
он свеж и чист. В нем небо, море, крабы.
В нем водорослей запах, ночи, дни,
все то, что было, да сегодня сплыло,
прекраснейшего города огни,
и разговоры до седьмого пыла...

"Поэтов есть в Одессе или нет?"
Поэт всегда, конечно, под вопросом.
Упорствуя, он будет голым, босым,
рифмуя мир. В его стихах — ответ.
Ему для рифмы нужен ты, читатель,
ведь без тебя строка — не так звучит...
А спонсор где? Издатель? Покупатель
книжонки тощей, что лежит-молчит?
Все, что дает тебе поэт, — прими.
Жизнь, что не в рифму, — просто нездорова.
И этот стих — как дыню разломи,
вкушая сладость радостного слова.



Вірші без назв

* * *

Шукало жилу джерело
З пільми до світла.
Значило зморшкою чоло
Магічне титло.

Хилила спрага до води,
Як до ікони...
Немає щастя назавжди, —
Воно зникне.

Вже оджили мої батьки,
Мовчать могили.
Прощає доля напрошки
До крутосхилу...

Вже друзів реєстровий кіш
На тогосвітті, —
Чи звідти наше їм видніш
Духовне сміття?

Я помолюсь живій воді,
Між тіней щезну,
Щоб на Останньому суді
Мовчати чесно.

* * *

Серед ночі, серед саду,
В тихе лоно споришу
Я знемогу і досаду
Ніби попіл розтрушу.

Серед ранку, серед шляху,
Там, де колії різьба,

Анатолій ГЛУЩАК

Виточу гноївку страху,
Вирву неміч, як чопа.

Серед річки, серед виру,
Плином дужої води
Змию розпач і зневіру,
Леп обмов і ворожди.

Серед степу, серед жита,
Мов нетяга-скоморох,
Із мосяжу і блакиту
День поставлю, як чертог.

Я цю днину, як родину —
Нерозгадну і святу —
Не забуду до загибелі:
Нині в лісовім спряту
Буде папороть в цвіту.

* * *

**Пам'яті поета Бориса Нечерди
(11.07.1939 — 11.01.2000)**

Скільки б ми не кликали: — Борис! —
Він мовчить, в наш бік він ані глипне.
В кому ти найбільше обдуривсь? —
Саме в січні, а можливо, в липні.

Сон Андрія, грішний Божий вин:
З кола сущих в небо первозданний.
В пеклі ти раюєш сам-один
Чи в раю пекельний каторжанин?!

Ми дурна і сита череда, —
Хто її на стогнах стане пасти?!
Словом нас батожить Нечерда,
Бо "Остання книга" —
як хрипливе "Баста..."

* * *

Зелені свята,
П'ята ранку.
Я кум лиману й журавлю:
Вже на усіх щаблях світанку
Співає птаство, як в раю.

З отавиці дух узбережжя
П'є небо, випране в росі.
Налите соком, як черешня,
Зіходить сонце у красі.

Копичка човнов'я туману
З-за очерету постає.
Зозуля зтогодіч лиману
Щедотно й весело кує.

Медово пахне цвіт акацій.
Зелом заклечана земля.
І пору літніх медитацій
Вістує баритон джмеля.

В дообрійному супокої
Прочанські постаті маслин.
І пахнуть Божою полою
Чебрець, катран, спориш, полин.

* * *

Зозуля закувала над лиманом,
У срібнолисті ноєвих маслин.
І у душі озвалася мембрана, —
Чутка, як мальва, тиха, мов полин.

Кує! кує!.. Сплітає в парні брості
Луну і згуки коливного "ку".
І веселково зацвітає простір
Та сонце у оливковім вінку.

Вже сорок нот вітального регістру!
Не затихає золота сурма.
Та раптом глухну в гromі благовісту:
Від лютого вже матері нема...

* * *

Доля — це ланцюг чи павутина?
Божий дар чи випроба земна?
Це капкан хмільного самочину
Чи відповідальності струна?

Доля відсікає балансири,
Лонжі запобіжні відстіба
І веде над прірвою, настира,
Хоч у спину тюкає юрба.

Доля — невсипуща охорона.
Тільки все у неї самохить:
То зіграє у очко з Хароном,
То для Мойри підпрядає нить.

Доля — це життя тривка неволя,
Звідки не спасешся, не втечеш.
Тож терплю спасенну радість болю
І пекельні миті щастя — теж.

Доля — вік на прощу йти до храму.
Це путівець крізь чіпкі терни.
Доля — пам'ять зболена про маму,
Це тягар синівської вини.

Доля каже: — Я тебе покину!
Доля щедра: — Ми одна сім'я.
В неї аж до краю, до загину
Відробляю хліб поденно я.

* * *

Що за пізнім вікном? —
Ліхтарі чи тополі
Нерозгаданим сном
Стали поперек долі.

Що на пізнім столі? —
Чистий аркуш тривоги.
У словесній золі
Чадно тліє епоха.

Що в цій пізній зимі? —
Страм посміття і снігу,
Вкляклі зорі сумні,
Мовби кільчики сміху..

Що на пізній душі? —
Каяття запізніле,
Бо скипілись в іржі
Гніву праведні стріли.

Пізній вік, пізній час...
В посполитім запіллі
Вопіючого глас:
— Божевілля!..

* * *

Де гострити серпа,
Аби впорати музі лужок?
Ніби куля сліпа,
Наздогнав незбагненний рядок.

Запеклась ще одна
З невідмолених віршами стигм.
І затихла луна,
На яку я озватись не встиг.

Не загоїть трава
Ні нових, ні за давнених ран...
Почужіли слова
На погибель мою і на страм.

Чую музи прокльон;
Не зайнявся останній сірник.
І — немов стадіон —
Охнув тисячоусто словник.

* * *

Ви — у четі. А я — в лишці.
Пхнете ліктем і плечем,
Щоб не мав під сонцем місця,
Ані волі — під дощем.

Ви на каяття безплідні...
У плащах нечистоти
І мені, і моїм злидням
Ладні затискать роти.

Вам молитву і спокуту
Замінили бариші, —
Ви зло-дійства каламуту
Легко носите в душі.

Чет — у вас. У мене — лишка.
Збиті в зграю, як вовки.
Герб зладнали: хижий вискал,
Гріш і вила-трійчаки.

Ні вагання, ані стиду
В ницім капоснім гурті.
Тож губіть мою планиду —
Розпинайте на хресті!

* * *

Тарасові Федюку

Печаль і гнів. Печаль і гнів. —
Недуга пристрастей гріховна,
Але було б життя несповна,
Якби позбутись їх зумів.

Не бачиш дня. Бракує слів.
Окріп сльози і скрип зубовний...
А спокій нині бездуховний,
Він розчахне тебе напів...

То разом — розум і душа.
То глузд і серце — насупроти,
Мов струни, рвуться поводи,

Вогнем займається межа!
Печаль розвиднює темноти.
А гнів — щось палить назавжди.

* * *

Лірика — це ласощі дівчат.
А жінкам смакує тісто прози.
Соняхи.
Між золотих свічад
Наших тіней розпашіла бронза.

Я звільняв од патини одеж
Паморочливо-п'янкі тотеми.
І на місячну антенну креш
Кожну ніч записував поеми.

Ні, не переміг біблійний жанр:
Вигнання — винагорода раю,
Де гріхом запилений нектар...
Цноти плід, він, ах! не дозріває.

Знову я самотній — восени.
Може й ти, кохана, — одиниця?..
З-за щита вини і таїни
В соняхове люстро озирнися.

* * *

І реклам жорстка потала,
І об'яв азарт, —
Щоб людина не проспала
25-й кадр.

Перемога і поразка
Разом йдуть на старт,
Фотофінішу фіаско —
25-й кадр.

Щедрував моє кохання
Найповніша з кварт!
Глядь: вже й крапелька остання...
25-й кадр?!

Тим — кар'єри, цим галери... —
Кожен чогось варт.
А чи бачить сліпий жереб
25-й кадр?..

Марнославство і гординя
Водять карнавал.
А без маски — хто людина?..
25-й кадр!

Роки нижуться на чотки.
Довга нитка ватр...
А життя — воно коротке:
25-й кадр.

Вот такой я теперь...

Буриме

Летело три птицы. Вдруг видит — капуста.
От голода болью свернуло крыло.
Три птицы сказало: "Послушай, как вкусно!".
Сказало и тут же втроем умерло.

Памяти Чехова

Написано в соавторстве
с Игорем Павловым

Зимой у Гамсуна был кнут.
Он им лупил детей.
А Вальтер был изрядный скот,
чем развлекал людей.

А Грибоедов Александр
со скуки в Персию подался.
Там цвел столетний олеандр.
И Лев с Толстым не раз встречался.

Еврейские рекомендации

1. Евреи маленького роста,
придерживайтесь правил ГОСТа!
2. Евреи изо всех возможных мест!
Вы все должны нести свой Южный Крест.

Пазолини

пазолини, пазолини,
ты похож на в поле дыни
в желто-синем керосине
проплывает стадо вшей
на губах синее иней
говорил мне старший Плиний:
пазолини пазолини
ты шумишь на мандолине
как какой-нибудь Орфей

как какой-нибудь Тарквиний
в заваливающей на витрине
колбасе находит пищу
а в окне находит вид
как в реке находят птицу
как в свинье находят влагу
как в носу находят фигу
а в желудке дифтерит

пазолини пазолини
в золоченой тонкой тине
как в натруженной перине
проплывает стадо жил
углекислой толстой Нине
протянул ладони линий
кислородной пелерине
ты обязан тем что жил

В белье твоей корзине
скачут птицы. Балерине,
обернувшейся к витрине,
ты предложишь подождать.
Балерина пышет пачкой.
Бабушка в деревне прачкой.
А она не будь гордячкой
В пачке жар и благодать.

Запахло

Запахло лифчиком созвездий,
Сырым лимоном падших сфер,
замшелой правдою известий, —
я прискакал в СССР.

Иногда

Мы ехали в поезде в Нижний Манхеттен
Из Бруклина прямо сюда.
Обильные груди склонились над книгой —
Зачем? Почему? Иногда.
Оперлись о коврик роскошные ноги.
О чем эта книга? О всем.
Листает страницы по ходу дороги
Веселый, здоровый Гудзон.

Соловей

Назым Хикметом курдский соловей
Влетел в мечеть на поиски гороха

Вечером

Ночник чиновника Чернова
Не застрахован от чувих
Приходит Настя Шелунцова
В прозрачных кофточках одних
Заходит ящер дядя Саша.
Его в очках старинный вид
Напоминает простоквашу,
В которую коньяк налит.

Вот такой я теперь

Обоняю творог и покой
Отнимаю зурну у акына
Отворяю ворота ногой.
Не скучаю за верным плечом
Отмечаю конвойную сладость
Отвергаю промокший арахис
Отпевая себя на убой
Вот такой я теперь, вот такой.

Над рюмкой

Отделенный от мира болезнью прозрачной
Я повис в ресторане над рюмкой коньячной

Товарищ

Отчасти герб, отчасти крестик,
передовик и дровосек,
он друг и брат, он мой ровесник,
он ришельевский человек.

Много

Сотни роз и левкоев.
Я тебя не виню.
Много разных изгоев
на твоей авеню

Сказка про дождик

Расскажу тебе я сказку
(Я тогда еще не пил),
как однажды дядя Фельдман
дядю Гринберга убил.

Как потом над ним он плакал,
как в могилу положил,
как лопаткой долго стучал,
сверху камнем привалил.

Дядя Фельдман был жестокий
и всегда носил кинжал.
Дядя Гринберг был хороший —
никого не обижал.

Дядя Фельдман ел, как лошадь,
пистолетом чай мешал.
Дядя Гринберг был хороший —
целый день в кровати спал.

Но однажды дядя Гринберг
вышел в садик погулять.
Дядя Фельдман там был тоже,
чтоб газету прочитать.

Вдруг закапал сильный дождик.
Дядя Фельдман вынул зонт.
Рядом с ним сидела тетя —
стала мокрая совсем.

Дядя Гринберг разозлился,
к дяде Фельдману подсел
и сказал: "Как вам не стыдно!
Тетя мокрая совсем!"

Не успел тут дядя Фельдман
даже рот свой улыбнуть,
как проворный дядя Гринберг
зонтик смог его стянуть.

И тогда-то дядя Фельдман
вынимает свой кинжал.
И случилось то, что раньше
я уже вам рассказал.

Эту сказку дядя Толя
Оле-девочке прочел,
чтоб она не стала тетей
и не мокла под дождем.

Железнодорожный вальс

Какой стороной ни пойдете —
поедете в дальний Ростов —
железнодорожная тетя
ударится грудью о столб.

Я в мыслях — скрипач и художник,
и в самом далеком краю, —
фотографы! Ставьте треножник! —
железную тетю люблю.

Металла трамвайного скрежет,
Раскованной службы полет!
Моя пассажирка, о ласточка, где же,
в какой любознательный год?..

Железо. Дорожная тетя
с красивой фигурой груди,
в таинственно-сказочном гроте
сверкающей, жаркой любви.

Я был тогда юн и рассеян
по многим дорогам страны.
Донецкий шахтерский бассейн
припомните? Вспомнить должны.

Она мне конечности гладит
и спину свою отдает —
железнодорожному дяде,
ценителю дамских живот.

Я песни ей купно слагаю,
люблю ее мыть и тереть
и с полки лицо наклоняю
в купейную, душную клеть.

Дышу ей в лицо скипидаром
своих засверкавших сапог.
Я в поезде ездил недаром
и твердый билетик сберег.

Ты родом была из Сибири
и ехала в ту же страну,
в закатно-безоблачной шири
прилипнув грудями к окну.

Она меня громко бранила
за то, что так выключен свет,
и руки солдатские мыла
малиновым чаем в ответ.

Повесься в вагон-ресторане!
Умри на железном ходу,
отдайся грохочущей пране
в земном гефсиманском саду!

Наташа

На рыжем плече гиганта,
быстрее, чем дымят сарай,
кого принесли в больницу,
кого снимают с носилок?

Кого принесли в больницу?
В больницу внесли Наташу.
Ее заболели руки,
ее отказали ноги.

Кому нездоровится печень?
Наташе! Наташе! Наташе!
Зачем она здесь ночует?
Ей мать отказала в крове.

Кого теперь тронет скальпель?
Он тронет печенку Наты.
Кого тогда звать на помощь?
Профессора Штеренберга.

Профессор — известный доктор.
Халат его чист, как совесть
убитого им ребенка
во имя отца и сына
и их пропавшего брата.

Возможно, Наташа встанет
и в сад убежит играть.
А если не встанет, кто же
продолжит ей отдых летний?

И как тогда шить одежду?
Она упадет на стулья
безвольным станком токарным,
безглазым судьей футбола.

Выходит, не надо спорить,
о том, у кого что лучше.
Выходит, больная печень
решает вопросы жизни.

Выходит, что жизнь Шопена —
не больше, чем смерть жирафа
и прав был поэт французский,
когда он перо забросил.

Тогда я не стану спорить.
Куплю миллион таблеток
и сяду писать рассказик:
"Прощание с литературой".

Который час?

В полпервого ночи котенок ушастый
взобрался на башню сквозь воздух неясный.
Полез, чтобы ржавчину лапой взрыхлить,
ночной час помочь циферблату пробить.

Я снимал

Я снимал с себя пиджак,
словно чистил некий плод,
изготовленный в краях,
где все толстое растет.
Распахнув свои клубники
и на шкаф давя спиной,
как легко махнула ты
ярковымытой ногой!

Кто там?

- Кто там стучится в поздний час?
- Кто, кто, ну я, еврей.
- Иди домой, все спят у нас.
- А вы? — спросил еврей.

- Как ты прийти ко мне посмел?
- А что? — сказал еврей.
- Небось, наделаешь ты дел.
- Зачем? — сказал еврей.

- Попробуй в дом тебя впустить...
- Куда? — спросил еврей.
- Всю ночь ты сможешь прогостить.
- Не всю,— сказал еврей.

- О том, что буду я с тобой...
- Вот-вот! — вскричал еврей.
- Молчи до крышки гробовой.
- Уже, — сказал еврей.



Гавана

*Y así se lleva, en este infierno de San Cristóbal... la vida más perra
que arrastrarse pueda en el reino de este mundo.*

*¡Ah! ¡Las Indias! ¡Las Indias!**

Alejo Carpentier. El camino de Santiago

Крик петуха в предрассветную рань
(Ночь пролетела, за нею другая)
Лезвием ржавым вонзится в гортань —
Ты не в Чикаго, моя дорогая.

Город, как мертвая роза, в руках —
Пальцем коснись, и рассыплется в прах.

Гомон на пристани, стук молотка,
Мокрых снастей набухающий кокон;
Капля, помедлив, сползает с виска;
Сумерки, срез перепончатых окон,

Влажное кружево, мрак, тишина,
Воск, оплывающий на пол. Страна

С именем кратким, как выдох — и вдох
(скрип или всхлип). Цитадель, Фернандина,
Гиблое место, мой ангел. Из трех
Сотен ангольцев всего половина

До окончания дождей доживет
(Занавес, дрогнув, к кулисам плывет).

Полдень, дыхание каменных плит,
Красная нитка на смуглом запястье;
Горсточкой черной фасоли гремит
В такт барабанам нехитрое счастье;

* Так и течет жизнь в этом аду под названием Сан-Кристобаль — самая что ни на есть собачья жизнь, хуже которой и не бывает на свете. О, Вест-Индия, Вест-Индия! (Исп.)

Новые пешки для новой игры.
Хриплое радио, звон мошкары,

Лепет Масорры и рев площадей,
Шарканье конги, сухие ладони,
Август, испарина, грохот дождей,
Крики на лестнице, топот погони,

Кровь на губах и бумажный комок —
Пропать, свобода. В назначенный срок

Все, что истлело, вернется опять,
Вспыхнет, всплывет, прорастет, повторится —
Ветром, терзающим мокрую прядь,
Запахом патоки, тлена, корицы,

Плесени, спермы, безумья, чумы

(Яростный хор вырастает из тьмы).

Бременские уличные музыканты

Слушай, товарищ, давай убежим!
Видишь, в углу под навесом молодка
С детским усердием точит ножи
И улыбается тихо и кротко.

Гости грозились приехать, и вот
В доме с утра закипела работа;
Скоро ко мне моя смерть подойдет,
Пряча под белым передником что-то.

Выпустит бедную душу мою:
Солнце все выше, котлы закипели...
Вот отчего я так громко пою!
Может, давай убежим, в самом деле?

В городе Бремене весело жить —
Кружкой стучать, подпевать и смеяться
Шуткам чужим, все, что было, забыть
И никогда и ни с кем не прощаться.

В детских ладонях согретая медь,
Долгие праздники, краткие будни;
Все горожане сбегутся смотреть,
Как ты заправски играешь на лютне.

В длинной каморке, под пенье в трубе
Мы заживем, постепенно старея;
Осень придет. Я привыкну к тебе —
Я научусь привыкать поскорее.

А в декабре мы с тобою уйдем
В праздничный лес, запорошенный снегом,
И набредем на разбойничий дом,
Чтобы разжиться вином и ночлегом.

Все холодней небеса поутру.
Встанешь, неяркую лампу засветишь;
Ты не заметишь, когда я умру
(Я ведь умру — только ты не заметишь).



В сторону -от-

Fiesta

Памяти Эрнеста Хемингуэя

Ветер листает газеты в чугунных кофейнях.
Так отрешенно грустен смотритель отеля.

В винных подвалах вязкий настоян сумрак.
Мальчик, время фиесты идет на убыль.

Все это — с холста исчезающий слепок лучистый:
Багровые горы — в зрачок импрессиониста,

Быстрый вдох между явью и явью — в плен сегидильи,
Обернешься назад — и сердце пробьет навывлет.

Освобожденные от арен и пик матадоров,
Души миурских быков бросаются в море,

А над пеной кружек в споре взлетают монеты
Об искусстве корриды андалузского лета.

Ты же — с каждым глотком тоски проникаешь в лоно
Обольщений — вихря несложных вероник

Для зверей-чувств, крадущихся незаметно,
Этот цвет — ярче любой мулеты!

И на висках проступает влага. Искус
Не променять ритуал бандерилий на выстрел;

Кастаньетной дробью тонко и нервно
Бьется пульс душистой испанской таверны.

Время забыло нас в карнавальном чаде;
Душа и тело существуют с собой в разладе.

В городе Бремене весело жить —
Кружкой стучать, подпевать и смеяться
Шуткам чужим, все, что было, забыть
И никогда и ни с кем не прощаться.

В детских ладонях согретая медь,
Долгие праздники, краткие будни;
Все горожане сбегутся смотреть,
Как ты заправски играешь на лютне.

В длинной каморке, под пенье в трубе
Мы заживем, постепенно старея;
Осень придет. Я привыкну к тебе —
Я научусь привыкать поскорее.

А в декабре мы с тобою уйдем
В праздничный лес, запорошенный снегом,
И набредем на разбойничий дом,
Чтобы разжиться вином и ночлегом.

Все холодней небеса поутру.
Встанешь, неяркую лампу засветишь;
Ты не заметишь, когда я умру
(Я ведь умру — только ты не заметишь).



В сторону -от-

Fiesta

Памяти Эрнеста Хемингуэя

Ветер листает газеты в чугунных кофейнях.
Так отрешенно грустен смотритель отеля.

В винных подвалах вязкий настоян сумрак.
Мальчик, время фиесты идет на убыль.

Все это — с холста исчезающий слепок лучистый:
Багровые горы — в зрачок импрессиониста,

Быстрый вдох между явью и явью — в плен сегидильи,
Обернешься назад — и сердце пробьет навывлет.

Освобожденные от арен и пик матадоров,
Души миурских быков бросаются в море,

А над пеной кружек в споре взлетают монеты
Об искусстве корриды андалузского лета.

Ты же — с каждым глотком тоски проникаешь в лоно
Обольщений — вихря несложных вероник

Для зверей-чувств, крадущихся незаметно,
Этот цвет — ярче любой мулеты!

И на висках проступает влага. Искус
Не променять ритуал бандерилий на выстрел;

Кастаньетной дробью тонко и нервно
Бьется пульс душистой испанской таверны.

Время забыло нас в карнавальном чаде;
Душа и тело существуют с собой в разладе.

Как средь зыбких холмов реки, скрытые дымом,
Мои мысли сбивчивы, абсолютно неуловимы...

Венеция

Венеция шахматной головоломкой
Петляет в своих же проточных часах.
С канатов и крыши расцепившейся кромки
Срывается путника взгляд впопыхах.
А ночь — в шелест платья вцепившийся овод,
В ком луновлечение пьют маски стекла
На лицах домов, и как будто есть повод
Кому-то инкогнито слыть на балах.
Темна и легка, словно плащ Казановы,
Венеция души напудрила в прах.
В ней реки бродили духами и ядом
И сыпались с башен, канатов, бойниц,
Разлитых в бокал заблудившихся взглядов
Полны тайники крематорских страниц.
Никто из игравших ходы не запомнит.
Чей крик зацепился у пропасти рта?
Последняя маска в созвездии Овна,
И ждет гондольеров ее арестант.
Что делает здесь твой зеркальный затворник
Под шаткой дугой подвесного моста?

Танец Кармен

Danza — испанское слово,
Слово цвета матэ.
На берегах Кордовы
Знают об этом все.
Вдета (взята) в оплечье ночи
Бычая голова.
Наши слова короче
Нас, и только за два

Века конкистадоров,
Дон Кихотов и дам
Спасенное слово "свобода" —
Несообнимный дар.

Глаза под сеткой москитной
Готовы упасть к ногам,
Не выдан кровью транскрипций,
Взгляд не взят и не дан.

Герой снимает повязку,
Герой подходит к огню —
Бесшумно из ночи вязкой
Охотник попал в западню.

Ранка в оливковой коже
Длиннее линий судьбы.
Жизнь наступит позже,
Из ножен выхватив быть.

Танец сердца втекает
В грустные русла рек.
Что это, смех отчаяния,
Или отчаяние смеха?

Мы — гладиаторы времени,
Духов сценических рать.
Нежно-нежно убей меня,
Чего нам еще желать?..

Notre Dame

Лед вечности славы гончая свора
остроконечные темные своды
кошмаров копоть ночных разговоров
в покинутом кем-то городе
так дописывают роман в преисподней
в петли улиц влито гулкое "amen"
колокольный стон небо выбелил
оттиск времени — иероглиф камня
мистерия зодчества на фоне гибели
это глянec, это все, что останется

погребено в омут пустых листов
уже кровоточит строка и смолкает танец
ночь в янтарный сосуд разливает кровь
"мастер, время по площади ходит с железной тростью
натягивая минуты под каждым ее ребром"
мой исповедник с темною тенью в голосе
аутодафе последний танец с огнем.



Звезда

Вижу в глазах я твоих удивленье —
Вечный вопрос, бесконечный ответ.
Боже, откуда такое стремленье
Сущность постигнуть того, чего нет?!
Кто я? Вопрос удивительно странный.
Знаешь, мне часто его задают.
Только услышав ответ многогранный,
Все от него неизбежно бегут.
Если душа твоя вольна к раздумьям,
Если готов мою суть ты принять,
Если сильна твоя воля, тогда лишь
Сможешь услышать меня и понять.
Кто я? Вопрос этот прост и так сложен.
Сколько уж раз я слышала его,
Только всегда не готова с ответом
Суть объяснить существа своего.
Я тот луч света, та яркая вспышка,
Что озаряет дорогу в пути,
Я та тропинка, ведущая к счастью,
Раз лишь дано по которой пройти.
Я тот цветок, что своим ароматом
Сводит с ума и безумно пьянит,
Я есть та птица, чья сладкая песня
Звездной капелью на сердце звенит.
Я тот огонь, что сжигает безумца,
Страстью пылающего к небесам,
Дикая лань, за которой охотник
Рыщет, скитаясь всю жизнь по лесам.
Тот сладкий плод, чье вкушенье способно
Дать лишь на миг озаренье и свет,
Я та жемчужина в море глубинном,
В мире которой прекраснее нет.
Я та мечта, что безудержно мучит,
Сбыться которой никак не дано,
Я то желание, что дышит отчаяньем,

погребено в омут пустых листов
уже кровоточит строка и смолкает танец
ночь в янтарный сосуд разливает кровь
"мастер, время по площади ходит с железной тростью
натягивая минуты под каждым ее ребром"
мой исповедник с темною тенью в голосе
аутодафе последний танец с огнем.



Звезда

Вижу в глазах я твоих удивленье —
Вечный вопрос, бесконечный ответ.
Боже, откуда такое стремленье
Сущность постигнуть того, чего нет?!
Кто я? Вопрос удивительно странный.
Знаешь, мне часто его задают.
Только услышав ответ многогранный,
Все от него неизбежно бегут.
Если душа твоя вольна к раздумьям,
Если готов мою суть ты принять,
Если сильна твоя воля, тогда лишь
Сможешь услышать меня и понять.
Кто я? Вопрос этот прост и так сложен.
Сколько уж раз я слышала его,
Только всегда не готова с ответом
Суть объяснить существа своего.
Я тот луч света, та яркая вспышка,
Что озаряет дорогу в пути,
Я та тропинка, ведущая к счастью,
Раз лишь дано по которой пройти.
Я тот цветок, что своим ароматом
Сводит с ума и безумно пьянит,
Я есть та птица, чья сладкая песня
Звездной капелью на сердце звенит.
Я тот огонь, что сжигает безумца,
Страстью пылающего к небесам,
Дикая лань, за которой охотник
Рыщет, скитаясь всю жизнь по лесам.
Тот сладкий плод, чье вкушенье способно
Дать лишь на миг озаренье и свет,
Я та жемчужина в море глубинном,
В мире которой прекраснее нет.
Я та мечта, что безудержно мучит,
Сбыться которой никак не дано,
Я то желание, что дышит отчаяньем,

Сердце бросая на самое дно.
 Я та звезда, что горит не сгасая,
 Но на ладонь не спадет никому,
 Я порождаю лишь только мечтанья,
 Что не постигнуть простому уму.
 Сердце, что тонет в фантазиях дивных,
 Мне не заполнить его никогда.
 Может оно быть разбито лишь мною,
 Боль и страдания принять навсегда.
 Я, озарив душу ярким свеченьем,
 Требую тяжкую плату взамен,
 Тем, кто на миг был безудержно счастлив,
 Мною уготован пожизненный плен.
 Кто я? Вопрос этот прост и так сложен.
 Я тот закон, что меняет весь свет,
 Только мое одиночество вечно,
 Нет ему равных, границ ему нет.

Последний лепесток

Упал последний лепесток
 На камень серый,
 И потянулся стебелек
 К земле несмело.
 Он слился с ней и перешел
 Через границу,
 Он жизнь свою отдал земле
 Всю по крупичкам.
 А та хваталась за нее
 И поглощала,
 И с жизнью сотни же таких
 Ее мешала.
 Он разлетелся, а недавно
 Был красивым,
 Но он был счастлив, он давал
 Жизнь новым силам.

ЖИЗНЬ — ИСКУССТВО — ЖИЗНЬ

Михаил ИЛЬВЕС
 Лидия и Матисс 216

Владимир МИНЕНКО
 Седнев 227

К 70-ЛЕТИЮ ИОСИФА ОСТРОВСКОГО
 Евгений ГОЛУБОВСКИЙ
 Свет души 238

Марк СОКОЛЯНСКИЙ
 "Денно, ночью, вечно..." 239

Валентина ГОЛУБОВСКАЯ
 Последняя встреча 245

Белла ВЕРНИКОВА
 Работа нуждается в споре и согласии 247

Лидия и Матисс



"В августе 1785 года в день святого Людовика Антуан Огюстин Пармантье преподнес Людовику XVI букет цветущей картофельной ботвы и целую корзину зрелых клубней. Цветы украсили бутоньерку короля и были приколоты к волосам королевы, а клубни в тот же вечер сварены для королевского стола. Так после многих превратностей судьбы картофель приобрел, наконец, доверие".

Эти строки — цитата из книги. Посмотрите, в каких подробностях известна нам жизнь правителей. А ведь как давно это было!

Но вот что любопытно: ровно двести лет спустя и тоже, как это выяснилось позже, в день святого Людовика, "картофельная история" приключилась и у меня. И было это... тоже в Париже! Как много значит в нашей жизни случай!

В тот день мы с женой пошли на рынок, который по вторникам, четвергам и субботам появлялся вдруг на тротуаре бульвара Пор-Рояль. С утра тут расставлялись походные лотки, к ним подъезжали фургоны, и из их чрева извлекались продукты. А через несколько минут это была уже не "улица, ведущая в королевский порт", как переводится ее название с французского, а зал большого гастронома под открытым небом. Всевозможные сыры, колбасные изделия, дары морей и рек — от атлантических омаров до горной форели, фрукты из средиземноморских стран, клубника из Израиля, экзотические овощи, которые нам были даже неведомы, — выбор продуктов здесь был огромен, а цены заметно ниже тех, что в магазинах. Поэтому впоследствии мы постоянно ходили сюда. Тем более что был этот базар совсем недалеко от того дома, в котором мы жили.

Благодаря этому базарчику мы впервые попробовали артишок — овощ, который у нас почему-то не культивируется. Здесь мы узнали, что клубнику в Париже едят круглый год. Обнаружили мы совершенно новый фрукт по имени нектарин — гибрид сливы и персика. Испытали несколько сортов сыра из четырехсот, зарегистрированных во французской кухне. Мы стали клиентами, наверное, всех продавцов этого небольшого базарчика — всех, кроме одной улыбчивой женщины с широким деревенским русским лицом. Она продавала картофель. Мы, может быть, больше всего соскучились в Париже по нему, но нам негде было готовить, поэто-

му мы его не покупали. Тем не менее, на этом рынке у нас был только один знакомый человек — как раз эта женщина.

Еще в день нашего первого визита сюда мы разговорились с ней. И неожиданно выяснилось, что ее бабушка родом из Одессы — города, в котором познакомились, а потом и справили свадьбу мы с женой. Еще перед первой мировой войной семья ее бабушки эмигрировала во Францию, потом грянули большие события, и бывшие одесситы потеряли всякую связь с Россией.

Какая поразительная ситуация: между этой женщиной, которая ни слова не знала по-русски, и ее бабушкой, совершенно не знавшей французского, было всего одно поколение, но за это время все успело поменяться полностью. Почти полностью. Одна ниточка все же осталась — тоненькая ниточка, связывающая эту женщину с землей предков — ее лицо и отношение к нам. Еще издали мы приветствовали друг друга: "Бонжур, мадам!" — "Бонжур, бонжур!". Когда живешь в абсолютно чужом городе, такой эпизод имеет значение: хоть что-то близкое ощущаешь. Это для нас. А какие ассоциации вызывало наше мимолетное общение у нее — об этом знает один Бог. И только одному Богу известно, какими судьбами мы попали тогда в Париж. Впрочем, давайте прервем на минутку этот рассказ. Сейчас я хочу передать слово другому автору.

"В этот вечер мы уезжали из Парижа. Один из нас вскользь сказал, что мы многое видели во Франции, но так и не успели посмотреть, как живет обыкновенный француз.

— Я примерно так и живу, — сказала, помолчав, Лидия Николаевна и позвала нас к себе.

Мы взяли такси и понеслись по бульварам мимо церкви Мадлен с ее знакомой по рисункам колоннадой, мимо здания Гранд Опера, похожего на торт с завитками из окаменелого крема, через мосты, по обочине Люксембургского сада, дохнувшего в окна перегретой машины холодком шумящей листвы, и наконец остановились у обычного парижского дома с узкой лестницей..."

А эти три абзаца — из очерка Константина Паустовского "Мимолетный Париж". А Лидия Николаевна — соседка моей мамы по парте в реальном училище города Харбина. Нам с вами предстоит познакомиться с этой великой женщиной, поэтому продолжим рассказ Паустовского.

"В маленькой квартирке все окна, когда мы вошли, оказались распахнутыми настежь, хотя в квартире никого не было, кроме черного кота. Ока-

зывается, окна не закрывались все лето. По комнатам бродил теплый ветер.

Лидия Николаевна щелкнула выключателем. Вспыхнула люстра, и я невольно вскрикнул — комнаты были увешаны великолепными холстами, написанными смело, ярко, как то и подобает большому, хотя и не известному мне мастеру.

Среди холстов было несколько портретов Лидии Николаевны с надписью: "Lidia".

— Что это? — спросил один из нас. — Что это такое?

Лидия Николаевна молча расставляла на столе бокалы вокруг бутылки темного вина. По легкому звону задетых невзначай бокалов можно было догадаться, что она взволнована и не отвечает, чтобы не выдать своего волнения.

Я подошел к картинам, и на каждой в правом углу увидел небрежную подпись черной краской: "Матисс".

— Дело в том, — сказала наконец с усилием Лидия Николаевна, — что я была в течение более чем двадцати лет очень близким Матиссу человеком. Эти картины он подарил мне. Часть из них я отослала в дар Эрмитажу, остальные после моей смерти будут национальной собственностью. Какой человек был Матисс, я рассказать не могу, нечего даже и пытаться. Лучше выпьем на прощание вина".

Лидия Николаевна Делекторская родилась в 1910 году в Томске в семье врача, но в 13 лет осталась круглой сиротой — во время гражданской войны эпидемия забрала ее родителей, и родственница увезла ее к себе в Харбин. А потом она попала во Францию.

В поисках работы в Ницце Лидия на автобусной остановке прочитала объявление — какой-то художник искал себе помощника. Так она оказалась у великого Матисса.

"До этого я над живописью вообще мало задумывалась, — говорила она впоследствии. — И даже тот факт, что Анри Матисс был художником с мировой известностью, долгое время оставался для меня абстракцией: понаслышке я это знала, но я этим не прониклась, до меня это "не доходило". Матисс это видел, но в вину мне этого не ставил и не старался меня поучать. Он лишь поддерживал мой интерес к его работе".

Тогда Матисс писал громадное полотно, широко известное сейчас, — "Танец", и когда оно было завершено, Лидия оказалась опять на улице. Но тут в ее жизнь вмешалась судьба: заболела жена Матисса, потребова-

лась сиделка, и Лидию с большим трудом, но все же отыскиали. С тех пор и до конца жизни художника она была рядом с ним — целых 22 года.

Интересно, как за это время изменялись отношения между ними. Поначалу Матисс ее почти не замечал — она была просто полезным в доме человеком, а он целыми днями напролет был поглощен своей работой и выходил из мастерской лишь иногда, и то на 10-15 минут, чтобы выпить чашечку кофе и перекинуться несколькими словами с лежащей на кровати женой. Но...

"Но когда через какое-то время, — говорит Делекторская, — суровый и пронизывающий взгляд Матисса стал задерживаться на мне, я не придала этому никакого значения. Хотя в начале нашего знакомства, когда я работала его помощницей, он и сделал с меня 3-4 рисунка, мне и в голову не приходило, что я когда-то снова буду позировать для него".

Тут надо пояснить читателям некоторые особенности французской действительности начала 30-х годов. Дело в том, что согласно законодательству эмигранты тогда не имели права здесь на оплачиваемый труд, за исключением считанных профессий — манекена, статиста на киносъемке, временной няни или натурщицы. К тому же французский язык Делекторская тогда еще почти не знала.

Именно поэтому ей и пришлось несколько раз позировать разным художникам — "с голодухи", как она сама говорит, но занятие это было ей в тягость, ибо требовало от женщины определенной самоуверенности. Поэтому, когда у нее появилась уже постоянная работа сиделки, она вздохнула с облегчением.

Но оказалось, что ненадолго.

"Однажды Матисс пришел в перерыв на отдых с альбомом для набросков под мышкой, и пока я рассеянно слушала их разговор с женой, он вдруг скомандовал мне вполголоса: "Не шевелитесь!". И раскрыв альбом, сделал с меня зарисовку в очень привычной для меня позе: голова, опущенная на скрещенные на спинке стула руки. Такие импровизации стали повторяться все чаще и чаще. И вскоре Матисс попросил меня позировать ему".

Время шло, Матисс старел, начал болеть, потом вообще слег, но тем не менее работы не бросал, и Делекторская здесь становится его правой рукой — и секретарем, ведущим его дела, и помощницей, умеющей и замесить клей для аппликаций, и развести краски для холста, и просто незаметным другом, который всегда рядом.

И вот наступил важный в нашей истории момент. О нем Лидия Николаевна рассказывает так.

"Это было в 1945 году. Только что кончилась война. Россия праздновала победу, но ценой скольких страданий! Что же до меня, то я пережила войну довольно пассивно, под теплым крылышком Матисса. Конечно, меня тоже не миновали какие-то трудности, но все же куда меньшие.

Я была апатридом, не имеющим французских корней и потерявшим их на родине, которую я по-прежнему очень люблю. Тогда меня обуял порыв братских чувств по отношению к России. К примеру, мне очень хотелось послать туда огромный букет цветов. Увы, это было невозможно. А жаль.

И мне неожиданно пришла в голову мысль: купить у Матисса несколько лучших рисунков, пусть даже ценой самых неразумных долгов, и отослать этот драгоценный и, если так можно выразиться, неувядаемый (по сравнению с цветами) подарок московскому музею, где, без сомнения, знают Матисса.

Я тайком порылась в его картонных коробках с рисунками в поисках чего-нибудь, достойного музея и к тому же пришедшегося мне по вкусу, и отобрала семь работ обычного для Матисса формата, которые могли бы достойно украсить стены музея. Затем я нацарапала Матиссу короткое письмо, в котором приблизительно обрисовала приглянувшиеся рисунки и попросила мне их продать, но при одном условии: он возьмет за них не "дружескую цену", так как я не хочу его обременять, а цену, которую он запросил бы с торговца картинами.

Прочитав мое робкое послание, Матисс не выказал никакого удивления, выразил свое согласие с самим принципом и попросил показать ему отобранные мною рисунки. Он одобрил мой выбор, но за ту же цену семи работ отдал мне еще один рисунок — "в качестве подарка". Таким образом, в завуалированном виде он понизил ту цену, на что я, учитывая категорический тон моего письма, ни под каким видом бы не согласилась.

Я очень обрадовалась и немедленно отправила в Москву письмо с вопросом, согласятся ли они принять мой дар. Кто знает?.. Ведь дар был от "грязной" эмигрантки...

Я получила благосклонный ответ..."

Таким было начало. А сейчас... сейчас в Москве и Санкт-Петербурге — в Эрмитаже и в Музее изобразительных искусств имени Пушкина — находится богатейшая коллекция работ великого художника XX века Анри

Матисса — картины, гравюры, аппликации, рисунки, архивные материалы, скульптуры... И все это — дар Лидии Николаевны Делекторской.

"Конечно, собрание Делекторской — это был огромный капитал, — пишет племянница Лидии Николаевны. — Мы были как-то с ней в поездке по Анже, и, указывая на известную во Франции старинную крепость, она сказала смеясь: "Я была так богата, что могла бы купить ее".

Примерно такую же фразу слышал от Лидии Николаевны и я.



Я уже говорил, что в детстве и юности Лидия Николаевна с моей мамой дружили. Двадцатый век развел их по разным уголкам Земли нашей, и только через 50 с лишним лет они снова нашли друг друга — в каком-то случайном разговоре Делекторская услышала имя моей матери, схватилась за него и в конце концов вышла все-таки на свою подругу. Они списались, а потом и встретились в Москве — уже две старушки.

Тогда-то Лидия Николаевна и пригласила моих родителей в Париж, но по нездоровью они не рискнули туда ехать, и этот подарок достался нам с женой.

Мы больше месяца провели тогда с Лидией Николаевной, и мало того что это был Париж, это была еще и особая атмосфера — над нами витал дух Матисса, Пикассо, Ренуара, Арагона, Рихтера, Паустовского и других великих, которые когда-то были рядом с Делекторской. Эти имена названы здесь далеко не случайно. С Пикассо она дружила — кстати сказать, именно она подарила ему голубя, с которого и пошел гулять по Земле этот символ мира. Рихтер ее просто обожал и всегда навещал в Париже во время своих зарубежных гастролей. А однажды она узнала о приезде во Францию делегации советских писателей и специально разыскала их в гостинице, чтобы познакомиться с Паустовским, произведения которого очень любила — повествование мое и началось с первой их встречи.

Лидия Николаевна рассказывала мне, что тогда Паустовский уронил как бы мимоходом такую фразу: "А вы бы попробовали перевести меня на французский...". Сейчас этот замечательный писатель полностью опубликован во Франции, и все это — в переводах Делекторской.

"Я подарила Франции Паустовского, а России Матисса!" — с гордостью говорила она.

Вы помните, когда она начала преподносить российским музеям Матисса? Да, это было сразу после окончания войны, в 1945-м. А через три года Сталин подписал постановление Совета Министров СССР о ликвидации Государственного музея нового западного искусства, ядро которого составляли коллекции работ художников конца XIX — начала XX века, собранные еще русскими меценатами Щукиным и Морозовым. Причина — борьба с космополитизмом.

В те годы даже великие импрессионисты были заточены в запасники. Такая же участь ждала и работы Матисса. И Лидия Николаевна знала об этом.

Слава Богу, что хоть сам Матисс об этом не подозревал. Он жил еще старыми воспоминаниями, ведь именно на первый русский гонорар когда-то на окраине Парижа он построил свой первый дом.

"История Лидии, — писал по этому поводу Даниил Гранин, тоже прекрасно знавший Делекторскую, — это история любви к Матиссу и история любви к России. Изгнанная из нее, отверженная, она тем не менее отдает ей то, что могло бы обеспечить ей безбедную жизнь, более того — со всеми радостями комфорта. Не говоря уже о памяти — она же расстается с дорогими ей творениями, теми, что создавались у нее на глазах, — тем не менее, они будут спрятаны..."

Итак, космополитизм. Но причем здесь французский художник? И как этот самый космополитизм выражается в живописи? Между прочим, даже Большая Советская Энциклопедия характеризует Матисса как "видного французского живописца и прогрессивного общественного деятеля". И все равно — получите на память от нас клеймо!

"Мы хотели избавить ее от неблагодарности, оскорбительного пренебрежения наших партийных чинуш, для которых Матисс был чем-то враждебным, — пишет далее Гранин. — Мы были правы — ей пришлось с этим столкнуться. Никто в те годы не рассыпался перед ней в благодарностях, начальников не трогал ее бескорыстный драгоценный дар, он доставлял только лишние хлопоты: не принять — нельзя, а принять и не выставить — вызвать разговоры.

Мы были правы, мы лучше нее знали нашу советскую действительность. Но она была права иной, высшей правотой, она верила в непобеди-

мую силу гения, она знала про временность советского бескультурья, советской дикости, а может, и про временность советского режима".

И дарила, дарила, дарила... Даже дарственных документов подчас не составляя...

"И однажды я поняла, что какой бы ни был в России политический режим, кто бы ни стоял у руля государства, многие люди там по-настоящему любят Матисса. И я испытала глубокую потребность поделиться с ними сокровищами, принадлежащими мне одной, и безотлагательно, не дожидаясь, пока уйдет одно или несколько поколений, познакомить их с одной из важных сторон творчества художника.

Тогда постепенно, стараясь сделать это максимально для себя безболезненно, я принялась отбирать своих "любимчиков" и передавать их Пушкинскому музею, Эрмитажу... По одному, по два, по три рисунка... Это принесло мне двойное удовлетворение: во-первых, музеи и их посетители чрезвычайно признательны, а во-вторых, сам Матисс, если он все "оттуда" видит, мною, безусловно, доволен. И к тому же, я теперь не должна бояться ни воров, ни пожаров".

Это была удивительно цельная натура. Человек делал свое дело — не смотря ни на что! Посмотрите, как это было.

"Учитывая то, что почти все время я посвящала Матиссу, у меня даже не было возможности тратить свое вполне достаточное, но и не очень высокое жалованье, — рассказывает Лидия Николаевна. — Я не кокетка.

Большую часть жизни я проводила в рабочем костюме, не сходила с ума от золота и драгоценностей, и мне не нужно было содержать престарелых родственников, которые взяли меня к себе, когда я осталась сиротой, и дали мне образование. Благодаря этой невольной экономии мне удалось приобрести произведение, о котором я ужасно мечтала — догадаетесь, почему? Порой, выпрашивая зарплату вперед, я залезала в долги на целые месяцы, но с первого же года нашего знакомства Матисс знал, что даже в самых неблагоприятных обстоятельствах я всегда возвращаю долги, что просьбы о выплате жалованья вперед с моей стороны не жульнический трюк, на который я иду в надежде, что это забудется и простится. Он понимал, что необходимо иметь что-нибудь "для себя", и если произведение будет подарено, то оно утратит часть своего очарования, ведь это уменьшит мою горделивую радость от обладания им.

И когда я оказывалась в тяжелом положении, то продавала не эти работы. Они были самые дорогие и любимые. И полагаю, музеи ничего не

теряли от этого разделения и обмена. Все мои "любимчики" находятся сейчас в их распоряжении. Я оставляла себе лишь "водицы, чтобы напиться". Но признаюсь: когда я отдавала последнюю маленькую работу, я плакала. Но именно потому, что я ею столь дорожила, я пожелала уберечь ее от любой опасной случайности. Сейчас я уже это "переварила", но когда увидела ее в музее, я пришла в настоящее волнение..."

Разумеется, в судьбе Делекторской огромную роль сыграла и личность самого Матисса. Это был очень светлый человек. "Матисс потому и Матисс, — говорил Пикассо, — что у него внутри есть солнце!"

Делекторская рассказывала, что он всегда с жаром работал над чем-нибудь бесплатным, говоря: "Как радостно трудиться не за деньги!". И вообще, очень любил помогать. Он знал цену деньгам по личному опыту молодости и старался сохранить и в других уважение к ним, но он не "одарял" деньгами, а находил способ помочь, не унижая человека подачкой.

И когда две эти великие натуры — Матисс и Лидия — сошлись, они не могли не повлиять друг на друга.

"Около него, — говорила Лидия Николаевна, — из "девочки" я выросла в "человека".

В последние свои годы она опубликовала две книги, посвященные творчеству Матисса, свидетелем которого она была, и в мировой истории нет другого подобного рассказа об особенностях творческого метода мастера живописи. Этот пример — единственный.

Матисс скончался на руках у Делекторской в 1954 году.

Когда они встретились, ей было 22, ему 63. Когда он умер, ей было 44, а ему — 85.

И снова я возвращаюсь к Паустовскому — к их первой встрече.

"Мы вышли из дома. Надо было торопиться на вокзал. На бульваре Пор-Рояль было темновато от вечера и листвы платанов.

— Приезжайте в Россию, — сказал я Лидии Николаевне. — Хоть услышите, как шумят сосновые леса. Во Франции таких нет.

— Не знаю, — ответила она и болезненно улыбнулась. — Прошло уже сорок лет, а я Россию помню только потому, что очень часто вижу ее во сне. Но эти сны все какие-то расплывчатые..."

Потом она несколько раз все же приезжала в Советский Союз — привозила очередную партию работ Матисса, разбирала его архив. А после

кончины Матисса обратилась к нашим властям за разрешением вернуться на родину.

В этой просьбе ей было отказано. А ведь в то время в наших лучших музеях уже хранилось подаренное ею целое состояние! Что говорить — в Пушкинском музее, например, стоит скульптура, выполненная Матиссом еще в молодости, так чтобы купить ее, Делекторская за полцены продала свою квартиру — с условием, правда, что достанется она покупателям после ее смерти.

И все равно — родину ей не подарили. Хотя и Сталина уже не было. И космополитическая глупость была уже давно забыта.

"Это факт, что ни родственников, ни друзей у меня здесь нет, — сообщала она мне в одном из последних своих писем, — есть лишь дружеские отношения, которые мне не хотелось бы когда-то обременять".

Об этом прекрасно знал тот чиновник, который закрыл для нее Россию. А ведь времени, казалось бы, было достаточно: с того дня, когда страна ее отвергла в первый раз, прошли десятки лет. Тем не менее, по большому счету, в России с тех пор ничто не изменилось.

Сколько все-таки жестоких людей взрастили мы за тот жестокий век!

Всякий раз как мне раньше приходилось заезжать в город на Неве, я обязательно заходил в Эрмитаж. Там, сразу за залами Пикассо идут два зала Матисса, и во втором из них выставлены два женских портрета. Они висят не на стене, а вправлены в отдельную витрину, установленную поперек потока посетителей, и смотрят в противоположные стороны. Подпись у них одинаковая: "Портрет Л. Н. Д.". И никакой расшифровки. Да, это одна и та же женщина. На первом холсте Лидия Николаевна Делекторская совсем еще молода, а на втором — много позже. И это она, Лидия Николаевна, запрещала работникам музея подписывать под портретами свою фамилию — она не любила саморекламы.

А из окон этого зала открывается удивительный вид — они выходят на Дворцовую площадь, и прямо перед ними стоит величественная Александрийская колонна с крылатым ангелом на вершине. Сквозь ажурные занавески Зимнего дворца пейзаж этот смотрится великолепно, и я как-то не удержался и сделал такую фотографию. И послал ее Лидии Николаевне с надписью: "Вид из Вашего окна". Конечно же, она поняла, о чем идет речь.

Но все кажется, что это было так недавно...

Сейчас Лидия Николаевна уже дома. Ее прах был привезен из Фран-

ции и погребен под Санкт-Петербургом — таким было ее последнее желание. Причем, чтобы выполнить его, ее дальним уже родственникам пришлось обить немало порогов — разрешение на это захоронение было получено с великим трудом. Но место ее захоронения уже потеряно. Нет его! К кому я ни обращался, никто не знает, где его искать.

А на русском кладбище Сен-Женевьев де Буа под Парижем над пустой могилой стоит памятник с надписью:

ЛИДИЯ ДЕЛЕКТОРСКАЯ

1910-...

Это мы научили ее на Родину не надеяться.

Р. С. Во время своей недавней командировки в Санкт-Петербург я совершенно неожиданно (о, Его Величество Случай!) встретил человека, который присутствовал при захоронении Делекторской — это был поистине один шанс из миллиона возможных. Этот человек и привел меня к ее могиле в Павловске. Там стояла только пластмассовая пластинка с написанной по-французски фамилией — первый же хороший ветер мог ее сорвать и унести, и тогда могила осталась бы вообще безымянной. Поэтому я заказал памятник — этого не сделать я просто не мог. А потом приехал сюда еще раз — чтобы убедиться, что все выполнено в соответствии с моим эскизом.

Кстати сказать, когда эту историю узнал епископ Магаданский Гурий, то он тоже изъявил желание принять участие в установке памятника — оказывается, он знал Лидию Николаевну, когда служил в аналогичной же должности в Париже. И я благодарен Владыке за участие.

Посмотрите на фотографию — вот каким получился памятник. Правда, здесь есть маленькая недоделка: верхние три строчки — это слова Пикассо. Я попросил взять их в кавычки и поставить подпись Великого Маэстро. Надеюсь, что и эта работа уже сделана. Так что, если вы попадете в Павловск, у вас будет возможность поклониться памяти этой женщины. Ее могилу вам покажут здесь сразу.



Седнев*

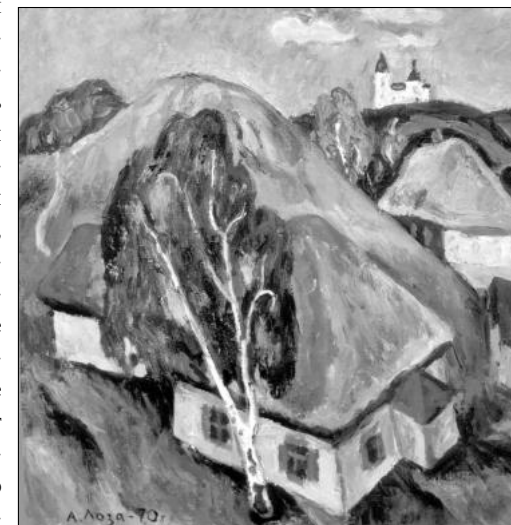
Дверей в доме начало представляться такое множество, что вряд ли бы он отыскал настоящую.

Н.В. Гоголь. Вий

Седнев. Он является мне поседлым, сделанным из затвердевшего мела — будто какой-нибудь Геркуланум, осыпанный белым пеплом, холм, обледеленный куполами обледеленных деревьев, словно это лобастые алебастровые сосуды или замороженные воздушные шары, через оболочку которых, как через матовые плафоны, просвечивают синие жилки вольфрамовых метелок, едва заметно подрагивающих, — в ожидании, когда ослепительный снежный слепок начнет масляно протаивать в марте, выявляя теплившуюся в коченеющем коконе живописную подоплеку.

Седнев. Я больше ничего не знаю о его судьбе, да и не столь важно, существует ли он на самом деле, имеет ли место и поныне его стародавняя сторонящаяся оседлость, или это только обманчивый образ — безмерно именитый в художественной среде, не хуже чем Китеж — поднимающийся со дна воспоминаний, всплывающий из цветного тумана и исчезающий вместе с ним, занавешивая влажной кисеей сохранившиеся детали исчерпавшего себя жанра, дорожа не до конца растрченным легендарным гетманским наследством, спрятанным под полоу.

*"Седнев" — Дом творчества Союза художников. Расположен на р. Снов (приток Десны), в 25 км к северо-востоку от Чернигова.



Адольф Лоза. Старый Седнев. 1970 г.

ции и погребен под Санкт-Петербургом — таким было ее последнее желание. Причем, чтобы выполнить его, ее дальним уже родственникам пришлось обить немало порогов — разрешение на это захоронение было получено с великим трудом. Но место ее захоронения уже потеряно. Нет его! К кому я ни обращался, никто не знает, где его искать.

А на русском кладбище Сен-Женевьев де Буа под Парижем над пустой могилой стоит памятник с надписью:

ЛИДИЯ ДЕЛЕКТОРСКАЯ

1910-...

Это мы научили ее на Родину не надеяться.

Р. С. Во время своей недавней командировки в Санкт-Петербург я совершенно неожиданно (о, Его Величество Случай!) встретил человека, который присутствовал при захоронении Делекторской — это был поистине один шанс из миллиона возможных. Этот человек и привел меня к ее могиле в Павловске. Там стояла только пластмассовая пластинка с написанной по-французски фамилией — первый же хороший ветер мог ее сорвать и унести, и тогда могила осталась бы вообще безымянной. Поэтому я заказал памятник — этого не сделать я просто не мог. А потом приехал сюда еще раз — чтобы убедиться, что все выполнено в соответствии с моим эскизом.

Кстати сказать, когда эту историю узнал епископ Магаданский Гурий, то он тоже изъявил желание принять участие в установке памятника — оказывается, он знал Лидию Николаевну, когда служил в аналогичной же должности в Париже. И я благодарен Владыке за участие.

Посмотрите на фотографию — вот каким получился памятник. Правда, здесь есть маленькая недоделка: верхние три строчки — это слова Пикассо. Я попросил взять их в кавычки и поставить подпись Великого Маэстро. Надеюсь, что и эта работа уже сделана. Так что, если вы попадете в Павловск, у вас будет возможность поклониться памяти этой женщины. Ее могилу вам покажут здесь сразу.



Седнев*

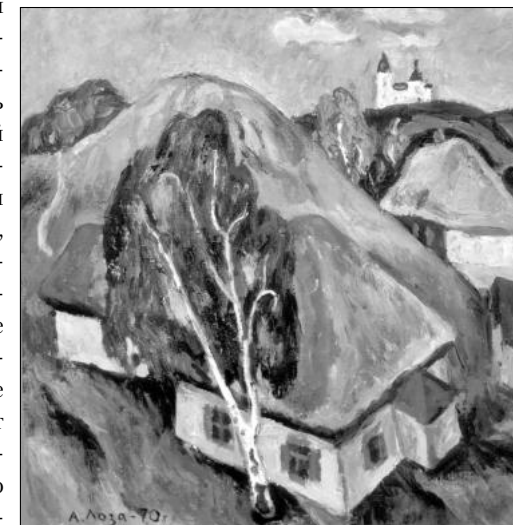
Дверей в доме начало представляться такое множество, что вряд ли бы он отыскал настоящую.

Н.В. Гоголь. Вий

Седнев. Он является мне поседлым, сделанным из затвердевшего мела — будто какой-нибудь Геркуланум, осыпанный белым пеплом, холм, обледеленный куполами обледеленных деревьев, словно это лобастые алебастровые сосуды или замороженные воздушные шары, через оболочку которых, как через матовые плафоны, просвечивают синие жилки вольфрамовых метелок, едва заметно подрагивающих, — в ожидании, когда ослепительный снежный слепок начнет масляно протаивать в марте, выявляя теплившуюся в коченеющем коконе живописную подоплеку.

Седнев. Я больше ничего не знаю о его судьбе, да и не столь важно, существует ли он на самом деле, имеет ли место и поныне его стародавняя сторонящаяся оседлость, или это только обманчивый образ — безмерно именитый в художественной среде, не хуже чем Китеж — поднимающийся со дна воспоминаний, всплывающий из цветного тумана и исчезающий вместе с ним, занавешивая влажной кисеей сохранившиеся детали исчерпавшего себя жанра, дорожа не до конца растраченным легендарным гетманским наследством, спрятанным под полоу.

*"Седнев" — Дом творчества Союза художников. Расположен на р. Снов (приток Десны), в 25 км к северо-востоку от Чернигова.



Адольф Лоза. Старый Седнев. 1970 г.

Опоясывая руслом высокую кручу, тихо течет река Снов — обоснованная принадлежностным падежом ночных видений, — по утрам волокнисто клубясь парным молоком, закипая поспешным птичьим щебетом, приоткрывши над котловиною крышку. Где-то пониже — бьющая плотвой плотина спускает с остекленной полки ледяную зеленую струю в мельничный желоб, придерживая и разглаживая сморщенную со сна поверхность, доводя до скользящей чистоты; плоско и твердо, будто распиленные малахиты, отбиваются в застывшей воде сплоченные куликами вербы, помечая течение у самого берега робкой, с серебрящейся насечкою рябью, бегущей вслед за опущенными в поток изогнутыми лозами.

Сколько воды утекло с тех пор? Десять ли, двадцать лет прошло, или целые столетия? Поместив перед собой лист бумаги, я пытаюсь различить в самом белом те стершиеся, утратившие отчетливость очертания, — теперь уж больше угадывая и занимаясь ворожкой, чем надеясь на память, — комкая лист и глядя, как медленно раскрывается бумажный бутон, выстраивая и передвигая прозрачные серые тени...

Тонко протоптанная тропинка соскальзывала с поселкового асфальта и мимо двух осевших каменных столбов, символизировавших ворота, торопилась в глубь пространного, путавшего следы лизогубовского парка, словно погружаясь в какую-то потустороннюю давность, где из зеленого клубящегося хаоса, надвигающегося, охватывавшего фланги, вдруг возникала ктиторская фигура, державшая на ладони игрушечный Седнев, — одетая в прорезной кунтуш с крупным и ровным, как на обоях, узором, с написанным пылающей охрой лицом, повернутым вполоборота, отчего казалось, что правая щека его как-то особенно выбрита или опухла. Был ли то когда-то черниговский полковник Яков Лизогуб, отличившийся при Азове и доживший в чине генерального обозного до последнего гетманства, или Андрей Лизогуб, жалованный Петром "маетностями" за то, что не изменил с Мазепой (кого портреты велено было замазывать "дикой краской"), или — еще раньше — бунчужный Ефим Лизогуб, участвовавший в крымском походе неудачливого князя Голицына? Теперь это был некий обобщившийся владетельный образ: со смоляным закинутым набок чубом, выпяченной пунцово-красной фамильной губой, в зеленом сафьяне и узорной парче, отворявший двери Дома творчества, снабженный, как полагалось на сарматской "таблице", латинским универсалом и медной печатью с гербом.

Тут были свои старые счета, из века в век складывавшиеся отноше-

ния, теперь переменившиеся — дающие право обитавшим в усадьбе художникам подтрунивать над ливрейным положением Лизогубова призрака, припоминая ему прошлые цеховые обиды. Вместе с архивными ворами "Киевской старины" они готовы были предъявить подколотые протоколы Малороссийской коллегии, свидетельствовавшие о том, скажем, как в 1722 году Григорий, житель Глухова, жаловался наказному гетману Полуботку на сына генерального судьи Туранского, в протяжении шести лет задерживавшего выплату пяти "коп" денег за написание портрета отца, или как в году 1776 иконописец Стеценко Григорий, казак Роменской сотни — живописец и позолотчик, исполнявший станковые картины по заказам самого Кирилы Разумовского, — подал жалобу, что когда, в соответствии с контрактом, он запросил деньги с черниговского советника Дубовика, то был им избит. Портретистов называли "партачами" и предпочтительнее чем деньгами платили живописцам продуктами: вместо трех рублей генеральный хорунжий Ханенко дал маляру Григорию Боюрову десять кварт водки.

И первую неделю седневского сидения съехавшиеся в Дом творчества мастера всецело посвящали тому, что допивали последнюю малярскую кварту.

Для того имелась здесь "каменица" — старинное, должно быть фортификационное сооружение, преобразованное в пивную. Сложенная из ровного тесаного камня, она обнаруживала внутри внушительную квадратную в плане залу, стены которой смыкались скруглявшимся сводом, напоминавшим выеденное яйцо. Опаловая скорлупа полуподвала, слегка оплывшая, могла представляться в хорошо подготовленном воображении святилищем Аполлона, выпуклым дельфийским омфалом или овальным плафоном Grand Opera, ожидавшим своего Шагала, и каждый художник, склоняясь над кружкой, мысленно расписывал его по-своему. Сквозь вапленный купол проклевывались замурованные в известке зеленые черти, скачущие на пуантах, улюлюкая и подзадоривая друг друга, розовые русалки в васильковых веночках пошлепывали хвостами, брызгая сизой сазаньей чешуей, или являлись тучные запорожцы с дорогих папиросных коробок, чтоб составить известное послание турецкому султану Мухаммеду, ерзая резиновыми животами и задыхаясь от беззвучного смеха, замещенного горохом пуританских многоточий. Казак Мамай с лютней, похожей на распиленную персиковую косточку, сидел на корточках у двери, прикладываясь к узорной фляге. Словно спокон веку тут длилось непрекращаемое застолье, не угасая ни на минуту и поддерживая преемство, как огонь в нарисованном очаге.

Странная акустическая способность была у этого зала: сказанное в одном углу, скользя по шершавой параболе свода, отливало в его опрокинутой колоколом чаше и могло быть услышано лишь у противоположной стены, — надвигая ватную шапку околпаченному центру на самые уши. Где-то там вверху, как замочный камень, существовала точка пересечения голосовых меридиан, звуковой полюс — похожий на китайский зонтик, — невидимое вместилище, хранившее тайные сведения о давних казенных кознях, сказочных резонах или пьянящие секреты мастерства, поведанные в порыве откровения глухому камню.

В лунные ночи тень Тараса Шевченко в кожухе, накинутом на исподнее, пробиралась к каменице. Кожух падал черным угловатым пятном на синюю стену, а льняное белье, голубевшее под луною, выступало и двигалось — составленное плоскими геометрическими фигурами, — маршируя словно на ходулях, поочередно ворочая выступавшими из подмышек короткими, на вершок, верхушками жердей, образующих литеру "Х". Еще тогда он не вел дневников в шитых шорною иглою шнурованных зошитах, и что манило его сюда — о том гуляла в лизогубовской челяди заплечная молва, как вставная, нумерованная глава из "Декамерона", быть может, тоже нечаянно запечатленная и запечатанная под выгнутым куполом каменицы.

Достоверно было другое: то дерево, под которым, развалясь на овчине, писал он "Осыку" — поэму, известную в дальнейшем как "Видьма", чье первоначальное название окликалось вбитому в могилу белесому колу, — было вовсе не осиною, "осыкой", но раскидистой липой, поставленной посреди усадьбы, как букет в кувшине — опускавший стебли глубоко, до самого дола, так что приходилось подхватывать их рогами, вскидывать, будто наметывая копну, — отчего широкая душистая тень исторического растения становилась прозрачна, пориста, словно облако, плывущее по воде. Было в этой липе что-то от эвкалипта, встреченного на рисованной карте в приключенческой книжке, — опутанного нитями караванных путей, экспедиционных маршрутов и помещенного в центре интриги. Переживая разные времена, перемены, повергая в соблазн глубокомысленных сравнений, ее рассыпавшийся ветвистый ствол мог вызвать в памяти и знаменитый толстовский дуб из "Войны и мира" (впившийся в ломберное сукно писательского стола когтистой лапой), мимо которого дважды проезжает князь Андрей, — представляясь то нежно-зеленым, сулящим всяческие надежды, то плотно заснеженным, запахнутым в белые охабни, погруженным в сомненья.

Под этой липой в беленом флигеле, обрызганном снизу желтыми цветочками, явился на свет другой герой, выведенный Толстым в повести "Божеское и человеческое" под именем Светлогуба: "мальчик в бархатной курточке, с голыми ножками и длинными выющимися колечками белокурых волос", который "с детства бессознательно чувствовал неправду своего исключительного положения богатого человека", впоследствии — один из идеологов русского терроризма, член "Земли и воли" Дмитрий Лизогуб, казненный в возрасте двадцати девяти лет в Одессе по обвинению в покушении на жизнь Александра Второго. Смертный приговор подписал Новороссийский генерал-губернатор — "здоровый немец с холодным взглядом и безвыразительным лицом, с белым крестом на шее", — имени его Толстой не называет ("Генерал-адъютант такой-то", — выводил он с длинным росчерком), но это был граф Тотлебен — инженер-фортификатор, герой Севастополя, возводивший и оборонявший, к слову, и 4-й, "толстовский", бастион. Дальше — в стилистике другой литературной эпохи (уже обозначившейся к моменту завершения повести) — можно было написать и так: платформа тронулась, фигурка качнулась, затем как будто приняла начальное положение, но какая-то часть ее при этом оказалась позади — как при движении ножниц, вырезающих силуэт из черной и белой бумаги, сложенных вместе; и вслед за валькирией, растопырившей стриженные перья плюмажа, он на мгновение увидел большое огороженное перекладами — словно посаженное в вольере, обугленное дерево...

Но уже ничто не угрожает вечной жизни великой седневской липы: исполненная густым запекшимся маслом, осыпающейся пылью пастели или вертикально отекающей акварелью, прорастала она на каждой внушительной выставке, каждом стоящем того вернисаже, обретая для себя новые формы жизни: свешивала прямо в зал растрепанную многоцветную крону, захлестывала раму, преодолевая лаковую планку полупоклона, а после — тиражировалась мелованными листами каталогов и художественных альбомов, множилась, становясь узнаваемым пейзажным политапажем.

Впервые я увидел ее на листе ошеломительной шовкуненковской акварели, выставившейся в городской галерее, — среди дымивших через всю экспозицию рисованных паровозов, гигантов черной металлургии с преобладанием красного и синего, передававших оттенки остывавшей окалины, — где упираясь локтями в гремящие эстакады, бисерно вибрируя от прогибавших шпальный паркет эшелонов, шелестела, переклады-

вая акварельные лепестки, памятная седневская липа с лепным ствольным цоколем — открывавшаяся слой за слоем, приподымая кулисы и передвигая шелковые ширмы, оставляя шуршащее ощущение неспешности и совершенства.

Даже сама фамилия художника — Шовкуненко, как бы произносимая шепотом, перебирала скользящие, шевелящиеся складки, — обнаруживая в сыне херсонского кровельщика равное владение искусством переложения железа, так же, как и тончайших подвижек воздушной среды, перемещавшейся цветными потоками по волокнистой бумаге. Века непрозрачной кроющей живописи теснились за этим легким дыханием: омертвевшая темпера метрополий, почерневшая олифа иконных досок — о чем он знал квалифицированно и досконально...

Я ставил стопу на косые ступени, подымавшиеся гармошками в его довоенную квартиру на Греческой улице. Ковш Большой Медведицы сливал в лестничный колодец мутный синеватый свет, и комната, выходившая единственным окном на сквозную, обрушенную как воздушный змей лестницу, перенимала характер диагоналей и ромбов — неумело следуя примеру пронизаемого, перепончатого, склеенного из планок и рисовой бумаги, предназначенного для плоской жизни силуэтов павильона. Изломанные призрачным освещением вещи качались и корчились, падали на колена, по-каренински бросаясь на рельсы мерцающего, супрематического интерьера. И только непререкаемые квартировавшие на шпалерах акварели, помещенные в роскошные широкополые паспарту, преобразуясь в бирюзовые амбразуры или фиолетовые, подбирающие фалды анфилады, могли удержать дробящееся, склонное к помешательству пространство, не позволяя ему развалиться или покончить с собой.

Полагают, что то был лучший период в творчестве мастера, позже, быть может, непреднамеренно, заслоненный выгнутой бетонной спиной Днепрогэса, — сдерживая льющую через край акварельную влагу и откладывая в долгий ящик отраженное в фонтанах кружевное шитье. Еще много лет спустя среди сваленного в углах хлама в постепенно угасавшей квартире время от времени за каким-нибудь трехстворчатым шкафом или треснувшим трюмо, заблудшей бамбуковой этажеркой, обнаруживались неоконченные или едва высвеченные красками листы — будто все еще ожидающие ласкающего прикосновения его кисти.

Седнев. Двадцать пять километров к северо-востоку от Чернигова.

Когда городское зрение засорялось, сюда приезжали, чтоб выверить

глаз и приладиться к эталону: платиново — лентою реки Снов — светившемуся, как литой севрский ригель в бархатном зеленом футляре.

Стоя посреди осенних садов, в каком-нибудь догорающем огороде, обрамленном неровной штриховкой штакета, растреножив этюдник и устроив его металлические копытца меж лежалых бородавчатых тыков и крупного



Адольф Лоза. Осень в Седневе. 1997 г.

вздернувшего венчики укропа, в фуфайке, измазанной какой-нибудь басмой, живописец вправлял пустой прямоугольник прогрунтованного холста или картона в наружный пейзаж — с тем, чтоб, недолго поелозив по полотну кистью, свести написанное и существующее в единый план, или того лучше: "присадить" саму натуру, заставить сделаться бледней рядом с написанным, — выпитив как через увеличительное стекло другую, так называемую художественную реальность, смотревшуюся бы как коллекционная марка, обстроченная блочным точечным пунктиром.

Это было тем более просто, что седневские жители любили раскрашивать фасады своих построек дефицитными худфондовскими колерами, черная их по-свойски из "Лавки художника", — так что стоило проскользнуть в природе какому-либо оттенку, он тут же отзывался, усиливался звучно окрашенной поверхностью стены или фронтона: неожиданно оранжевым или каким-либо неумолимо зеленым, независимо от сезона, — тем самым как бы предшествуя намерениям живописца и предрекая наперед колорит пленэра. Здесь сжились с художественным соседством, извлекая из этого по-своему понимаемую пользу, и фигура художника, бесцеремонно перешагивающая садовые ограды в поисках вида, не вызывала возражений, воспринимаясь как легитимная деталь седневского быта — не более чем чудаковатое чучело в огороде. Рядом могли быть курятники, покрытые отработанными офортными досками, сберегавшими протрав-

ленные муары не удовлетворившего каким-то авторским задачам клише — шершавого на ощупь, с истлевшими прошлогодними кружевами или приклеившимся к капнувшему пятнышку помета пушистым петушиным перышком. Да и самый седневский пейзаж, путая времена года, будто и впрямь склеенный из листов и полотен или представляясь таким, что его оставалось только нарезать на форматы, перенимал корпусный характер живописной фактуры — когда густо проложенные светлым межствольные пролеты рельефно подавались вперед, в то время как едва прописанный лесистый пласт как бы уходил в глубину обнаружившейся ниши.

Серая казачья церковь сторонилась за парком. Покосившаяся, съехавшая набок — так, что издали казалось, будто это старый обветрившийся ветряк, утративший крылья, — она и поставлена была когда-то с той первобытной инженерной небрежностью, которая порождает ощущение скрипучей подвижности, неуклюжей и диковатой. Уцелевшая местами на скосах дощатая облицовка, напоминая опалубку, формировала окаменелый восьмигранный сруб, сужающийся кверху, похожий на опрокинутый стакан, насыпанный порохом. Сама испепеленная отвердевшая плоть ее могла считаться родом камерального минерала. Но, боже, как живописна была эта однородная серая древесина! какое богатство встречаемых версий предлагала она взыскательному взору, какие перемены сулило просторное непостоянство небосвода — облачая то лиловым грозовым свечением, стекавшим по ее граням, то обволакивая палевой пленкой полуденных восковых облаков, кучно проплывающих в нелепые Палестины, или когда зардевшая следом вечерняя заря, затепливая лампы, заполняла пылающими угольями пустующий алтарный пятистенки.

В тот час появлялся тут Хома Брут, которого усердные сотниковы слуги вели под руки, чтоб и в третью ночь отпел он подопечную панночку, и отворяли криво навешенную на проржавевших брусках дверь — выбрасывая наружу, как коврик, бубновый ромб алого кочегарного жара...

Еще помнили жители, как снималась здесь художественная кинокартина по гоголевской повести. Но первым интерпретатором ее был рисовальщик Микешин, набросавший в середине позапрошлого века, почти по свежим следам, собранные вместе образы повести, а также несколько отдельных из нее сцен и сопутствующих краевидов, — тот самый Микешин, более предпочитавший смешанную технику карандаша и литой бронзы, по эскизам которого были выполнены памятники "Тысячелетие России", Екатерине Второй перед Александрийским театром в Петербурге, Богдану Хмельницкому в Киеве. Микешин же сделал и погрудный портретный

рисунок, гравированный Гогенфельденом для "Кобзаря" 1860-го года, выпущенного коштом Платона Семеренка. Его трудно назвать удачным: усы, свисающие капустой, пара невыразительных глаз — как бы продолжающих двойной ряд пуговиц, неряшливо расположившихся на мешковатом сюртуке. Уже легенда добавит суровости во взор, сократовскую полноту лба, но это было последнее прижизненное изображение Тараса Шевченко. Как в зеркало удивленно смотрелся с титульной страницы тот, в ком еще недавно видели одаренного "крипака", выкупленного на средства, собранные от царской лотереи, — представавшего теперь перед собою совсем стариком, печальщимся у предела завершавшейся жизни, что не стал он по-настоящему, как хотелось того, живописцем, увлекшись писанием виршей...

Уходившая натура была как портрет со спины, написанный на обороте лицевого изображения, превращая его в подобие плоской стрелковой мишени, сквозь пробитые отверстия которой тянулись дымящиеся полотнища света, распиливая пирамидальный покров парковых теней на треугольники.

Здесь все было по многу раз перерисовано, переписано, скопано, смыто, соскоблено, дублировано и перенесено на новую основу. Финские домики мастерских исподтишка заглядывали друг к другу в синеватые стекла, полосая ножами пеструю мануфактуру, выкраивая причудливые ракурсы, — как если бы тут меняли положение створок трельяжа, предлагая фасон сразу в нескольких видах. Да и сами двери мастерских, которых было по четыре в каждом коттедже, расходились с веранды по разные стороны, суеились, цеплялись косяками, хлопали в ладоши, меняли координаты, выстраивались гармошкой, как складные подрамники театральных декораций, — вызывая сомнение, в ту ли еще дверь попадешь.

Мастерские живописцев по большей части пустовали. Лишь к вечеру стаскивали они сюда свою добычу в виде пахнущих скипидаром "нашлепков", отряхивая на ступенях болотные сапоги и сваливая в угол обременительное, на ремнях, похожее на упряжь или сбрую снаряжение. Их замыслы были обширны и неторопливы, как заливные луга, простиравшиеся по ту сторону реки Снов. Проходя дали альфрейными флейцами, потоптавшись в ложбинах широкою кистью, именуемой "медвежье ухо", запускали они в лесные массивы "белку" и "колонок"...

В мастерских графиков орудовали тонким, почти офтальмологическим инструментом, стремясь поместить в ничтожное углубление ков-

чежка — образуемого в листе увлажненной бумаги печатной пластиной — всю глубину изобразительного пространства, выражаемую едва ли не на осязательном уровне.

Когда заезд завершался, они брали цельную блистающую цинковую доску размером сорок на шестьдесят, закрывали ее поверхность, как оборот зеркала, темным битумным лаком и наносили офортными иглами свои автографы в виде эпиграфов и оборочных рисунков, формируя путем травления внушительное клише для неразменной купюры достоинством в десять или пятнадцать талантов, делая потом ровно столько оттисков, сколько лиц принимали участие в ее создании — в этой акции, — закрепляя номинал арифметической дробью, скачущей сигнатурой, и выражая таким способом ценностную значимость, итог седневого гита...

Их печатные станки, продвигая между валами талер, отбрасывали на стену мельничную тень поворотного колеса с велосипедными спицами и походили на прялку, — тогда как устроенные на клиньях мольберты живописцев больше напоминали ткацкие станки, на которых вырабатывают зернистый домашний холст...

И только окно моей мастерской нельзя было распахнуть: за ним возвышалась стена. Это был пограничный рубеж, бруствер, оборонявший художественное пространство Дома творчества, построенный недалековидно; это была плотина, отводившая вид в другое русло, накапливая энергию потока для других целей. Окно и все, что могло располагаться за ним — раскаленные клены в прожженных перчатках или дымный перламутр реки, утекавший меж пальцев, — было запечатано, недоступно и не могло вдвинуться разом, продолговатым красочным ящиком, в объятия опьяненных оконных рам, скользя по стеклянным полозьям. Кубометр окаменелого цемента лелеял в узкой пазухе бледный побег лилейной купены, известной как соломонова печать, исподволь подвигая к тому, чтоб заклеить окно хрустящей восковой калькой — как поступают обитатели чайных павильонов — и, сидя в этом матовом плафоне, пропускающем зимний алебастровый свет, трактовать как достоинство катаракту Гомера, видевшего через фаянсовую пленку слепоты мир образно и обобщенно.

Постепенно подступаясь к умению выражать окружающее иным, помимо живописи или графики образом, — возведя необходимость в ранг добродетели в рамках предложенного, — можно было пустить в ход другую обнаруженную способность, из рода художественных, и передавать ощущения, пользуясь двумя-тремя оттенками смысла, создавая при этом впечатление варварской роскоши.

Можно было раскрепостить воображение и научиться видеть сквозь стены, уподобив ситуацию тому, как в древних Помпеях расписывали жилища, лишенные оконных проемов, — чтоб все, что простиралось снаружи: ловко избегающий террасами виноградник и красные черепичные крыши, длинные витые линии кипарисов, перистые тени сплюснутых пиний (или списанная Шовкуненком Шевченкова липа, под которой писал тот "Осыку") и черные триремы Плиния Старшего, входившие в гавань, — проникали бы в дом, одолевая каменную кладку, и застывали в левкасе. И когда все было бы сожжено вулканическим гневом, навсегда изменяя округу, — погребенные под сугробом картины сохранили бы, как выглядела местность, заставляя принимать высказывание на веру, — где отлогости и небольшие горы, зеленые и круглые, как куполы, перемежали б равнину, и под вечер, — когда свеча, по выражению Пруста, бросая красный блик на гравюру, превращает ее в сангину, — философ Хома Брут, богослов Халява и ритор Тиберий Горобец сворачивали б с ровенской или равеннской дороги и, приблизившись к хате, выстроенной поопрятней других, выкрашенной худфондовскими колерами, начинали бы выводить дискантами под окнами кант. Полная луна перекладывала бы кухонную посуду — плоские алюминиевые сковороды и цилиндрические кастрюли, чистила б их рачительно белым речным песком. И хозяин хаты, какой-нибудь старый казак-поселянин — быть может, и сам из иных Энеевых латинян, — долго б их слушал, подпершись обеими руками, потом рыдал бы прегорько и говорил, обращаясь к жене: "То, что поют школяры, должно быть, очень разумное; вынеси им сала и чего-нибудь такого, что у нас есть!"...



Свет души



И. Островский

Он умер в сентябре 1993 года. А за несколько месяцев до этого рокового дня я встречался с ним в Израиле, договаривался, что Всемирный клуб одеситов пригласит его в дни 200-летия Одессы, которую он так любил, с выставкой... Если только позволит здоровье... И мы оба надеялись, что позволит, что чудеса современной медицины... Но Осик — так все мы его звали — ушел из жизни... И тогда эту выставку посчитали своей обязанностью собрать, открыть мы, одесситы.

У этого художника было как бы два творческих рождения. Выпускник художественного училища, ученик П. Коновского, Л. Токаревой-Александрович, Д. Фруминой, он честно и талантливо продолжал заветы южнорусской школы, своих учителей. Но — так случилось не с одним мастером — в какой-то день ему стали тесны рамки одесской традиции.

Его звали к себе тени забытых предков, образы людей Библии.

Вначале эти холсты стояли, пугливо повернутые к стене, в его мастерской. Потом он начал показывать их друзьям. И наконец наступил день, когда всесоюзный еврейский журнал "Советише Геймланд" предложил ему показать все эти картины в Москве на выставке.

И открылся новый художник. Поэт. Мечтатель. Философ. Мастер, научившийся мудро улыбаться. И при этом не стеснявшийся быть сентиментальным, не боявшийся, что его герои покажутся кому-то некрасивыми, чудаковатыми.

Есть внешняя и внутренняя красота, как есть внутренний свет — свет души. Об этом знал, это утверждал своими холстами и акварелями Иосиф Меерович Островский, мастер, которому в 2005 году исполнилось бы 70 лет.

Евгений ГОЛУБОВСКИЙ

"Денно, ночью, вечно..."

Однажды летом, где-то в середине 1980-х гг., когда в моей одесской квартире собрались близкие друзья по случаю очередного дня рождения автора этих строк, Иосиф Островский в непринужденном тосте сказал несколько добрых слов о "новорожденном" и шутливо добавил:

— Как пелось в лучшем довоенном советском фильме "Свинарка и пастух", "друга я никогда не забуду, если с ним повстречался в Москве".

В самом деле, мы впервые повстречались в Москве. Было это, по моему, осенью 1975 года. Прилетел я в столицу и остановился у хороших своих друзей Кодзасовых. В их милом доме в ту пору почти всегда кто-то гостил, и чаще всего — одесситы. Я прибыл вечером, и меня сразу познакомили с одесским художником Осиком Островским, который пробыл у них недельку и улетал на следующий день. В "гостевой" комнате была всего одна кровать, и мне на эту ночь поставили раскладушку. Однако она и не понадобилась. Всю ночь мы просидели, проговорили с Осиком, почувствовав взаимное расположение и интерес друг к другу. Тогда же узнал я кое-что об истории его жизни.

Родился он в маленьком городке Шепетовка, который с таким же успехом можно было бы назвать и местечком. Раньше каждый советский школьник связывал название этого населенного пункта с именем другого Островского, там же родившегося и выросшего, правда, тремя десятилетиями раньше моего друга. Речь идет, понятно, о писателе Николае Островском, авторе хрестоматийной в советское время книги "Как закалялась сталь". Мы еще шутили по этому поводу, что, дескать, не каждый Островский из Шепетовки — еврей, но зато и не каждому довелось стать прототипом Павки Корчагина.

В Одессе закончил Иосиф художественное училище, в этом городе жил и творил большую часть своей жизни.

До той московской встречи я лишь однажды на представительной одесской выставке видел две-три его работы, заинтересовавшие меня колоритом, не более того. Вернувшись из Москвы, впервые побывал в мастерской И. Островского и с удовольствием погрузился в мир его живописи. Особенно поразили меня тогда пейзажи, проникнутые особым настроением. Кажется тогда, когда я смог увидеть во множестве и оценить эти работы, вспомнились стихи Бориса Слуцкого:

Свет души



И. Островский

Он умер в сентябре 1993 года. А за несколько месяцев до этого рокового дня я встречался с ним в Израиле, договаривался, что Всемирный клуб одеситов пригласит его в дни 200-летия Одессы, которую он так любил, с выставкой... Если только позволит здоровье... И мы оба надеялись, что позволит, что чудеса современной медицины... Но Осик — так все мы его звали — ушел из жизни... И тогда эту выставку посчитали своей обязанностью собрать, открыть мы, одесситы.

У этого художника было как бы два творческих рождения. Выпускник художественного училища, ученик П. Коновского, Л. Токаревой-Александрович, Д. Фруминой, он честно и талантливо продолжал заветы южнорусской школы, своих учителей. Но — так случилось не с одним мастером — в какой-то день ему стали тесны рамки одесской традиции.

Его звали к себе тени забытых предков, образы людей Библии.

Вначале эти холсты стояли, пугливо повернутые к стене, в его мастерской. Потом он начал показывать их друзьям. И наконец наступил день, когда всесоюзный еврейский журнал "Советише Геймланд" предложил ему показать все эти картины в Москве на выставке.

И открылся новый художник. Поэт. Мечтатель. Философ. Мастер, научившийся мудро улыбаться. И при этом не стеснявшийся быть сентиментальным, не боявшийся, что его герои покажутся кому-то некрасивыми, чудаковатыми.

Есть внешняя и внутренняя красота, как есть внутренний свет — свет души. Об этом знал, это утверждал своими холстами и акварелями Иосиф Меерович Островский, мастер, которому в 2005 году исполнилось бы 70 лет.

Евгений ГОЛУБОВСКИЙ

"Денно, ночью, вечно..."

Однажды летом, где-то в середине 1980-х гг., когда в моей одесской квартире собрались близкие друзья по случаю очередного дня рождения автора этих строк, Иосиф Островский в непринужденном тосте сказал несколько добрых слов о "новорожденном" и шутливо добавил:

— Как пелось в лучшем довоенном советском фильме "Свинарка и пастух", "друга я никогда не забуду, если с ним повстречался в Москве".

В самом деле, мы впервые повстречались в Москве. Было это, по моему, осенью 1975 года. Прилетел я в столицу и остановился у хороших своих друзей Кодзасовых. В их милом доме в ту пору почти всегда кто-то гостил, и чаще всего — одесситы. Я прибыл вечером, и меня сразу познакомили с одесским художником Осиком Островским, который пробыл у них недельку и улетал на следующий день. В "гостевой" комнате была всего одна кровать, и мне на эту ночь поставили раскладушку. Однако она и не понадобилась. Всю ночь мы просидели, проговорили с Осиком, почувствовав взаимное расположение и интерес друг к другу. Тогда же узнал я кое-что об истории его жизни.

Родился он в маленьком городке Шепетовка, который с таким же успехом можно было бы назвать и местечком. Раньше каждый советский школьник связывал название этого населенного пункта с именем другого Островского, там же родившегося и выросшего, правда, тремя десятилетиями раньше моего друга. Речь идет, понятно, о писателе Николае Островском, авторе хрестоматийной в советское время книги "Как закалялась сталь". Мы еще шутили по этому поводу, что, дескать, не каждый Островский из Шепетовки — еврей, но зато и не каждому довелось стать прототипом Павки Корчагина.

В Одессе закончил Иосиф художественное училище, в этом городе жил и творил большую часть своей жизни.

До той московской встречи я лишь однажды на представительной одесской выставке видел две-три его работы, заинтересовавшие меня колоритом, не более того. Вернувшись из Москвы, впервые побывал в мастерской И. Островского и с удовольствием погрузился в мир его живописи. Особенно поразили меня тогда пейзажи, проникнутые особым настроением. Кажется тогда, когда я смог увидеть во множестве и оценить эти работы, вспомнились стихи Бориса Слуцкого:

Солнце сюда приходит,
словно на службу. Я же
денно, ночью, вечно
в этом служу пейзаже.

В своем пейзаже "служил" и Осик, а посмотрев целый ряд его работ, нетрудно было убедиться в том, что мой новый друг — настоящий **Мастер**. Помимо того, нельзя было не заметить в нем удивительно привлекательную личность. Далекий от житейской суеты, органически неспособный энергично пробиваться к "куску пирога", был по-настоящему доброжелательным и внимательным человеком. Его большие темные красивые глаза лучились и вдохновением, и добротой.

В пятиэтажном доме на углу улиц Белинского и Чкалова (Большой Арнаутской) весь первый этаж был отдан под мастерские нескольким одесским художникам. Там находилась и мастерская Осика — просторная комната с двумя большими окнами. Частенько, возвращаясь после лекции, прочитанной в учебном корпусе на Французском (тогда Пролетарском) бульваре, я стучал в одно из этих окон. Приподняв занавеску, выглядывал слегка перепачканный красками Осик. Улыбался и бежал открывать входную дверь. Показывал свои новые работы, иногда рассказывал о временных творческих трудностях или об удачах, но и в том и в другом случаях рассказывал спокойно, с грустной улыбкой, без надрыва и без самолюбования. Иногда просил меня немного посидеть молча, если ему хотелось закончить начатый фрагмент или просто нанести нужный мазок.

Поскольку он нигде не служил, а был в полном смысле слов *свободным художником*, ему приходилось брать разные подряды в художественном фонде, чтобы зарабатывать на жизнь. Темы предлагаемых работ частенько вызывали у него какое-то душевное отторжение. Разумеется, он сторонился заказов на изображение "одухотворенных" лиц московских и киевских партийных вождей. Но даже конкретный заказной пейзаж или портрет кого-либо "знатного земляка" были ему изначально неинтересны. Если в разгар работы над таким заказом кто-либо из друзей стучался в его окно, он с извинительной улыбкой просил пришедших подождать минутку на улице, а сам разворачивал мольберт изображением к стене, занавешивал тяготившую его работу и только тогда отпирали дверь. Ему не хотелось, чтобы друзья видели эти полотна. Закончив заказ и сдав его комиссии худфонда, Осик отводил себе день на "рекреацию". Отправлялся в баню (домашнего душа было недостаточно), долго отмывался от "нечистой" работы, в хорошую погоду подолгу гулял, дышал свежим воздухом — словом, очищался и приходил в себя.

Как раз тогда, когда мы познакомились, в творчестве моего друга происходил довольно значительный поворот. Поначалу казалось, что коснулся он исключительно тематики его работ. До тех пор писал Осик прелестные пейзажи и выразительные портреты, на которых мог быть запечатлен кто угодно — от дочери Светланы в детском возрасте до незнакомца-солдатика Советской Армии. Первая персональная выставка Островского была открыта в Одесском музее западного и восточного искусства на Пушкинской улице в конце 1970-х гг. Она была очень насыщенной и неплохо представляла широкий диапазон и художественную силу мастера. Но в душе Осика и в его мастерской начинался уже совсем другой, неведомый, новый Островский.

Дело в том, что он, как говорят в подобных случаях, "заболел" — заболел иудаикой, и его художественное мировосприятие выделило в этом весьма широком диапазоне специфический створ тем и героев. Островский стал писать мир еврейских стариков. Не библейских мудрецов и пророков, а скорее — слегка мифологизированных местечковых стариков с налетом ветхозаветной древности. Думается, неправы были те его коллеги, кто спешил обнаружить в этом повороте лишь результат прямого воздействия живописи Шагала или графики Каплана, или... Всех этих художников и знал Осик, и любил, но искал собственный путь — своих стариков, свои формы, свои цвета.

Поначалу некоторым его друзьям и собратям по цеху показалось, что это неординарное увлечение как пришло, так и пройдет за несколько лет. Ну, напишет Островский десяток-другой работ из этой серии, потом снова вернется к любимому пейзажу, к портрету с живой натуры, ну, словом, все опять будет, "как у людей". Не всё, более того — не многое в его первых иудаистических эскизах было понятно и даже приемлемо: что-то казалось повторением уже известного, что-то недостаточно прописанным. "Нет, не туда он завернул, пора ему вернуться к натуре!". Уезжал летом Осик на месяц в дом творчества, куда-нибудь в Седнев под Черниговом или в Гурзуф, ходил там, как положено, на этюды, делал милые наброски, к которым потом либо не возвращался, либо возвращался неохотно. Когда я поселился в симпатичном месте Одессы, на Комсомольском бульваре (теперь это, кажется, бульвар Искусств), я пригласил его прийти на бульвар с этюдником:

— Ты там в разное время дня и в разную погоду сможешь увидеть такие краски моря...

Осик грустно улыбнулся и как бы в шутку, а на самом деле вполне серьезно, ответил:

— Марк, если у тебя на бульваре будут интересные лица старых евреев, скажи мне, ладно?

С некоторым опозданием стал я понимать, что друг мой как художник уже жил в особом, созданном его воображением мире. Уже чувствовал его образность, очертания и цвет, испытывая на первых порах трудности в адекватном переводе своего мира на холст. Но то были трудности, как говорили во время оно, диалектического художественного процесса. Вскоре изпод кисти мастера стали появляться — одна за другой — очень интересные и уже вполне соответствующие его внутреннему мироощущению картины.

Мог он изредка и отвлечься от магистральной темы ради небольшого городского пейзажа, но то уже были для него маргинальные интересы. Вспоминается занятный эпизод, когда он решил однажды написать мой портрет. Несколько раз я попозировал, пока он не закончил карандашный вариант. Пригласил взглянуть на бумагу. Добрый мой друг, он изобразил свою модель и моложе, и красивее, чем было в действительности, и все же слишком реалистично для его индивидуальной манеры. Я не знал, как высказать свое мнение, чтобы не задеть художнического самолюбия. Он, мудрый мастер, все прекрасно понял сам:

— Похоже на соцреалистический портрет, да? Ты не будешь возражать, если я порву его?

Я согласился с таким решением, и больше мы к мысли о портрете не возвращались. Художник уже прочно вошел в новую фазу своей творческой эволюции, когда живая натура только мешала: она была чужеродна его миру, населенному странными, разноцветными, нескладными стариками с пейсами и бородами. У различных стариков были разные выражения глаз, разная экспрессия. Некоторые смотрели с индивидуальных портретов, другие теснились группками среди каких-то трудно опознаваемых геометрических тел, которые можно было с некоторым допущением назвать и домами. (Два прекрасных портрета — "Старик со свитком" и "Старик с виолончелью" — в разные годы подарил мне Осик, и с этими портретами не расstaюсь я нигде; вот и сейчас они висят в моей любекской квартире на стене, как и пейзажи более раннего Островского.)

Постепенно, без рывков и форсажа пришло к любителям живописи понимание "нового Островского". Стали устраиваться выставки именно этой серии работ, хотя еще до горбачевской *перестройки* дело не дошло, и сама тематика работ Осика не вызывала добрых чувств у тех, кто "отвечал" за идеологическую работу в том или ином месте. Однако время брало свое. Если до середины 1980-х только какой-нибудь подмосковный академический

институт мог позволить себе устроить небольшую выставку живописной иудаики, то с середины восьмидесятых дело несколько упростилось.

Еще накануне перестройки большая выставка "нового Островского" была устроена в Москве, в редакции единственного в ту пору еврейского журнала в СССР "Советиш Геймланд" на Мясницкой улице (тогда ул. Кирова). У журнала этого была неважная репутация. Острые языки называли его не иначе как "Красный жид". Робость и верноподданничество окрашивали невыразительную литературную политику этого периодического издания. Пожалуй, приход на выставку Островского был единственным моим знакомством с тем журналом "изнутри". По коридорам небольшого помещения время от времени сновали какие-то неказистые на вид старые боязливые люди; втягивая головы в плечи и не обращая внимания на развешенную по стенам прекрасную живопись, они прятались в комнатках-норках своих отделов. На этом фоне выделялись две интересные внешне, не склонные к экивокам в речах женщины: заведующая отделом художественного оформления журнала и секретарь главного редактора. Чувствовалось, что они-то и были главными *деятелями* при устройении выставки. На открытие собрались многочисленные вполне живые люди с явным интересом и к живописи вообще, и к этому художнику. Друзья Осика, прекрасные артисты Зиновий Гердт и Михаил Козаков, читали стихи. Книга отзывов была, что называется, нарасхват.

Появились у этой серии картин и покупатели. Сначала отдельные артисты, писатели, зарубежные интеллигенты — гости Одессы. А потом... началась повальная мода на Островского. Главными покупателями, как это ни странно, стали одесситы, отъезжавшие за рубеж на постоянное место жительства. Далеко не все из них разбирались в живописи: скорее, они покупали то, что на Западе могло бы иметь цену. Им писали "опытные" родственники из Бруклина или из Калифорнии: "Не везите сюда ничего лишнего. Покупайте льняное постельное белье и Островского". За ценой многие из этих покупателей не стояли, и моему другу уже не нужно было брать подряды в худфонде: на жизнь вполне хватало.

Поскольку спрос явно опережал предложение, у Островского сразу же появились деловитые подражатели. Один из таких "мастеров на все руки", в молодости небесталанный живописец, давно утративший к тому времени крепость творческих принципов, начал "выдавать на-гора" иудаику со скоростью копировочной машины, а непросвещенная масса отъезжавших, не успевшая "купить Островского", клевала и на такую наживку. Впрочем, немногочисленным истинным ценителям живописи несложно было разобраться, где было подлинное искусство, а где — подделка, халтура.

В конце 1980-х гг. Островские собрались эмигрировать. Не Осик был инициатором такого решения. Ему было хорошо и в Одессе, в своей мастерской, куда любили заглядывать самые разные люди, по преимуществу его добрые приятели: композитор Ян Фрейдлин, актер Семен Файер, коллеги-художники, литераторы... Главное же — ему было уютно в **его** мире, в мире его стариков. Когда я подарил ему роман Григория Кановича "Слезы и молитвы дураков", он сначала отнесся к этой книге недоверчиво: не спекулирует ли не знакомый ему писатель на еврейской теме? Но уже через два дня чуть не со слезами в голосе благодарил меня: он встретил на страницах этого прекрасного романа и своих героев.

Одесса не была тесна живописцу, но дети его — прежде всего дочь с семьей — надумали уезжать, и он не без грусти поплыл в кильватере семейной стратегии, видя в отъезде еще и общую историческую необходимость. К тому же в это время обнаружилась у него тяжкая болезнь — злокачественная опухоль в кишечнике. Первую операцию перенес он еще в Одессе, после чего понемногу пришел в себя, и семья отправилась в Израиль. Там его прооперировали вторично, и, казалось бы, Осик поправился, воспрял духом. Общие друзья встречались с ним на *Земле Обетованной* и видели его бодрым, активным, трудоспособным. Увы, то была лишь отсрочка на два-три года.

Он ушел из жизни в 1993 г., в возрасте 58 лет. Наш общий друг, композитор Ян Фрейдлин, видевший Осика незадолго до смерти, писал мне, что был Мастер уже другим — худым, бледным, грустным, и лишь глаза по-прежнему горели, светились добротой и талантом.

Сказать, что в Израиле Островского оценили по заслугам, значило бы погрешить против истины. Маленькая страна была уже к его приезду напигована живописцами — и даровитыми, и ремесленниками. В такой ситуации для успеха очень много значили (и значат!) энергия, напор, способность саморекламироваться, а вот этими-то "добродетелями" друг мой никогда не обладал. Более того — очень не любил всего этого и не без безразличия относился к тем художникам, которые были склонны к такой жизненной тактике. Его истинная известность и слава остались в Одессе, где вскоре после кончины художника состоялась большая выставка его работ, где о нем не раз еще писали в прессе (притом куда грамотнее и искреннее, чем в русскоязычных израильских газетках). Надо полагать, еще не раз вспомнят. Его обаятельная личность и поистине замечательное живописное наследие, несомненно, того заслуживают.

Любек, ФРГ

Валентина ГОЛУБОВСКАЯ

Последняя встреча

— Мне нужно позвонить в Сдерот!

— В Сдерот? Кто у тебя живет в такой глуши?!

— Как кто? Осик Островский! — отвечаю я, уверенная, что все должны знать Осика Островского, мимоходом про себя отмечая, что меня задело определение "в глуши". (Можно ли было тогда, более десяти лет назад, представить, что название Сдерот в наши дни будет звучать со всех телеэкранов — после обстрелов этого города палестинскими боевиками?)

Этот разговор происходил осенью 1992 года в Тель-Авиве, где я гостила у старых друзей моего мужа, его родителей и, естественно, моих.

Я позвонила в Сдерот и услышала голос Осика с его неповторимым тембром и интонацией: "Валечка!".

Осик сказал, что он должен днями быть в Петах-Тикве, в медицинском центре, а вечером, после лечения, придет ко мне в Тель-Авив. Так и случилось.

В один из ближайших вечеров раздался звонок, и на пороге квартиры друзей появился Осик. Собственно, не долгие годы и десятилетия прошли после нашего прощания в Одессе перед его отъездом в Израиль, а казалось, что прошла вечность.

Он изменился, чуть похудел, вместо прежней шевелюры — седой ежик волос, и тем не менее, передо мной был прежний Осик — с его улыбкой, с его еще более погрустневшими глазами...

Наши друзья, в полной мере сохранившие одесское радушие и гостеприимство (они уже относились к сословию "ватики", так как жили в Израиле около двадцати лет), бросились угощать, кормить, поить, расспрашивать, показывать квартиру.

— О, какой чудный Лоза! — безошибочно воскликнул Осик, бросившись к картине с одесским пейзажем, а я захлебнулась от радости.

Я готовилась к поездке в Израиль, подбирались подарки друзьям и родственникам, и нам хотелось подарить пригласившей меня Муре Новак, одесситке в нескольких поколениях, и ее мужу что-то по-настоящему одесское. Мы остановились на живописи. И тут мой муж, Женя, встретил на улице Адольфа Лозу и поделился с ним нашим выбором и желанием купить одесский пейзаж для подарка в Израиль. Адольф Иванович обхватил Женю за плечи, потащил в свою мастерскую и, ни за что не желая брать деньги, вручил ему щедро один из своих одесских пейзажей. А что-

В конце 1980-х гг. Островские собрались эмигрировать. Не Осик был инициатором такого решения. Ему было хорошо и в Одессе, в своей мастерской, куда любили заглядывать самые разные люди, по преимуществу его добрые приятели: композитор Ян Фрейдлин, актер Семен Файер, коллеги-художники, литераторы... Главное же — ему было уютно в **его** мире, в мире его стариков. Когда я подарил ему роман Григория Кановича "Слезы и молитвы дураков", он сначала отнесся к этой книге недоверчиво: не спекулирует ли не знакомый ему писатель на еврейской теме? Но уже через два дня чуть не со слезами в голосе благодарил меня: он встретил на страницах этого прекрасного романа и своих героев.

Одесса не была тесна живописцу, но дети его — прежде всего дочь с семьей — надумали уезжать, и он не без грусти поплыл в кильватере семейной стратегии, видя в отъезде еще и общую историческую необходимость. К тому же в это время обнаружилась у него тяжкая болезнь — злокачественная опухоль в кишечнике. Первую операцию перенес он еще в Одессе, после чего понемногу пришел в себя, и семья отправилась в Израиль. Там его прооперировали вторично, и, казалось бы, Осик поправился, воспрял духом. Общие друзья встречались с ним на *Земле Обетованной* и видели его бодрым, активным, трудоспособным. Увы, то была лишь отсрочка на два-три года.

Он ушел из жизни в 1993 г., в возрасте 58 лет. Наш общий друг, композитор Ян Фрейдлин, видевший Осика незадолго до смерти, писал мне, что был Мастер уже другим — худым, бледным, грустным, и лишь глаза по-прежнему горели, светились добротой и талантом.

Сказать, что в Израиле Островского оценили по заслугам, значило бы погрешить против истины. Маленькая страна была уже к его приезду напигована живописцами — и даровитыми, и ремесленниками. В такой ситуации для успеха очень много значили (и значат!) энергия, напор, способность саморекламироваться, а вот этими-то "добродетелями" друг мой никогда не обладал. Более того — очень не любил всего этого и не без брезгливости относился к тем художникам, которые были склонны к такой жизненной тактике. Его истинная известность и слава остались в Одессе, где вскоре после кончины художника состоялась большая выставка его работ, где о нем не раз еще писали в прессе (притом куда грамотнее и искреннее, чем в русскоязычных израильских газетках). Надо полагать, еще не раз вспомнят. Его обаятельная личность и поистине замечательное живописное наследие, несомненно, того заслуживают.

Любек, ФРГ

Последняя встреча

— Мне нужно позвонить в Сдерот!

— В Сдерот? Кто у тебя живет в такой глуши?!

— Как кто? Осик Островский! — отвечаю я, уверенная, что все должны знать Осика Островского, мимоходом про себя отмечая, что меня задело определение "в глуши". (Можно ли было тогда, более десяти лет назад, представить, что название Сдерот в наши дни будет звучать со всех телеэкранов — после обстрелов этого города палестинскими боевиками?)

Этот разговор происходил осенью 1992 года в Тель-Авиве, где я гостила у старых друзей моего мужа, его родителей и, естественно, моих.

Я позвонила в Сдерот и услышала голос Осика с его неповторимым тембром и интонацией: "Валечка!".

Осик сказал, что он должен днями быть в Петах-Тикве, в медицинском центре, а вечером, после лечения, придет ко мне в Тель-Авив. Так и случилось.

В один из ближайших вечеров раздался звонок, и на пороге квартиры друзей появился Осик. Собственно, не долгие годы и десятилетия прошли после нашего прощания в Одессе перед его отъездом в Израиль, а казалось, что прошла вечность.

Он изменился, чуть похудел, вместо прежней шевелюры — седой ежик волос, и тем не менее, передо мной был прежний Осик — с его улыбкой, с его еще более погрустневшими глазами...

Наши друзья, в полной мере сохранившие одесское радушие и гостеприимство (они уже относились к сословию "ватики", так как жили в Израиле около двадцати лет), бросились угощать, кормить, поить, расспрашивать, показывать квартиру.

— О, какой чудный Лоза! — безошибочно воскликнул Осик, бросившись к картине с одесским пейзажем, а я захлебнулась от радости.

Я готовилась к поездке в Израиль, подбирались подарки друзьям и родственникам, и нам хотелось подарить пригласившей меня Муре Новак, одесситке в нескольких поколениях, и ее мужу что-то по-настоящему одесское. Мы остановились на живописи. И тут мой муж, Женя, встретил на улице Адольфа Лозу и поделился с ним нашим выбором и желанием купить одесский пейзаж для подарка в Израиль. Адольф Иванович обхватил Женю за плечи, потащил в свою мастерскую и, ни за что не желая брать деньги, вручил ему щедро один из своих одесских пейзажей. А что-

бы Голубовский не испытывал неловкости, великодушно сказал: "Меня радует, что моя работа будет в Израиле!".

Должна признаться, что наш подарок не вызвал ожидаемой реакции. Мура и Боря были людьми более "взрослыми", чем мы, с более традиционными вкусами. На стене висела увезенная из Одессы литография А. Каплана — реалистический пейзаж с одной из ленинградских набережных, висело еще несколько вполне традиционных работ, а вот экспрессивный пейзаж Адольфа Лозы дерзко нарушал устоявшийся мир этого дома. Правда, когда через несколько дней за мной приехал сын хозяев дома, чтобы увести меня к себе в Ариэль, то он тут же выпросил у родителей чрезвычайно понравившийся ему одесский пейзаж. Так "под ручку" с Адольфом Ивановичем — с его картиной — мы и уехали в Самарию. Я потом вернулась в Тель-Авив, а "Лоза" остался в Ариэле... Но это так, к слову.

Тогда же, в присутствии художника, хозяева с некоторым смущением показывали убранство стен своего дома. Но Осик оставался Осиком, и без тени лицемерия или хотя бы холодной учтивости, а совершенно искренне похвалил и литографию Каплана, и гобеленовые вышивки хозяйки дома, и другие детали интерьера. Он излучал такое добродушие и благожелательность, что на смену смущению пришло у моих друзей очарование поздним гостем из Сдерота...

А Осик все подходил и рассматривал пейзаж Лозы, словно встретился и с Одессой, и с Адольфом, с которым они не просто соседствовали мастерскими на Белинского, но с большой симпатией относились друг к другу.

Потом мы с Осиком по старой одесской привычке перебрались на кухню и, перебивая друг друга, расспрашивали о житье-бытье, о детях, о близких, о друзьях в Одессе и в Израиле...

Было уже поздно. Я понимала, как устал Осик после тяжелого лечения, а ему еще нужно было возвращаться в Сдерот. Я пошла его провожать. Все мои попытки проводить его (невозможно было расстаться!) до Тахана мерказит (центральной автобусной станции) были тщетны. Мы прошли полквартала и остановились на углу улиц Жаботинского и бен Иегуды. Все, нужно расставаться...

Мы обнялись и расцеловались. Навсегда.



Работа нуждается в споре и в согласии

Памяти Шимона Маркиша

Заметки памяти Шимона Маркиша (1931, Баку — 2003, Женева, похоронен в Израиле, в кибуце Эйнат) хочу начать с цитаты: "Совсем не надо, чтобы тот человек, который занимается академической работой, был бы академически оформлен, назван, но он должен быть там, где работают, потому что работать одному нельзя. Работа — это тоже столкновение мыслей, систем решений, работа... не монологична — она драматургична и нуждается в споре и в согласии с временем и товарищами". В справедливости этого утверждения, высказанного Виктором Шкловским (см. в книге "Юрий Тынянов". ЖЗЛ. Москва, 1966), я убедилась на собственном опыте общения с историком литературы Шимоном Маркишем.

На проходившей в 1997 году в библиотеке Общинного дома в Иерусалиме презентации книги "Бабель и другие", куда вошли статьи Шимона Маркиша, собранные Леонидом Финбергом в киевском издании 1996 года, я подошла к автору, с тем чтобы он подписал мне свою книгу. Маркиш держался просто, и я сказала ему, что делаю в Иерусалимском университете докторат о русско-еврейских писателях Одессы 2-й половины XIX — начала XX века и знаю его статьи об Осипе Рабиновиче и о русско-еврейской литературе. И когда диссертация будет готова, хотела бы познакомиться его со своей работой, на что получила любезное согласие.

В 2001 году я представила завершенную диссертацию в Сенат Еврейского университета в Иерусалиме. В отделе аспирантуры университета моему научному руководителю Илье Захаровичу Серману предложили составить список фамилий нескольких авторитетных ученых, судей, как научные рецензенты именуются на иврите, которым моя работа будет послана на отзыв. В числе судей был назван Шимон Маркиш. Его статьи в "Новом литературном обозрении", в "Егупце", в "Краткой еврейской энциклопедии" и других изданиях 1990-х гг. возродили научные разработки русско-еврейской литературы, прерванные в Советском Союзе еще в начале 1930-х гг. негласным запретом на еврейскую тематику в науке и литературе.

Прошло около года после сдачи диссертации, когда я получила письмо из отдела аспирантуры Еврейского университета о присвоении мне степени доктора философии — третьей степени на гуманитарных факуль-

бы Голубовский не испытывал неловкости, великодушно сказал: "Меня радует, что моя работа будет в Израиле!".

Должна признаться, что наш подарок не вызвал ожидаемой реакции. Мура и Боря были людьми более "взрослыми", чем мы, с более традиционными вкусами. На стене висела увезенная из Одессы литография А. Каплана — реалистический пейзаж с одной из ленинградских набережных, висело еще несколько вполне традиционных работ, а вот экспрессивный пейзаж Адольфа Лозы дерзко нарушал устоявшийся мир этого дома. Правда, когда через несколько дней за мной приехал сын хозяев дома, чтобы увести меня к себе в Ариэль, то он тут же выпросил у родителей чрезвычайно понравившийся ему одесский пейзаж. Так "под ручку" с Адольфом Ивановичем — с его картиной — мы и уехали в Самарию. Я потом вернулась в Тель-Авив, а "Лоза" остался в Ариэле... Но это так, к слову.

Тогда же, в присутствии художника, хозяева с некоторым смущением показывали убранство стен своего дома. Но Осик оставался Осиком, и без тени лицемерия или хотя бы холодной учтивости, а совершенно искренне похвалил и литографию Каплана, и гобеленовые вышивки хозяйки дома, и другие детали интерьера. Он излучал такое добродушие и благожелательность, что на смену смущению пришло у моих друзей очарование поздним гостем из Сдерота...

А Осик все подходил и рассматривал пейзаж Лозы, словно встретился и с Одессой, и с Адольфом, с которым они не просто соседствовали мастерскими на Белинского, но с большой симпатией относились друг к другу.

Потом мы с Осиком по старой одесской привычке перебрались на кухню и, перебивая друг друга, расспрашивали о житье-бытье, о детях, о близких, о друзьях в Одессе и в Израиле...

Было уже поздно. Я понимала, как устал Осик после тяжелого лечения, а ему еще нужно было возвращаться в Сдерот. Я пошла его провожать. Все мои попытки проводить его (невозможно было расстаться!) до Тахана мерказит (центральной автобусной станции) были тщетны. Мы прошли полквартала и остановились на углу улиц Жаботинского и бен Иегуды. Все, нужно расставаться...

Мы обнялись и расцеловались. Навсегда.



Работа нуждается в споре и в согласии

Памяти Шимона Маркиша

Заметки памяти Шимона Маркиша (1931, Баку — 2003, Женева, похоронен в Израиле, в кибуце Эйнат) хочу начать с цитаты: "Совсем не надо, чтобы тот человек, который занимается академической работой, был бы академически оформлен, назван, но он должен быть там, где работают, потому что работать одному нельзя. Работа — это тоже столкновение мыслей, систем решений, работа... не монологична — она драматургична и нуждается в споре и в согласии с временем и товарищами". В справедливости этого утверждения, высказанного Виктором Шкловским (см. в книге "Юрий Тынянов". ЖЗЛ. Москва, 1966), я убедилась на собственном опыте общения с историком литературы Шимоном Маркишем.

На проходившей в 1997 году в библиотеке Общинного дома в Иерусалиме презентации книги "Бабель и другие", куда вошли статьи Шимона Маркиша, собранные Леонидом Финбергом в киевском издании 1996 года, я подошла к автору, с тем чтобы он подписал мне свою книгу. Маркиш держался просто, и я сказала ему, что делаю в Иерусалимском университете докторат о русско-еврейских писателях Одессы 2-й половины XIX — начала XX века и знаю его статьи об Осипе Рабиновиче и о русско-еврейской литературе. И когда диссертация будет готова, хотела бы познакомиться его со своей работой, на что получила любезное согласие.

В 2001 году я представила завершенную диссертацию в Сенат Еврейского университета в Иерусалиме. В отделе аспирантуры университета моему научному руководителю Илье Захаровичу Серману предложили составить список фамилий нескольких авторитетных ученых, судей, как научные рецензенты именуются на иврите, которым моя работа будет послана на отзыв. В числе судей был назван Шимон Маркиш. Его статьи в "Новом литературном обозрении", в "Егупце", в "Краткой еврейской энциклопедии" и других изданиях 1990-х гг. возродили научные разработки русско-еврейской литературы, прерванные в Советском Союзе еще в начале 1930-х гг. негласным запретом на еврейскую тематику в науке и литературе.

Прошло около года после сдачи диссертации, когда я получила письмо из отдела аспирантуры Еврейского университета о присвоении мне степени доктора философии — третьей степени на гуманитарных факуль-

тетах в израильских, западноевропейских и американских университетах. Тогда же меня ознакомили с отзывами на мою научную работу. В своем отзыве Шимон Маркиш отметил полноту картины, указав, что в диссертации использованы все возможные источники, которые могут содержать тексты русско-еврейских писателей. Похвалы удостоилась атрибуция текстов — установленное в моем исследовании авторство ряда не выявленных ранее анонимных публикаций Льва Пинскера и Авраама-Ури Ковнера в одесских и петербургских газетах 1860-1880-х гг. При этом рецензент высказал несогласие с отдельными теоретическими выводами работы, представляющими одну из позиций современной еврейской историографии. Несогласие Маркиша было косвенно отклонено в другом отзыве на мою диссертацию, но обе его оценки — позитивная особенно и негативная в определенной степени — вызвали желание продолжить эту работу, чем я и занимаюсь сегодня.

В замечаниях, свидетельствующих о внимательном прочтении диссертации, Шимон Маркиш напомнил, что его статья об Осипе Рабиновиче впервые была напечатана во французском научном издании 1980 года. Живя в те годы в Одессе и работая в литературном музее, я даже не слышала об этом одесском литераторе 1840-60-х годов. Осип Рабинович — первый в России еврей, утвердивший за собой статус русского писателя, приобщивший отечественную литературу к миру русского еврейства и признанный посмертно "пионером русско-еврейской литературы" — в советские десятилетия был стерт режимом из читательской памяти, как и многие другие дореволюционные авторы.

Интерес Шимона Маркиша к писателям, жившим в Одессе, не случаен, т. к. детали биографии историка литературы часто способствуют актуализации исследуемого материала. Его отец Перец Маркиш, выросший в местечке Волынской губернии, в Одессе начала 1910-х годов сдавал экзамены за гимназический курс и тогда же начал писать стихи на русском языке. В 1930-е годы известный еврейский поэт Перец Маркиш, работавший на языке идиш, поддерживал приятельские отношения с жившими в Москве писателями-одесситами, о чем Юрий Олеша упоминает в своей книге жизни, полностью опубликованной лишь в конце XX века, к столетию автора.

Перец Маркиш, расстрелянный вместе с другими видными деятелями еврейской культуры 12 августа 1952 года, в разгар сталинской антисемитской кампании 1948-53 гг., был, как писал о нем Борис Пастернак, "слишком необыкновенным явлением самой жизни, ее улыбкой, ее лу-

чом, который прикосновением красоты, радующим знаком ложился всюду, куда он являлся".

Через три года после гибели Перец Маркиш был реабилитирован "за отсутствием состава преступления". Реабилитации требовали не только люди, погибшие и брошенные в Гулаг, но и еврейское культурное наследие, в послесталинские советские десятилетия преданное полному забвению. В статье о Василии Гроссмане Ш. Маркиш заметил: "Подлинная биография писателя в том, что он написал и напечатал". Универсальность этой формулы позволяет отнести ее и к Шимону Маркишу. Он заново знакомил русского читателя с различными гранями еврейской культуры — от Торы до русско-еврейской литературы.

В предисловии изданной в Москве 1994 года "Книги псалмов" в переводе Наума Гребнева, озаглавленном "Господь — сила моя и песнь...", Шимон Маркиш возвращает еврейской культурной традиции Давидовы хвалы Всевышнему. Канонический корпус текстов (*иврит* — *теилим*) характеризуется Маркишем как составная часть еврейского Священного Писания с тем, чтобы приблизить читателей московской псалтири к библейской "Книге хвалений".

Помянем здесь Сергея Аверинцева, апологета еврейской культуры, чье послесловие "Арфа Давида и русские ямбы" включает московскую псалтирь, открывающуюся статьей Маркиша. Аверинцев, отдав должное рифмованным переводам Наума Гребнева, подчеркивает изначальную поэтическую природу верлибров царя Давида: "Я думаю, что новые поколения захотят пережить резкую сжатость и первозданную древность способа выражения, присущего поэтике псалмов в оригинале". К счастью, пожелание Сергея Аверинцева сегодня осуществимо. В городе царя Давида Иерусалиме, в Национальной библиотеке Израиля хранится еще одна псалтирь 1994 года — изданная в Одессе "Книга хвалений" в переложении Бориса Херсонского, воссоздающего в русском тексте поэтические особенности древнееврейского оригинала. Составители одесской псалтири включили в книгу и краткую антологию "Псалтирь в русской поэзии", чтобы дать читателю представление о том, какое влияние оказали на российский словесность "молитвы Давида, сына Иессея".

Интересы Шимона Маркиша как филолога-классика, переводчика античных авторов представлены в его книгах, написанных в разные годы: "Эразм и еврейство", изданной на французском языке (Лозанна, 1979) и переведенной на английский (Чикаго, 1986); "Сумерки в полдень: очерк истории греческой культуры в эпоху Пелопоннесской войны" (1999, 2-е издание).

Глубокое проникновение в мир писателя отличает статьи Шимона Маркиша об Исааке Бабеле и Василии Гроссмане, собранные в книге "Бабель и другие". В "Конармии" Маркиш увидел одиночество и отчаяние интеллигента в революции, умноженное на одиночество еврея, расколото-го пополам в своем отношении к традиционному еврейству, одновременно отталкивающему и притягательному для Бабеля. Уверена, что сотрудники Одесского литературного музея обратятся к родным Шимона Маркиша и предпримут собственные разыскания, чтобы сохранить в фондах и представить в экспозиции музея его книги, рукописи, газетно-журнальные и энциклопедические статьи и другие ценные экспонаты, рассказывающие о творчестве историка литературы, посвятившего страницы своих сочинений реабилитации русско-еврейской литературной Одессы.

Иерусалим



ПУБЛИКАЦИИ

Баронесса Ольга ШВАХГЕЙМ-ДОКС
"Я хотела бы разделить с тобой
мою прекрасную молодость..." 252
Публикация Нелли ЗОЛОТАРЕВОЙ

Глубокое проникновение в мир писателя отличает статьи Шимона Маркиша об Исааке Бабеле и Василии Гроссмане, собранные в книге "Бабель и другие". В "Конармии" Маркиш увидел одиночество и отчаяние интеллигента в революции, умноженное на одиночество еврея, расколото-го пополам в своем отношении к традиционному еврейству, одновременно отталкивающему и притягательному для Бабеля. Уверена, что сотрудники Одесского литературного музея обратятся к родным Шимона Маркиша и предпримут собственные разыскания, чтобы сохранить в фондах и представить в экспозиции музея его книги, рукописи, газетно-журнальные и энциклопедические статьи и другие ценные экспонаты, рассказывающие о творчестве историка литературы, посвятившего страницы своих сочинений реабилитации русско-еврейской литературной Одессы.

Иерусалим



ПУБЛИКАЦИИ

Баронесса Ольга ШВАХГЕЙМ-ДОКС
"Я хотела бы разделить с тобой
мою прекрасную молодость..." 252
Публикация Нелли ЗОЛОТАРЕВОЙ

"Я хотела бы разделить с тобой мою прекрасную молодость..."*

Воспоминания на немецком языке
получены Татьяной МАРКОТТН-ШВАХГЕЙМ в 1959 г.

Дорогой мой маленький внучек Джорджик!

Когда меня уже здесь не будет, и твой отец передаст тебе эти строки, ты уже будешь взрослым и сможешь сам себе их прочесть. Из этих строчек ты увидишь, что у тебя была русская бабушка, для которой ты был последним солнечным лучиком в ее жизни. Я часто думаю о том, что когда меня уже здесь не будет, никто не узнает о нашей трогательной семейной жизни и о тех, кто ее создал: твой прадедущка и твоя прабабушка, которую звали Бебичка. Они были удивительные люди.

Я хотела бы разделить с тобой мою прекрасную молодость и рассказать тебе о моих братьях Володе и Сереже, чтобы они приблизились к тебе. Были такие времена, что я просто не могу умолчать о них. Есть разница между молодостью и зрелостью. Но моя жизнь так проходила, что я все еще помню события, которые происходили до 1917 года. Эти старые времена живут в воспоминаниях все меньшего и меньшего числа людей, которые постепенно уходят и забирают с собой в могилу свои впечатления. Я помню, когда я была молодой, меня очень интересовало все, что касалось моей бабушки, это может быть интересно и тебе — это прошлое твоей семьи.

Переход в новую жизнь моего поколения не был нормальным, поэтому очень большая разница между сегодняшним и вчерашним днем. Прошлое растворяется в вечности.

Наша семья состояла из папы, мамы, меня как старшей дочери, Володи и Сергея, сыновей, и тех, кто был нам близок: няня, мадам Лина, до того как мне исполнилось 10 лет; Клерхен — или фройляйн Нотз из Мюнхена. Мы были близки друг другу. Это была жизнь, полная любви и взаимопонимания. Не было ни разногласий, ни ссор. Для тех, кто нас воспитывал, это была превосходная работа. Нам в голову не приходило сказать что-то злое или соврать.

*От редакции: мемуаристка ведет рассказ, вольно перемещаясь во времени своего детства, отрочества, юности. Мы сохранили ее композицию.

Первые годы после женитьбы дедушка и бабушка провели в усадьбе. Я родилась в Одессе в 1882 году в доме моей бабушки, а через 2 года в усадьбе родился Володя. День моего рождения, 7 (20) февраля, совпал с днем встречи моих родителей в Елисаветграде.

Наше село стояло одиноко, вдали от других сел. Вокруг нас жили крестьяне, которые раньше принадлежали нам. Некоторые из них еще живы. Самой главной среди них была бабушка Татьяна, как все называли ее, и когда родился твой отец, она все еще стирала и гордилась тем, что стирает белье уже третьему поколению.

Детская комната была угловая, возле спальни родителей. Два окна выходили в сад и на маленькое озеро.

Из другого окна, где мы обычно сидели, была видна аллея парка. Парк был очень большой, старый, заросший. Он тянулся вдоль пруда на полтора километра.

Когда мы шли спать, в комнате нас ожидали свечи. Володя и я спали с нашей старой няней, которую любили все — и дети, и взрослые. Она жила в нашей семье с детства и воспитала 10 детей. Среди них была и моя мать, твоя прабабушка.

Мой отец играл вечером на рояле, и мы засыпали под звуки прекрасной музыки Шумана, Шопена, Бетховена. До сегодняшнего дня эта музыка напоминает мне нашу детскую комнату. До сих пор перед моими глазами стоит картина Маковского "Екатерина II с племянницей и ее женихом". Он был шведский принц. Я все еще вижу свою нянюшку, молящуюся на коленях возле кровати Володи, которого я ужасно любила. С самого детства мы любили друг друга по-сумасшедшему. Хотя он был только на 2 года моложе меня, мне он казался таким маленьким, что я должна была оберегать его. Я думаю, что я тогда уже знала, как трагически закончится его молодая жизнь. Позже судьба разделила нас, и я уже не могла служить для него защитой. Он был таким красивым мальчиком! Блондин с большими голубыми глазами и кудрявыми волосами. Всегда счастлив и полон жизни. В молодости он всегда выделялся среди других своей неординарностью в воспитании, аристократизмом и вежливостью. Со всеми без различия он был внимателен. Неважно, кто это был: рабочий, крестьянин или аристократ. В молодости все его любили и радовались встрече с ним в обществе. Он был одухотворенным и остроумным.

Володя служил мировым судьей в нашем уезде и исполнял свои обязанности с большим чувством долга. Мы иногда приходили в суд, сидели среди зрителей, и нам трудно было удержаться от смеха.

Он страстно любил лошадей. В детстве очень много времени проводил со своей любимой лошадью Бунни. Когда Володя стал взрослым, он держал скаковых лошадей. Было страшно смотреть, как он бравировал и преодолевал препятствия. Только отец любил наблюдать за его скачками и хвалил за мастерство.

Обычно между собой и с мадам Линой мы говорили по-французски, читали огромное количество книг из "Bibliothèque Rose". Особенно любили книгу "После дождя хорошая погода". Мы только заканчивали ее читать, как начинали снова.

Мадам Лина была очень способная и веселая. Мы вместе с ней пели, смеялись, строили из соломы шалаши, ездили на скотный двор на арбе, запряженной волами, на молотилки, которые стояли в 3-4-х километрах в поле. Но... шло время, и вскоре нам пришлось прощаться с мадам Линой. Мои родители решили, что теперь нам необходимо более серьезное немецкое воспитание. Это был огромный удар. Володя, которому тогда было 8 лет, пролил много слез. "Теперь я знаю, что такое катастрофа", — сказал он.

Фройляйн Нотз приехала из Мюнхена. Нельзя сказать, что первые 6 месяцев жизнь для фройляйн Нотз была сладкой как мед. В первый же день мы ее спросили: "А сколько у Вас шляп?". Она с удивлением ответила, что три. Мы же сказали ей, что у мадам Лины было двадцать пять шляп, и мы гордимся этим. Мы не могли и не хотели привыкать к ней. Все, что касалось ее, нам не нравилось. Мы даже не любили ее немецкие песни. Мать была в отчаянии. Найти новую гувернантку в середине лета было невозможно. Но осенью навестить моего отца приехал его друг Herr von Bass. Он знал, как разжечь наш интерес к фройляйн Нотз. Так что, в конце концов, мы ее приняли. Она нам начала нравиться, и мы ее полюбили. Так появилась Клерхен, самое любимое существо на земле. Мы даже не могли себе представить нашу семью без нее. Мать часто говорила: "Что вы будете делать без Клерхен?". Мы бежали к ней по любому поводу.

Наша школа

В нашей среде дети в школу не ходили. Для гимназии их готовили дома частные преподаватели. Мы научились дома чтению, письму и другим предметам. Два раза в неделю на час приходил учитель русского языка. Для французского языка у нас была мадам Лина. Она нам громко читала, а потом заставляла переписывать и читать текст. Она это умела делать

так, что мы получали удовольствие от аккуратно написанного. Мы с Володей все время соревновались. Эти занятия приводили нас в полный восторг. Вечером, когда приходила прислуга согреть и стелить наши постели, мы старались ее тоже учить писать и читать. Она была очень довольна этому и позднее благодарила нас за то, что мы были так внимательны к ней. Молитвам нас учила няня. Для поступления в первый класс гимназии не нужно было больших знаний по религии.

Няня как будто всю жизнь была с нами. Нам было даже страшно подумывать, что ее отошлют, когда придет фройляйн. Но в это время появился новый брат, и няня все-таки осталась. Мы были просто счастливы.

Рождение Сергея

Это было во время Всемирной выставки в Париже. Мне было тогда 8 лет, а Володе 6. Нам обещали подарить куклу. Но какую? Когда 15 ноября 1889 года она появилась, то оказалось, что это был брат Сергей. Шло время, и из толстого некрасивого мальчика, каким он был, вырос красивый обаятельный юноша. Мы же этого не замечали и поражались, когда другие им любовались. На него это не производило никакого впечатления.

Его увлекали только машины. Он был или на мельнице, или в мастерской, или с лошадьми. Везде Сережа принимал участие в работе и приходил домой очень грязным. Его полотняный костюм нужно было менять по 3 раза на день. Все время только и слышалось: "Сережа, иди мыть руки и переодень костюм!". Он был любимцем родителей и был страшно балованным, так как очень серьезно болел и 4 месяца находился между жизнью и смертью. Все это лето мы прожили в страхе потерять его. Скарлатина, дифтерит и дизентерия совершенно изменили его. Из цветущего, веселого Сережи он превратился в настоящий скелет. На него было страшно смотреть! О возможности заразиться мы даже и не думали. Мы все время были с ним и никогда не оставляли его одного. Это все происходило в старинном доме в Воеводском. Ближайший доктор был в 15 километрах от нас, и когда он привез лекарства, мы уже не верили, что они помогут. В конце сентября Сережа стал поправляться. Мы были совершенно счастливы и любили и баловали его еще больше.

Следующей весной, когда мы снова приехали в деревню, Сережу ожидал сюрприз: он получил собственную лошадь, которую звали Бабетка. Это была настоящая казацкая лошадь, которая очень понравилась Сереже. У Бабетки потом были жеребята, и закончилось тем, что у Сережи оказалось пять собственных лошадей.

Школа и школьные занятия Сережу совершенно не увлекали, и это очень огорчало маму. Он прошел через все школы Одессы, потом через все гимназии, затем поступил в школу кадетов и реальное училище. Позже он поехал в университет в Дармштадте. В то время это был самый лучший инженерный факультет в мире.

У Сережи была страсть к охоте. Он очень любил природу. До 20 лет женщины его не интересовали, в отличие от Володи, который первый раз влюбился, когда ему было всего 10 лет.

У Сережи всегда был помощник — деревенский мальчик, всегда и везде его сопровождавший. Он чистил его ружья и ходил за ним как тень, даже тогда, когда тот ездил верхом, — как Санчо Панса, который следовал за Дон Кихотом на своей маленькой лошадке. Первым таким помощником был Федька, и это имя переходило потом к другим: его шофером был Федька, и Федька спас его жизнь во время революции.

Мама вспоминает

Мы с Володей любили осенние дни. Вечера становились длиннее, и все проводили больше времени дома. Нам рассказывали сказки, мы слушали воспоминания матери. Например, о том, как наши родители встретили друг друга.

Обедали мы между пятью и шестью часами вечера, а не в час полудни, как летом. После обеда мы все сидели в гостиной вокруг круглого стола до восьми часов — времени, когда нужно было идти спать.

Мы привыкли, что у нас всегда были гости, и было естественно, что у нас гостила Наталья Васильевна. Старая дева, дама из Елисаветграда, дочь обедневших родителей.

Тогда Елисаветград был главным уездным городом со стотысячным населением. Там была гимназия, кавалерийская школа, дворянское собрание, а мой отец в то время был предводителем дворянства. В Елисаветграде жили наши дальние родственники, и когда отец туда приезжал, он останавливался у них. Мой отец всегда привлекал внимание жителей Елисаветграда.

Наталья Васильевна в течение многих лет летом жила с нами в Воеводском и оставалась там до глубокой осени. Она была очень скромна, вышивала и никогда никому не мешала. Когда подросли братья, она стала объектом для их насмешек и издевательств, но всегда делала вид, будто не слышит их. Она была постоянной приживалкой в нашей семье, таких бы-

ло много и в усадьбах других помещиков. Впрочем, моя мать ее любила, она была ее постоянной компаньонкой, и все были довольны.

Мой отец часто вечером уходил в контору отдавать распоряжения, беседовать с управляющими и т. д. Таких моментов мы ожидали больше всего. Тогда мы умоляли нашу маму рассказать нам о своей жизни. Мы усаживались ближе и расспрашивали ее, как она жила до свадьбы и как встретила моего папу. Сказки и другие истории нас интересовали гораздо меньше, чем эти рассказы о настоящей жизни. Мы умоляли маму рассказывать нам одну и ту же историю снова и снова.

— Неужели я должна рассказывать ту же историю?

— Да, мама, расскажи нам еще раз. Нам было так интересно!

В это время кухарка Прасковья приходила получить распоряжения насчет завтрашнего меню. Не дай Бог она перебьет нас, пусть подождет.

— Дети, дети, будьте вежливы. Мне нужно дать ей распоряжения.

Мы придвигались поближе.

После того как мама отдавала распоряжения кухарке и другим слугам, она возвращалась, и мы не могли дождаться, когда она продолжит свой рассказ.

— По окончании пансионата я стала выходить в свет. В один прекрасный день нам сообщили, что в Одессу из Петербурга приезжает кавалерийский полк. Все, особенно молодые люди, были взволнованы. Все хотели знать, приедут ли офицеры, сколько их будет, и будут ли они вхожи в общество.

Прошло довольно много времени, прежде чем мои друзья получили приглашения на гвардейский бал.

У моей семьи Димитренко был большой дом, и я получала большое удовольствие, когда у нас устраивались различные приемы. Но меня всегда раздражало, когда меня спрашивали: "Лелечка, что ты наденешь и как ты причешишься?". Пойти на бал просто с заплетенными косами было нельзя, а придумать прическу для моих волос, достававших до самого пола, было нелегко. Однако эта проблема тогда была весело разрешена. Часть волос была заплетена в косу и уложена вокруг головы как корона, а остальные волосы падали локонами по спине.

Бал был очень удачным, по крайней мере, для меня. Няня сказала: "Это не удивительно. Ты была такая красавица!".

Нам сразу же представили молодых людей. Когда юношей принимали в гвардию, то смотрели, чтобы они не только были из хороших семей, но и обращали внимание на внешность.

Я много танцевала, и многие кавалеры попросили разрешения прийти к нам в дом. В первый же назначенный для визитов день их явилось десять.

Но вновь приходили не все, так как это было время Балканской войны, и многие должны были уйти со своим полком. С теми же, кто остался, мы стали большими друзьями, и наш дом стал их домом.

Мы много музицировали, пели и танцевали... Начался роман, и в один прекрасный день Николай Владимирович Бирюков попросил моей руки.

Это был очень напряженный момент для Володи и меня...

Напряжение достигало предела. Мы умоляли маму, чтобы она рассказывала скорей, заканчивала с этими гвардейцами и продолжала о поездке в Елисаветград. Каждый раз мы боялись, что она все же выйдет замуж за Бирюкова. Мама смеялась и растягивала кульминацию своего рассказа. Няня говорила нам, чтобы мы не волновались так, а то мы будем плохо спать и намочим в кровать.

— Одним словом, я не вышла замуж за Бирюкова. Война на Балканах закончилась, и все гвардейцы вернулись в Петербург. Мы на всю жизнь остались хорошими друзьями. Многих я встречала позже. Они стали генералами, губернаторами.

Няня говорила нам, что уже пора спать. Она оставляла свое шитье, и мы расходились. Если бы мы долго не ложились спать, отец бы рассердился.

На следующий день мы настойчиво просили рассказать нам об их любви.

* * *

Заканчивались замечательные осенние дни у чудесного синего Черного моря. Воздух был прозрачным. В ноябре прогулки по берегу моря закончились, и началась настоящая осень. У нас был очень уютный дом: светлый и теплый. Мы с няней ходили по магазинам, выбирали себе на зиму вещи, много времени проводили за шитьем. Все гости, приезжавшие на лето, разъехались, и дом наш опустел. Папа работал в конторе, братья были в гимназии. Тетя Маня и дядя Витя, сестра и брат нашей мамы, тоже учились в гимназии. Обычно около 4-х часов к нам на чай приходили друзья. По вечерам я часто пела и аккомпанировала себе на рояле.

* * *

— Однажды моя мама получила письмо от дяди Кости и тети Нащенко. Они просили, чтобы меня отправили к ним в Елисаветград. "Как же ты туда поедешь? Поездом слишком долго, целый день и ночь". Мать не зна-

ла, как решить. Но я настаивала на отъезде. Я сумела убедить маму, что это не так уж далеко, и сказала, что поеду туда с друзьями.

В первый раз в жизни я ехала поездом... Костя и Нащенко были в восторге от моего приезда. Жили они очень скромно. Дядя Костя был служащим в городской конторе, и роскоши у них не было, но я провела в этом скромном доме счастливые дни и встретила там папу. В Елисаветграде было много хороших и интересных людей. Зимой туда приезжало много помещиков из округи, и так как город был небольшой, все друг друга знали. Меня сейчас же всем представили, и на меня посыпался град приглашений: на вечеринку, катание на коньках или на тройке. По вечерам мы музицировали. Костя часами играл на рояле, а когда я пела, он мне аккомпанировал. Так прошло время до Рождества.

В январе мать настояла, чтобы я вернулась домой. Но я не хотела уезжать от дяди с тетей.

Много времени мы проводили в очень приятной семье Абатца. Мадам Абатца, узнав, что я собираюсь уезжать, сказала мне: "Ты не можешь уехать сейчас, Елена, так как я устраиваю бал в честь нашего дорогого друга. Замечательный человек! Он как раз сейчас вернулся в имение, и я обещала ему представить тебя. Обещай мне, что ты останешься еще на 2-3 дня". Я очень обрадовалась, что мой отъезд откладывается, и написала матери причину.

Я надела белое платье и сережки с голубым камнем, которые сыграли в моей жизни решающую роль.

Мы спросили: "Почему?".

— Вы потом узнаете, не торопите меня.

Зима была холодная, мы должны были ехать на санях. Мадам Абатца приняла меня с необыкновенной теплотой, так как это был последний вечер перед моим отъездом.

Мы знали, что теперь наступает самая важная часть в маминой истории, мы подвигались к ней все ближе и ближе и смотрели на нее затаив дыхание. Мама смеялась, а няня качала головой. "На сегодня это все", — дразнила мама.

— Начался бал. Незнакомый господин после представления хозяйке подошел прямо ко мне и попросил, чтобы нас представили друг другу. Весь вечер он оставался возле меня.

Мы очень любили нашего отца, и в этот момент рассказа мы чувствовали, что он стал нашим, и жизнь нашей матери как бы прикасалась к нам. Эти драгоценные моменты были полны счастья. Какая счастливая супру-

жеская жизнь была у них! Люди ищут счастья в славе, в богатстве и порой часто проходят мимо счастья, которое рядом. Счастье там, где есть любовь. Теперь к любви относятся шутя, и порой дети рождаются там, где нет счастья, без любви. Теперь мало уважают тонкие детские чувства. Я счастлива, что у меня было детство, построенное на любви и уважении к родителям и друг к другу. Мы не были избалованы, но наши детские души не были изранены ничем: ни словом, ни действием. Мы всегда были окружены любовью и уважением. Это была чистая жизнь, которая отражалась в отношениях наших родителей.

— На следующий вечер после бала у Абатцы папа пришел с визитом в дом к Нащенко, и после этого он под разными предлогами приходил каждый вечер. У меня была пелерина из белок с маленькими хвостиками, которые легко отрывались. Вот отчего он постоянно приходил. Каждый день он находил у себя новый хвостик. Моя тетка сказала ему: "Оставь эту игру, просто приходи к нам".

Пришел день моего отъезда, и папа попросил, чтобы я вышла за него замуж. Для меня это был сюрприз. Нужно было принять такое жизненно важное решение, в то время как я была знакома с папой всего несколько дней. Я его почти не знала и попросила подождать. Но он был совершенно не согласен с этим. Все же мы договорились, что он поедет в Николаев, где жили его тетки и был его дом. Он хотел сообщить им о своем решении и привести в порядок дела, так как в ближайшее время он не предполагал возвращаться туда. "Вы же, — сказал он мне, — должны поговорить с Нащенко и Костей и дать мне через неделю положительный ответ". Он поговорил с моими дядей и тетей и уехал.

Дядя и тетя были счастливы и не могли понять, зачем мне нужно время для раздумий. "Леля, как ты можешь быть такой осторожной? Лучшего человека ты не найдешь!" Они хотели сразу же пойти в дом Абатцы, чтобы сообщить им это радостное известие, но я попросила их обождать, пока папа не приедет назад. Маме я написала, что приеду позже.

Папины тетки Ксения Михайловна Соколова и ее сестра графиня Наталья Михайловна Кантакузен (урожденная Кирьякова) были чопорные пожилые женщины, которые говорили все время по-французски. Они совершенно не обрадовались папину сообщению. У них уже была на примете богатая невеста из их круга. Но папа повел себя решительно и заставил их дать свое благословение. Он взял с собой сундучок с драгоценностями, которые получил в наследство от своей матери и возвратился в Елисаветград.

...Наступило 7-е февраля. В этот день папа официально попросил у моих родителей моей руки.

Сейчас я это тоже пишу 7-го февраля...

— Я открыла сундучок и начала примерять эти замечательные ювелирные изделия. Папа же сказал мне: "Эти простые голубые сережки, что на тебе, самые красивые. Ты была в них в день нашей встречи. Мне нравится их простота".

Прошло много лет, и большевики забрали все, кроме одного кольца с перламутром, которое принадлежало Матильде Бонапарт. Второе кольцо с розовым камнем было когда-то заколкой для галстука дедушки Егора Егоровича. Он был генерал гвардии, был тяжело ранен во время войны с Наполеоном. Егор Егорович был уже в отставке, когда женился на моей бабушке Юлии Кирьяковой во Флоренции. Там же родился и мой папа.

Бабушка и дедушка жили какое-то время во Флоренции и Венеции, потом переехали в Одессу, позже — в Воеводское, где дедушка вскоре умер. Бабушка Юлия Михайловна умерла от тифа, когда моему папе было всего 2 года. Так что мой папа был полным сиротой с двух лет.

Приближался пасхальный пост, и отец торопил с приготовлениями к свадьбе, так как во время поста играть свадьбу не разрешалось.

День свадьбы был назначен на 26 апреля, первое воскресенье после Пасхи.

После свадьбы мама и папа уехали за границу и вернулись только к Рождеству. Они были в Вене на свадьбе кронпринца Рудольфа с бельгийской принцессой Стефанией. Были в ресторане "Фоксгарден" и слушали там Иоганна Штрауса. Потом поехали в Париж, где жили несколько месяцев. У папы в Париже было много родственников — тети и двоюродные сестры, вышедшие замуж за французов.

Папа и мама очень быстро влились в высшее французское общество. Мама брала уроки пения у месье Когана, дирижера Парижской оперы.

Назад в Одессу они поехали через Дрезден. Там папа представил свою жену семье Краус, у которых он жил во время учебы в Германии. Многие русские аристократы учились в то время в Германии или в других странах, за границей. Мадам Краус поздравила папу с его выбором. Он был ее любимым квартирантом и очень хорошим музыкантом.

Медовый месяц у папы с мамой закончился. Очень печальным было возвращение в Елисаветград. Дядя Коля, мамин любимый брат, был очень болен. Он умер на Рождество. Утешал маму мой отец.

7 февраля 1882 года, как раз в день венчания, я родилась. Ожидали сы-

на, но папа был очень рад, что все хорошо закончилось, и вскоре забыл о своем желании иметь мальчика.

В Воеводском заканчивались приготовления к приему молодой семьи. Мой дедушка, Милентий Димитренко, и бабушка Мария Осиповна позаботились, чтобы заранее все было приготовлено. Дедушка был сам не свой от радости.

Ничего не может быть красивее и поэтичнее, чем Россия в мае. Ничего не может быть трогательнее и волнительнее, когда в прекрасном поместье увидишь любимую дочь и маленькую внучку Ольгу!

В это время года недостаток модерна и комфорта не заметен так, как зимой. Когда карета подъехала к усадьбе, они увидели старинный маленький дом с гнездами аистов на крыше. Моя мать просто не могла представить себе, что она будет жить в таком простом доме. Она не знала сельской жизни, так как выросла в блестящем одесском обществе. Потолки были низкие, комнаты темные, так как дом был окружен огромными деревьями. Обстановка сохранилась еще со времен прадедушки, и моя бабушка не имела времени ничего изменить в ней. Никто из семьи Кирыковых в Воеводском не жил, так как их главное большое поместье было в Ковалевке, на реке Буг. В Воеводское приезжали только люди, которые занимались регистрацией и контролем имений. Основной мебелью были большие диваны, на которых они ночевали. Когда папа приехал туда после обучения в Германии, он почти ничего не изменил там. Хотя мой отец был очень богат, он всегда оставался очень скромным и никогда ничего не желал для себя. Отец всегда любил только основательные вещи, и все, что он впоследствии покупал: полки, стулья, письменные столы — все было очень компактно и практично. Он ненавидел всякую мишуру и дешевые вещи.

Моя мать была разочарована всем, что увидела в Воеводском, но там все лето прожили ее родители и ее братья, которые наслаждались свободой. Им понравились лошади, конюшня, коровник, мельница и сады. На студентов из Петербурга все это производило большое впечатление.

Воеводское

В июне и июле все дамы были заняты ягодами и фруктами. Они по традиции больших поместий собирались все вместе во дворе, где варили джемы и варенья. Маму это очень веселило, так как раньше, в Одессе, она ничего подобного не видела. Не было ни одной помещицы, которая не варила бы в своем поместье собственное варенье.

Во дворе разводили огонь и приносили огромные медные тазы, полные ягод. Всем заправляла няня. Мать, конечно, тоже участвовала во всем этом. Она снимала пенки с варенья и собирала их в блюдце. Мой отец очень любил эту пенку, и ему всегда ее приносили. Бабушка во время варки варенья сидела возле моей коляски. Потом, когда мы стали старше и даже когда были почти взрослыми, мы всегда окружали эту компанию, чтобы получить что-то вкусное. Нам очень нравилась эта экзотика.

Осенью все разъехались. Взрослые в Одессу, братья матери в холодный Петербург. Осень всегда была меланхолической порой. Журавли улетели, птицы не пели, дом опустел, и стало грустно.

Отец мой часто уезжал по делам в Елисаветград, в управу. Соседей не было. Самый близкий врач жил в 15 км от нас, а церковь была в 10 км. Единственным нашим развлечением были няня и Наталья Васильевна, которая иногда приходила.

Это было печальное время, так как в этот год умерли дедушка и дядя Володя, который не смог перенести холодный климат Петербурга и умер от скоротечной чахотки. Кроме этого, пять братьев матери умерли еще до совершеннолетия. Лучом солнца было рождение моего брата Володи 25 января 1884 года. Я его очень любила.

Пришла зима. Все покрылось снегом, и мама загрустила. Это отражалось на всем. Она часто впадала в меланхолию и скучала. Она уже не была так весела и беззаботна. Даже когда все вокруг веселились, мама уходила в свою комнату. Папе было грустно, что мама так и не смогла стать помещицей. Больше трех-четырёх лет мама эту скуку переносить не могла.

После третьей зимы и смерти моего дедушки, ее отца, папа предложил ей вернуться в Одессу к матери и нанять дачу для нас на берегу моря. Мама свою юность провела на даче, у самого моря. Потом у дедушки Димитренко пошатнулись дела, и он вынужден был продать дачу. Часто мама нам говорила: "Ах, дети, если бы вы только знали, как бы я хотела вернуться в Одессу! Я бы просто могла вас оставить с няней и Натальей Васильевной, ведь она приехала помогать нам. Кроме того, и папа был бы с вами".

Рождение Джорджа

Клерхен была единственным человеком кроме моей матери, которая присутствовала при рождении твоего отца. Потом пришли трудности, и меня нужно было оперировать дома. Операция длилась два часа, и доктор использовал Клерхен в качестве анестезиолога. Она была первая, кто

взял твоего отца на руки. Она смотрела за ним 15 лет. Клерхен полностью посвятила себя ему, так как я много лет болела и даже не могла брать его на руки. Это было в Санкт-Петербурге. Доктора уговаривали меня поскорее ехать на юг. Но это был 1905 год — первая революция, и поездки в то время были очень опасны.

...Вместе с маленьким сыном я поехала из Петербурга к родителям в Одессу. Во время всего пути у меня была очень высокая температура, я не могла кормить Джорджика, и голодный сын все время плакал. И вот в таком отчаянном положении меня привезли домой к родителям.

Для меня это было счастье! Выехать из мрачного и дождливого Санкт-Петербурга и приехать обратно на солнечный юг, в солнечную квартиру с моими любимыми родителями. Если бы ты только знал, мой дорогой внук, сколько меня окружало любви!

Меня положили в спальне родителей, постоянно заботились обо мне. И когда я открывала глаза, я видела мою любимую маму. Мне на несколько минут приносили моего сына Джорджика, но я просто не хотела видеть его кормилицу и знать, что его кормит другая женщина. Это было непереносимо. Кроме всего прочего, состояние мое становилось все хуже и хуже. Доктора приходили и уходили. В конце концов, после консилиума с профессором Вальтером, который в то время был знаменит в Одессе, он высказал свое заключение: "Когда я приду завтра, я хочу видеть ваш билет на Ривьеру. Ты должна жить на юге".

Мой муж Миша (von Dox) телеграммой был вызван из Санкт-Петербурга и вместе с родителями проводил меня до российской границы. Он должен был остаться из-за своей службы у императора.

Ситуацию спасла Клерхен. Она осталась с маленьким сыном в Одессе.

После моей поездки на Ривьеру Миша привез меня в Воеводское. Его освободили на время от службы, и весной он приехал, чтобы сменить моих родителей. Мой отец в то время был предводителем дворянства и должен был быть в Елисаветграде. В то время в Херсонской губернии была созвана Дума.

Какой радостью для меня было снова увидеть моего маленького Джорджика! Он был такой красивый. Его нарядили специально для моего приезда. Он протянул ко мне свои маленькие ручки. Это было замечательно! Потому что обыкновенно к незнакомым он не тянулся, а меня он почти не знал.

Мне запретили обнимать и трогать его.

В это лето 1906 года я поправилась лучше, чем за границей. Мы попросили Клерхен, чтобы она с Джорджиком сопровождала меня в Сент-Мо-

ритц. Без сомнения, Джорджик должен был ехать со мной, и доктора поняли, что без сына я никогда не поправлюсь. Мама рассказала им, как я страдала, плакала и скучала по нему.

Переживание с волками

Я редко видела волков. Летом они все исчезали. Но два случая остались ярко в моей памяти.

В один из дней отец устроил охоту на волков. Это было зимой. К саням привязали поросенка. Он должен был своим громким визгом привлечь волков. Но после долгой многочасовой езды в зимнюю лунную ночь по блестящему скрипящему снегу в степи охотникам не повезло. Во второй раз смотритель парка сказал нам, что голодные волки окружили его сторожку и целую ночь страшно выли. Рассказ о голодных и воющих волках в нашем парке произвел на меня очень большое впечатление.

Дважды нам говорили, что за степью в лесу видели несколько норок. Мы поехали в степь на телеге, замаскировавшись соломой. Но когда мы приблизились к норкам, они разгадали наш обман. Когда мы подъехали еще ближе, они исчезли. Второй раз мы видели их, когда гуляли с матерью в степи. Они позволили нам подойти очень близко. В другой раз мы видели куропаток и диких уток.

Мой отец с братьями выходили с собаками охотиться на кроликов.

Одесса

После третьей зимы в Воеводском папа предложил маме вернуться в Одессу и нанять дачу. Это был замечательный дом на Среднем Фонтане недалеко от бывшей бабушкиной дачи. Дача принадлежала греку.

Мои первые воспоминания связаны именно с этим домом. Я помню уютную террасу, где мы с няней и Володей пили чай, а Володя всегда просил чай без молока. Няне это не нравилось, но она не смела противоречить. Я помню много цветов и статую Венеры. Сад доходил до самого моря. Был очень крутой спуск, покрытый кустами и цветами. Внизу было море. Этот запах цветов, кустов и цветущих деревьев преследовал меня всю мою жизнь. Но самое замечательное — это был покой. Россия тогда еще не была так перенаселена, как сейчас. Мы были одни в природе, и море принадлежало нам. Между скалами была переодевалка. Мы переодевались там и часами купались. На даче ни-

когда не было скучно. Обычно около четырех часов приходили знакомые, бабушка, тетя Маня, мои дяди.

Как только мама подготовила дачу и мастерски обставила ее, мы тотчас переехали. Потом приехал папа.

Это было незабываемое утро. Возможно, я запомнила это так хорошо, потому что мои родители очень часто вспоминали об этом, и их рассказ как бы переплелся с моими воспоминаниями... Когда мой отец вышел на террасу и увидел цветущий сад, он поднял маму высоко в воздух и воскликнул: " Это счастье!". Я же боялась, что папа уронит маму, хотя для него она была очень легкой.

Вскоре из деревни доставили жеребцов, которых папа выбрал для нас. Они были полны огня. Вместе с лошадьми приехал и кучер Иван.

Мне вспоминается еще... Невдалеке от нас был монастырь, куда по воскресеньям мы ходили на службу, там же рядом было кладбище, где была похоронена папина сестра. Она умерла, когда ей было всего 10 лет. У папиной сестры был очень трогательный памятник — ангел из мрамора. Каждый раз, когда мы приходили сюда, мне было очень грустно, и я всегда плакала. Позже мы узнали, что мама знала этого ангела всю свою жизнь. Он тронул ее душу еще в детстве. Было ли у нее такое предчувствие, что в один прекрасный день она сама станет баронессой Швахгейм?

В Одессе мы проводили осень и зиму. С мая по октябрь мы жили в Воеводском.

Одесса лежит на берегу Черного моря. Основала город Екатерина II. Это она велела построить здесь порт. Весь город стоит на земле моего прадедушки Кириякова. Расположен он очень красиво. Одессу часто называли "Южная Пальмира". Для строительства города Екатерина II привлекла главным образом иностранцев, которые обустраивали город, строили порт, замечательные здания, парки и сады. Главными исполнителями ее планов были де Рибас, герцог Ришелье, граф Ланжерон, а впоследствии граф Воронцов, и улицы Одессы носили их имена. Аристократы строили в городе дворцы. Одним из самых выдающихся зданий был дворец графа Воронцова. Дворец находится в очень красивом месте, в начале самого красивого на свете бульвара с замечательным видом на море. С одной стороны бульвара были сады и парки, а на другой стороне — рестораны, дворцы, гостиницы и два памятника. В центре бульвара была парадная лестница, которая спускалась в порт и кончалась площадью с церковью. Утром на бульваре гуляли дети с нянями и гувернантками. В 12 часов стреляла пушка. Ее сняли с турецкого корабля, и стояла она возле здания городской думы дулом к морю. Выстрелы пушки слышны были во всем городе.

Между двумя и тремя часами картина менялась. По заасфальтированной улице, что в то время было большой редкостью, разъезжали в экипажах дамы. Они разворачивались возле дворца графа Воронцова и стояли в главном сквере. Там они оставались некоторое время, беседовали, и зрелище это очень нравилось людям.

На бульваре играла музыка, в кафе царило веселье. Зимой на бульваре людей было меньше.

На другом конце был театр — гордость города. Он не зря знаменит. Оперы в Париже и Вене были более богаты, но расположение, акустика и комфорт Одесской оперы превосходили всех.

Улицы в Одессе очень широкие, по обе стороны их высажены акации. В мае месяце, во время их цветения, весь город благоухал. Климат в Одессе очень приятный, умеренный. Не очень холодная зима и жаркое лето. Те, у кого была возможность, летом выезжали на дачу. Но это были не только богатые. Многие одесситы имели огороды и домики у моря. Домашний скarb грузили на телеги и увозили в летний дом. В начале мая можно было наблюдать целые караваны из подвод и телег, отправляющихся на дачи. Мужчины, днем работающие в городе, вечером, после работы, поездом или трамваем отправлялись за город. Эта дачная местность называлась "Фонтаны", но фонтанов там не было.

Малый Фонтан был ближе к городу. Там было очень хорошо: рестораны, морские ванны, музыка. Средний Фонтан был знаменит большими имениями. На Большом Фонтане постройки были значительно меньше.

Лиманы

Лиманы характерны для нашего южного края. Грязи лиманов в сочетании с очень соленой водой обладают хорошими лечебными свойствами. Они великолепно лечат ревматизм и многие другие болезни. Окрестности лиманов пустынные, непривлекательны, полностью отсутствует комфорт. В основном на лиманы ездил бедный люд, но порой приезжали и богатые в каретах и колясках.

Одесса была очень богатым городом и быстро росла. Во времена моей юности в Одессе проживало 600 тысяч человек. Это были люди самых различных национальностей: греки, итальянцы, немцы, евреи, очень много было французов. Расположение города и порта очень способствовало развитию торговли. Город был "порто-франко", то есть вольным, свободным городом. Иностранные товары не облагались пошлиной, были очень

дешевыми по сравнению с другими городами, и это привлекало сюда людей со всей России и из-за границы. Кроме делового люда в Одессу приезжали и многие помещики, которые проводили здесь зиму.

Здесь, на юге России, были и замечательные условия для развития сельского хозяйства. Императрица Екатерина II раздавала дворянам огромные земли. Мой дедушка, Михаил Михайлович Кирьяков имел 800 тысяч гектар. Каждый гектар — 2,5 акра. Это даже трудно представить себе.

Покойный барон Фальсфайн имел 100 тысяч акров. Когда он однажды ехал в поезде, один помещик хвастался, что у него 6 тысяч баранов. На что Фальсфайн ответил ему: "А у меня 6 тысяч овчарок, чтобы смотреть за баранами". И это не было шуткой.

Но время шло, и ситуация стала меняться. Огромные поля, где раньше пасся скот, стали засеивать пшеницей, овсом, кукурузой и свеклой. Урожай переправляли в Одессу, а оттуда во все уголки земли. Главным образом этим занимались греки и итальянцы, которые очень быстро разбогатели. Второе поколение этих купцов стало мультимиллионерами. Позднее все мелкие предприятия перешли в руки крупных предпринимателей, а владельцы их обанкротились.

В 1918 году мы переехали в Одессу.

Атмосфера в городе была совершенно другая, это заметили даже дети. У нас была большая светлая квартира из многих комнат. Все были довольны, веселы и счастливы. Мать тоже была довольна, что снова очутилась в своей среде. Она устроила и меблировала квартиру — то, что она всегда умела очень хорошо делать. Жизнь наша протекала спокойно и приятно.

Каждый адаптировался в своей среде и жил на собственные средства — кто богато, кто беднее. Никто не желал оставлять свою родину. Никто не искал счастья за границей. Составлялись долговременные планы с надеждой увидеть их реализацию. Но, все-таки... кругом было много дискомфорта — нужды и несчастья. Но не было ни угрозы войны, ни ощущения гражданской катастрофы.

Музыка

Это было в один прекрасный день в июне. Голубое небо и белые облака парили над головой, а воздух был напоен запахами цветов. Приехал папа. Он был в Одессе, потом застрял в своей конторе и, наконец, ему удалось приехать. На террасе был накрыт большой стол,

и по количеству приборов мы поняли, что должен еще кто-то прийти. Но кто же это мог быть?

Папа пришел с очень симпатичным молодым человеком и сказал маме: "Лелечка, можно тебе представить нашего нового начальника? Он уже был в конторе". Мама его очень вежливо приняла, но я заметила, что для нее это был сюрприз, и это ей не очень понравилось.

Во время обеда гость вел себя совсем не как чиновник, а папа относился к нему очень дружелюбно. Очень много говорили о музыке, и оказалось, что наш новый гость играет на скрипке.

После обеда папа пригласил гостя к пианино. "Давайте попробуем сыграть что-то простое, — сказал папа, — и послушаем, как это будет звучать в этой комнате с низкими потолками". После того как они играли некоторое время, в гостиную вошла мама и сказала: "Здесь что-то не так. С кем имею честь?". "Разрешите представить вам самого знаменитого скрипача Михаила Михайловича Сахарова. Он два дня назад играл в симфоническом оркестре с Чайковским. Я был восхищен его игрой, а Чайковский предсказывает ему большое будущее. Я пригласил его провести у нас лето, пока он не поедет в свой тур по Европе".

С 1894 года у нас начались самые прекрасные музыкальные лета. В те годы мы наслаждались вечерами прекрасной музыкой.

Михаилу Сахарову в то время было 20-22 года. Это был скромный, остроумный молодой человек. Мы с Володей очень любили его. Он все время развлекал, веселил нас, и мы не могли себе даже представить лето без него. Вечером мы садились каждый на свое место и благоговейно ждали предстоящего наслаждения. Музыку любили не только я с Володей, но даже 6-летний Сережа, который основательно усаживался на мамины колени и широко улыбался, когда играли его любимые мелодии. Во время этих замечательных вечеров ему позволяли позже ложиться спать.

Иногда после сложных пассажей Сахаров целовал папу и говорил: "Ах, Егор Егорович, никто не умеет аккомпанировать так, как вы, это такое наслаждение!".

Хочу сказать еще несколько слов о Михаиле Сахарове. Мне вспоминается то романтическое время... Мы уже стали старше. Воздух был напоен ароматами цветов и трав, дверь на террасе была открыта, мы не зажигали свет. И прекрасный лунный свет, и звезды на небе, и... музыка на земле.

Михаил много репетировал, но это никому не мешало, так как его поселили в ту часть дома для гостей, где жили учителя и старшие дети. В свободное время он с ружьем и собакой ходил на охоту. Он был страстный

охотник, но домой никогда ничего не приносил. Михаил немного побаивался мою маму. Она была строга с людьми и ожидала от них требовательности к себе. К Михаилу она относилась более мягко, но однажды все же был инцидент: "Что это за пятна у тебя на шее?" — "Они, наверное, от моей скрипки, Елена Мелентьевна" — "Я не думаю, что они только из-за скрипки. Вот мыло и сода, иди и вымой свою шею". На следующий день во время обеда Михаил смеясь рассказывал, что он использовал очень много соды, и это было очень трудно, но пятна исчезли. Мы же веселились от души.

В начале XX века Михаил поехал за границу, женился на англичанке и поселился в Англии. Когда в 1902 году мы с мамой были в Берлине, он пришел навестить нас. Мы, конечно же, пошли на его концерт и очень радовались его успеху. После этого мы никогда его больше не видели. Я Михаила всегда вспоминаю с благодарностью. Благодаря ему мы в дни нашей молодости провели много счастливых часов.

Бабушка и тетя Маня

В то время мы наслаждались не только игрой на скрипке и папиной замечательной игрой на рояле, но я хочу, чтобы ты представил себе, Джорджик, какую прекрасную музыку и какие концерты мы слушали! Вернулась в Одессу мамина младшая сестра тетя Маня. Много лет она прожила в Париже. Теперь летние месяцы она проводила с нами. Тетя Маня готовила себя к сценической карьере и брала уроки пения в Париже у знаменитой старой мадам Виардо. Но неожиданно она встретила очень богатого американца, вышла за него замуж и уехала в Америку. Для бабушки Марии Осиповны Димитренко это было большим огорчением. Тетя Маня не только замечательно пела, но еще была совершенно очаровательна. Мы с Володей знали все ее арии и пели их целый день. Мы кричали в полный голос на всю степь "Я люблю Вас!". Сейчас я уже не помню все те замечательные русские романсы и их композиторов.

Для нас было самым большим праздником, когда наши родственники возвращались из Франции. Родители ехали их встречать на вокзал, мы же оставались и с нетерпением ждали приезда их большой кареты. "Они приезжают, они приезжают!" — кричали мы и были счастливы приветствовать дорогую старую бабушку и чудесную тетю Маню. Нам было интересно услышать последние новости из Парижа. Тетя Маня и бабушка были друзьями семьи Докс и всегда привозили нам подарки. Тогда впервые я услышала о семье Докс.

Бабушка всегда радовалась возвращению домой. Жизнь на Западе ей совершенно не подходила. Бабушка была очень религиозна, строго придерживалась всех обычаев, не пропускала ни одной службы. Эта сильная вера помогала ей и спасала в ее очень тяжелой жизни. Она потеряла пятерых молодых сыновей и любимого мужа. В каждом человеке бабушка видела только хорошее, никого не осуждала и старалась всех понять. Она была замечательной, и мы все молились за нее. Я до сих пор вижу ее перед собой: всегда в черном, с черной шелковой ленточкой на шее, на голове — черный платок. Я часто вспоминаю бабушку в ее комнате в окружении портретов близких. 12 лет она посвятила любимой дочке Мане. Бабушка оставляла свое теплое гнездо в России и проживала холодные зимы в Париже. После отъезда тети Мани в Америку бабушка очень страдала. Она все время ждала, что тетя Маня приедет навестить ее. Но Америка была очень далеко, приехать оттуда, а затем ехать назад было очень тяжело. Бабушка так и не дождалась тетю Маню. Через несколько лет она умерла.

Сегодня, в 1959 году, я могу представить себе, как тяжело бабушке было оставить Одессу, уютную квартиру, прислугу, местную церковь, друзей и знакомых и жить в маленькой квартирке в Париже без прислуги, с людьми, которых она с трудом понимала, так как не очень хорошо знала французский язык. В то время я не могла понять всего трагизма ее положения. Дети часто так эгоистичны.

Еще о детстве

Два раза в неделю у нас были уроки танцев. Но, если говорить честно, мы не любили танцевать. Это все было слишком официально. По четвергам в 4 часа мы должны были быть полностью готовы. Мы одевались как куклы. Володя в белый костюм, я в белое платье с воланчиками и черные лаковые туфли. Волосы мне накручивали на бигуди. Подъезжала карета с шальями и шкурами, и нас везли на танцы к Папудовым.

Когда говорят о Папудовых, имеют в виду только мадам П. Она была уже немолодая, но все еще очень красивая гречанка. В молодости во Франции во дворце ее заметили благодаря ее красоте. Когда она выезжала в театр, то ослепляла бриллиантами всю оперу.

Во времена моего детства дом Папудовых был самым большим в Одессе. Он тянулся вдоль всего квартала. Комнаты для приема можно было сравнить с дворцовыми залами. Лестницы, по которым мы поднимались, были украшены цветами и скульптурами. Все дети приходили с гувер-

нантками. Прислуга забирала нашу одежду, и мадам Корнер, красивая пожилая дама, гувернантка правнучки хозяина Одетты Скаршински, вела нас в зал. Он был огромный, с большими люстрами, свисающими с потолка. Часть зала была приготовлена для нас. Преподаватель танцев, мадам Медведева, очень строгая дама, которая нам казалась невыносимой, уже стояла у рояля. Мы ее очень боялись и вели себя тихо. Гувернантки сидели у стены и глазами следили за нами.

С такими строгостями не было никакого настроения.

Мадам Папудова организовала эти танцы для своей правнучки, которая потеряла мать. Одетту воспитывали бабушка и отец, который обожал ее и очень баловал.

Скаршинские были нашими соседями. Они жили в 25 километрах от Воеводского. Так же как Кирьяковы, они получили огромные поместья от Екатерины II.

Иосиф Петрович был воспитанный, очень симпатичный человек с хорошими манерами. Много лет они дружили с моими родителями, и несколько раз я гостила у них. Иосиф Петрович тоже присутствовал на танцах у Папудовых.

После танцев, когда все дети ушли домой, нас пригласили в будуар к мадам Папудовой. Эта высокая темноволосая гордая женщина сидела на диване под портретом своей умершей дочери. Ее окружали гречанки, смуглые и красивые, как она. Мадам Папудова дала нам шоколад и попросила Володю что-то спеть. Володя, которому было всего 5 лет, пропел свой репертуар. Все обняли и поцеловали его, а потом нам позволили пойти поиграть с Одетт. Одетт была замечательная девочка. После смерти мадам Папудовой она переехала в Петербург и большей частью жила за границей, о чем я очень жалела. Она вышла замуж за итальянского маркиза. Мы ее видели только один раз, незадолго до моей свадьбы, когда она приехала в Одессу, чтобы представить своего мужа.

Уроки танцев у Анатры

Уроки танцев у Анатры не имели ничего общего с уроками танцев у Папудовых. В моей жизни, в юности и позднее, семья Анатры играла очень большую роль. Мы дружили с Емой и Минзой, дочерьми Бартоломия Ангеловича.

Мой папа долгое время прожил с ним вместе в Дрездене в знаменитом пансионе Краус. Анатра был выдающимся человеком, и папа его очень

любил. Он был единственным человеком в Одессе, с которым папа был на "ты". Жена Анатры приехала из Вены. Минза и Ема были для меня как сестры, и мы очень часто виделись. Жили Анатра от нас очень близко, и по воскресеньям мы, скромно одетые, ходили пешком в церковь. Часто нас приглашали к Анатре на обед. Там было много и других детей, в основном это были родственники. Семья у них была огромная. Наш Володя дружил с Володей и Мишей Анатра, я же дружила с их сестрами Емой и Минзой.

На уроках танцев присутствовали все родственники, в основном итальянцы. Учителем был герр Цорн. Несмотря на то, что ему было уже 70 лет, он пластично, как мяч, прыгал через весь зал и элегантно показывал нам, как нужно себя держать. Он был немцем, но с нами всегда говорил по-французски. Мы все его очень любили.

Эти уроки танцев у Анатры проходили из года в год. Мы становились барышнями, выходили замуж, и наши дети занимали наше место на танцевальном паркете. Менялись учителя, гувернантки, матери становились бабушками, а танцы у Анатры все продолжались. Даже танцевальный зал не изменился. Он был только увеличен, и там давали большие балы.

Мой сын Джорджик, твой отец, тоже танцевал там со своими друзьями Мишей Головиным и Эгаром Хюне. Эти мальчики очень хорошо себя вели, а Джорджик постоянно баловался. Учителя и дети постоянно жаловались на него. Дина, дочь Емы, тоже все время жаловалась: "Мама, никто не может танцевать с Джорджиком. Он постоянно дурачится, его никто не может приручить".

Все это — музыка, девочки, друзья — возбуждало его. Я просила мужа, чтобы он хоть иногда приходил на эти уроки и успокаивал его. Но это мало что дало. Миша вместо того чтобы смотреть за сыном, разговаривал с родителями и мало обращал внимания на порядок.

Семья Докс

И вот мы прибыли в семью Докс.

Твой прапрадедушка Виктор Федорович Докс не захотел жить в деревне. Он продал все свое имущество, построил в Одессе несколько домов, работал в администрации города, занимая несколько должностей. Виктор Федорович Докс был действительным статским советником, в течение 50 лет — почетным мировым судьей, и умер в 1920 году в возрасте 85 лет. Виктор Федорович был похож на бельгийского короля Леопольда. В обществе он был известен очень широко. Кто его только не знал! Одна-

ко в нем было и много отрицательного. Прежде всего, несмотря на то, что у него были немалые средства, он был феноменально скуп и очень любил ухаживать за женщинами. Эти и другие его отрицательные качества испортили жизнь его жене и разрушили жизнь его детей. У него была очаровательная жена из известной польской фамилии герцога Дунина Барковского. В годы царствования Николая I многие польские аристократы, бежавшие во время восстания в Польше, жили на юге. Мадам Докс не могла выносить жизнь со своим мужем, и когда дети подросли — Нине было 8 лет, Вале 6, а Мише 2 года — она переехала с ними в Дрезден, а позже, через 8 лет — в Париж.

Моя свекровь была замечательной матерью и дала своим детям превосходное воспитание. Миша очень любил свою мать и часто о ней говорил. Эта его черта мне очень нравилась, трогала меня, и это было одной из причин, по которым я предпочла его другим молодым людям. Он же переживал за этих молодых людей, жалел их.

Виктория Францевна Докс в Париже была не так одинока, как в Дрездене. Ее дочь Нина, талантливый музыкант, училась в консерватории в Париже, стала известной пианисткой и часто гастролировала. Виктория Францевна сопровождала ее во всех поездках. В те годы женщины-аристократки за выступления не получали гонорар, только цветы и подарки. И вот однажды Нина получила в подарок великолепное серебряное пианино, которое долгое время стояло рядом с ее роялем. Нина дружила с Чайковским, Рубинштейном и другими знаменитостями. После окончания консерватории Нина попросила Рубинштейна прослушать ее и давать ей уроки, на что Рубинштейн ответил ей: "Я ничему вас больше научить не могу, но мог бы сам научиться у вас". Это была огромная похвала, так как Рубинштейн считался в то время самым выдающимся пианистом мира.

Миша в Париже ходил в лицей. Он до сих пор вспоминает свои школьные дни. Однажды во время драки какой-то мальчик назвал его грязным казаком, на что Миша со злостью так ударил его, что выбил несколько зубов. Он был очень доволен собой, и это даже не имело последствий, так как школьное руководство поняло и поддержало его.

Возвращение в Одессу

В 1903-1904 гг. Виктория Францевна с двумя взрослыми дочерьми и сыном Мишей вернулась в Одессу. Это была сенсация для города. Их сразу заметили, так как они долгое время прожили за границей, и это на-

ложило на них свой отпечаток. Мадам Докс была еще молодая очаровательная женщина. Нина была очень похожа на мать, но более темпераментная, очень живая, высоко интеллигентная и очень талантливая. Она сейчас же стала центром внимания. А возле нее стояла Валя, скромная Валя. Казалось, что она всегда следовала за своей сестрой, как бы оставаясь в ее тени. Валя была маленького роста, блондинка с голубыми глазами, умна, наблюдательна, но всегда молчалива. О Мише — позже.

Доксы сняли большую квартиру напротив Анатры. По вечерам в их окнах можно было видеть большую лампу с шелковым абажуром. В то время это была новинка из Парижа, и мода эта тотчас же разошлась по всему городу.

Виктор Федорович Докс был счастлив. Он очень гордился своими детьми. Нину все приглашали играть на рояле, но она любила выступать перед настоящими ценителями музыки и очень неохотно соглашалась на другую аудиторию. Ах, бедная Нина! Как дорого она заплатила за свою счастливую жизнь! Ее любимый муж Николай Александрович Бабилов был застрелен во время революции. Его казнь была подробно описана в мемуарах одного подозрительного меньшевика.

Мы тоже устроили прием для семьи Докс. Они привезли нам приветы из Парижа от бабушки и тети Мани. Я еще помню двух молодых девушек в белых платьях — Нину и Валу. Мы как дети не должны были находиться там, но мадам Докс настояла, чтобы мы остались. Это была наша первая встреча с этой семьей. В тот день к нам пришли и два брата Виктора Федоровича. Оба были выдающимися личностями. У Анатолия был дар адвоката. Но, к сожалению, когда ему было 38 лет, он совершенно оглох и должен был оставить карьеру. Второй, сводный брат от второго брака, был Николай Федорович Гамалея. Знаменитый русский микробиолог, почетный член Академии и многих медицинских обществ. Он был одним из первых, кто сотрудничал с Мечниковым. Вместе они открыли лаборатории, где работали над вакциной против бешенства. Он был автором многих трудов по микробиологии и иммунологии.

Но... вернемся к Нине. Спустя многие годы она приезжала к нам и подолгу жила в Воеводском. Мы уже жили в новом доме, где стоял чудесный рояль, и Нина много и замечательно играла. Сергей, тогда уже молодой человек, как пришитый стоял у рояля, когда она играла. Его восхищение зажигало ее. У них с Сергеем была душевная привязанность. Нина очень хотела, чтобы Сергей учился петь.

Николай Александрович приезжал на 2-3 дня забрать свою Ниночку,

дать ей отдых. Он не позволял ей много играть по вечерам, так как потом она долго не могла заснуть. Между Бабиковыми были довольно странные отношения. Он ее обожал! Она тоже любила и уважала его, но почему-то всегда называла по имени-отчеству. На все же наши вопросы, почему она так обращается к нему, Нина только отмалчивалась или смеялась.

Первая встреча с Михаилом Докс

При любой погоде мы с фройляйн Нотз и Володей ходили на прогулку. В холодные ветреные дни — в город, а в хорошие дни — в парк или на Маразлиевскую улицу, которая тянулась вдоль парка. Нам больше нравилось ходить в город. Перед уходом фройляйн Нотз обязательно спрашивала, нужно ли сделать какие-нибудь покупки. Это было то время, когда горничная расчесывала и укладывала мамины волосы. Я уже рассказывала, что у мамы были необыкновенно длинные и густые волосы. Ухаживать за ними было нелегко. Их нужно было долго расчесывать и делать массаж головы специальным прибором, который привозили из Вены. Варе, горничной, нужен был целый час, чтобы расчесать их. Волосы, как золотые волны, падали до самого пола. В это время папа сидел рядом и читал вслух газету. "Что мы будем делать сегодня? Пойдем за покупками или будем гулять?" — спрашивали мы родителей. "Сегодня нет ветра, — отвечал папа, — пойдите в парк, там намного лучше воздух". Папе никогда никто не возражал.

Я обычно шла по левую сторону от Клерхен, а Володя — по правую. Он был уже гимназист, в темно-зеленой шинели и фуражке. Мы шли по улице Сабанеева, когда встретили пожилого господина. Нам навстречу шел Виктор Федорович Докс, а рядом с ним — элегантный и необычный молодой человек в форме реальной гимназии. Молодой человек совсем не был похож на наших юношей. Даже шинель сидела на нем особенно, а фуражка слегка была натянута на лоб. Я и все мои 12 лет были очарованы им! Отец и сын остановились и поприветствовали нас, детей. Можете представить, как мне было неловко! На следующий день я сейчас же рассказала Еме все об этой интересной встрече. "Ты не можешь себе представить, какой он элегантный! Его нельзя сравнить ни с кем!" — говорила я ей. Я была счастлива.

Семьи Докс и Анатра жили напротив нас, так что я всегда знала, что там происходит. Вскоре мой секрет открылся, меня стали безжалостно дразнить, и мне было ужасно неловко.

Рождество

Вскоре пришли праздники, и нас, детей, без конца приглашали в разные дома в гости. В России на Новый год тоже зажигают елки. Мы танцевали до 11 часов, потом, нагруженные подарками, шли домой. Обычно к этому времени уже выпадал снег, и я помню замечательную езду на тройках. Сани скользили по хрустящему снегу с огромной скоростью. После душных жарких комнат так приятно было прокатиться и подышать этим замечательным воздухом!

Накануне Рождества праздновали Святой вечер. Мы ели кутью и фруктовый компот. Гостей в этот вечер не было. Елку украшали только для нас, детей. Гости же приходили в другие дни. Семьи, в которых не было детей, елку обычно не ставили.

Когда мы были еще маленькими, и с нами была мадам Лина, подарков нам на Рождество не дарили. Но вечером, когда на елке гасили свечи, мы клали наши ботинки перед камином в холле. Утром 25-го мы очень волновались и с нетерпением ждали, когда нам разрешат пойти в большой зал, чтобы там, возле камина, найти наши подарки. В большом зале собиралась вся семья, мадам Лина и вся прислуга. Мы подходили к камину с сильно бьющимся сердцем. Радость была неописуемая! Дед Мороз всегда клал туда кучу подарков! Когда же мы стали старше, и с нами уже была фройляйн Нотз, мы уже не так поэтично праздновали Рождество, а на новый манер, как за границей. 23-го все помогали украшать елку, а 24-го в 7 часов вечера был большой обед, на который в течение многих лет мы приглашали родственников и одиноких друзей. Так что у меня до сих пор перед глазами дядя Юра, Мария Мануэлла Андеркас, лучшая мамина подруга, со своим сыном Петром Петровичем, дорогая Ольга Павловна Мантенеу, урожденная баронесса Месмахер, двоюродная сестра папы, с мужем Павлом Ивановичем. Все эти люди были нам очень близки.

Я хочу рассказать здесь еще о нашем слуге Андреасе, который работал у нас очень много лет и был как член нашей семьи. Он стал фамильярничать с нашими гостями, и когда однажды к нам пришел один из наших друзей, который долгое время отсутствовал, он сказал ему: "Ваше превосходительство, вы постарели". На сей раз дело ограничилось выговором.

Теперь, дорогой Джорджик, хочу привести тебе наше рождественское меню: уха с рисом, пироги с грибами и капустой, навага — это рыба, которая водится только в реке Неве, а во время Рождества ее привозили на юг специально, замороженной; она была без костей и очень вкусная, — не-

сколько видов фруктовых компотов. Компот — символ смерти, а кутья — символ жизни. Кутья — это вареная холодная пшеница со сметаной, орехами и медом. Конечно, были вина, ликеры и кофе. Вот рецепт кутьи: варить пшеницу до готовности, после ее охлаждения добавить ваниль, мед, орехи и мак. Удивительно вкусно!

Нам с Володей во время этих обедов было очень весело, и мы много смеялись.

После обеда двери большой гостиной открывались, и начиналась раздача подарков и сюрпризов. Часто для папы мы готовили сюрприз: играли на пианино. Но я не думаю, что это было большим наслаждением, так как играли мы неважно. Маме мы дарили маленькие салфетки, которые сами вышивали. Мы же получали замечательные подарки: золото, драгоценности, часы, серьги, запонки, меха и многое другое. Игрушек же нам больше не дарили, так как мы уже выросли.

Мой первый бал

В конце декабря мама сказала: "Ну, вы уже большие, няня вами довольна. Мы устроим вам детский бал. Ответственным за это будет дядя Юра, и это будет совсем как настоящий взрослый бал. Дядя Юра проследит за этим. Со всеми вы должны быть приветливыми. Смотрите, чтобы каждый имел своего партнера, не толкайтесь, не бегите вперед и так далее".

Мишу Докса я не видела с осени. Он еще не выходил в общество, а мне неудобно было спросить, кто и куда его приглашал. Я могла видеть его только издали, когда он выходил из своего дома. Ни в коем случае я не хотела, чтобы кто-то заметил мое увлечение им. Даже Володя не был посвящен в эту тайну. Но, вероятно, мама и Клерхен что-то заметили, так как были подозрительно молчаливы.

4 января 1895 года в нашем доме зажгли все люстры, и пришли гости. Для дам была приготовлена турецкая комната. Для нас же запасли апельсиновый сок, лимонад, содовую воду и конфеты.

Пришел дядя Юра. Мы его очень любили. Он был остроумный, приятный, веселый и для таких встреч просто незаменим. Он показывал разные трюки, фокусы, организовывал маленькие домашние театры. "Приходят гости, как ты себя чувствуешь в роли хозяйки?" — спросил дядя Юра. Вдруг я заметила, что у меня нет нужного платочка, и позвала Клерхен. "Не волнуйся", — утешила меня она, и сейчас же появился платочек.

Моими друзьями были дети Сухомлиновы, Анатра, Радчевы, Строга-

новы и мой первый поклонник, с 12 лет, Алеша Албранд. Все девочки были одеты очень нарядно: в белое, розовое и голубое. 15-летние гимназисты были в праздничных мундирах и белых перчатках. И вдруг! Кого же я увидела! Миша Докс! Такой взрослый молодой человек! Он стоял у двери и разговаривал с фройляйн Дин Роуз. Пригласит ли он меня на танец? И что я буду делать, если первым подойдет другой? Первым подошел Алеша Албранд, но я сейчас же отвела его к другим, у кого не было партнера. Затем вернулась на свое место и стала ждать. Все это время мама наблюдала за мной. Миша встал, подошел ко мне и пригласил на кадрили. Мы не сказали друг другу ни слова. Я очень смущалась, мяла свой платочек, мой кавалер не знал, что со мной делать, и молчал. Ситуацию спас дядя Юра. Он подошел к нам, начал шутить, и Миша Докс вернул меня на мое место. После вежливого обращения: "Мадмуазель, вы любите вальс?" — "Да, я очень люблю вальс", — мы разошлись, и он очень быстро ушел, так как был приглашен в более подходящее для него место.

Наш бал был очень удачным. Мы много веселились, танцевали вальсы, мазурки и другие танцы. Дядя Юра организовал разные интересные игры, фокусы, трюки. Матери должны были силой увозить детей и рассаживать их по каретам. После бала слуги сказали: "Нам больше всего понравилась наша милая мадмуазель. Она была так оживлена и так счастлива!".

Когда все ушли, меня позвала мама. "Отчего ты так поспешила отделиться от Алеши Албранд? — спросила она. — Ты ожидала кого-то особенного?". "Я должна была заботиться о своих друзьях", — оправдалась я.

Новый дом

В 1897 году папа и мама решили построить комфортабельный дом. Мы были уже почти взрослые, и старый дом был слишком мал. Было несколько планов — строить новый дом или же купить другое имение с домом. После долгих обсуждений папа спросил няню: "Что вы думаете об этом? Продать ли нам Воеводское и купить новый дом?" — "Как вам могло прийти такое в голову, Егор Егорович, оставить Воеводское? — удивилась няня. — Это же ваше родовое имение!". Так решение было принято.

Осуществление этого плана папа поручил знаменитому архитектору Mr. Duvren. Он должен был найти для дома подходящее место, используя незадействованную часть сада. Из-за границы были приглашены многие специалисты: инженеры-электрики, мастера по устройству фонтанов и другие. В то время организовать это было очень трудно.

Я хорошо помню день приезда Mr. Duvren, и как мы все провожали его осматривать сад. "Дорогой барон, вы хотите здесь строить дом? В этом лесу? Возле этой усадьбы? Нам нужно будет построить три террасы. Дом с главным подъездом будет расположен на средней террасе, на верхней террасе будет теннисный корт и французский фруктовый сад, на нижней террасе будет фонтан и розарий, к ней будет подходить большая лестница. Все это строительство займет три года".

Папа к плану строительства делал много своих предложений, давая волю фантазии. Из Германии были выписаны квалифицированные садовники: специалист по деревьям и специалист по садоводству и оранжереям. Павел был ответственным за овощи. Он выращивал спаржу, которую рассылали по всей России.

Каждой весной, когда мы возвращались в Воеводское, мы не могли его узнать — все было новое: свинарники, сарай, конюшни. Выросла огромная силосная башня — первая в России. Здания располагались далеко друг от друга и были окружены деревьями и кустарниками. Винные погреба использовали для производства и хранения сыра и других молочных продуктов. Главным образом производили голландский сыр.

Старый дом оставался там же, и позднее в нем жил Володя со своей семьей, женой Катей и дочкой Лялей. Там же были помещения для слуг и контора. В общем, все это планировал и приводил в исполнение твой прадедущка, и ты можешь гордиться им. Все любили и уважали его. Твой прадедущка был примером для всех.

В новое имение приезжало много ученых из университетов, специалистов по агрокультуре и других специалистов в различных областях, многие приезжали просто из любопытства, чтобы увидеть современную модель имения, в которой нашли отражение все последние достижения сельского хозяйства. Началась новая жизнь. Воеводское обрело новый размах. В нем уже не было так одиноко, как когда-то, когда скучала мама в самом начале своего замужества.

Переезд в дом

Во время нашего переезда в новый дом я поднялась по крутой лестнице на чердак старого дома, куда никто из нас раньше не ходил, и там в куче старых вещей нашла замечательный комод величиной приблизительно 1 м x 50 см. Мы с Володией принесли его вниз, и к нашей огромной радости, нашли там долгую переписку моей бабушки Юлии Кирьяковой. Я уже

раньше писала, что меня еще в детстве очень интересовала ее судьба. То, что я знала о ней, я в основном собрала из рассказов бывших крепостных, главным образом, нашей старой прачки, как мы ее называли, бабушки Татьяны. Я часто ходила в прачечную и слушала ее. В основном, это было в те дни, когда она гладила. Я, скрываясь от всех, прибегала к ней. Няня рассказала мне, что папе было всего два года, когда умерла его мать.

Моя бабушка до свадьбы много лет провела в Италии. Она жила с принцессой Корсинией во Флоренции. После свадьбы она еще несколько лет оставалась там, а затем поехала в Венецию. Моя бабушка вела нескучную жизнь, что подтверждают многие письма и записи. Она встречалась со многими аристократами из Италии и Франции, а также со многими русскими.

Мы нашли много писем от графа Воронцова. Они были на простой голубой бумаге, написаны энергичным почерком. Танта Корсиния, придворная дама императрицы, поздравляла бабушку с днем рождения. Граф Воронцов приглашал ее, когда она придет в Одессу, навестить его в Крыму, в его дворце в Алушке. В то время Воронцов был генерал-губернатором Одессы. Очень много о жизни тогдашней Одессы писал А.С. Пушкин, а бабушкина сестра, Ксения Михайловна, рассказывала, как танцевала с Пушкиным.

Ксения Михайловна и ее сестра Кантакузен воспитывали папу после смерти бабушки. Среди этой переписки мы нашли также письма от Матильды Бонапарт, с которой бабушка дружила. Матильда Бонапарт послала бабушке кольцо с жемчугом и рубинами, которое спасла Клерхен и вывезла в эмиграцию. У меня до сих пор есть одна жемчужина, которую вставили в кольцо. После смерти моей незабвенной матери я продала это кольцо.

Пришел 1900 год, и мы переехали в новый блестящий дом, где каждый имел свою собственную комнату. Все было по последнему комфорту. Необыкновенно красивая мебель. Замечательный большой зал с роялем. Великолепные двери открывались на террасу и были затенены бамбуковыми занавесями. С левой стороны от большого зала была голубая гостиная, где обычно находились мы.

Молодость

Жизнь изменилась как в Воеводском, так и в городе.

Я окончила среднюю школу, Володя пошел в старший класс. Появились новые друзья и товарищи, глубокомысленные молодые люди. Вече-

ра по воскресеньям стали очень интересными. Приходили с визитами наши хорошие друзья, а городская молодежь приходила без приглашения. Воздух был напоен романом. Все было очень поэтично. Никто из 17-18-летних мальчиков не позволял себе поцеловать нас или же признаться в любви. Мальчики девочек называли только по имени-отчеству. Все были очень благородны и воспитаны. Я всех принимала в гостиной. Мы танцевали, пели цыганские романсы, очень популярные в то время. Но кроме развлечений у нас были и серьезные рассуждения о литературе и философии. Везде присутствовала Клерхен. Все любили и уважали ее. Мама обычно с родителями сидела в гостиной. В папином кабинете играли духовые инструменты.

Постепенно начались ухаживания, влюбленности и более серьезные чувства. В нашей молодой компании стала появляться и более взрослая молодежь — студенты. Из Петербурга приехал Миша Докс — элегантный офицер, потом Феофелиди и адвокат Стамеров — очень богатый, очень умный и очень спокойный.

Пока Миша Докс был в Петербурге, я забыла о нем. Мое детское увлечение прошло.

Я бы хотела отметить еще братьев Кожевниковых — Сашу, Колю и Леню, которые в нашей компании играли особенную роль. Они ходили в школу вместе с Володией и жили недалеко от нас. Братья Кожевниковы всюду были желанными. Все трое были высокие, красивые, и каждый по-своему был интересен. Саша уже был студентом. Из всех троих он был самым красивым. Он был очень веселый, и из Франции, где обучался восточным языкам, привез французские манеры. Саша приехал домой на каникулы.

Два других брата были более серьезными. Коля был решительнее других. Он первый признался мне в любви. Он произвел на меня такое сильное впечатление, что я пообещала выйти за него замуж. Но это волновало меня все больше и больше, и я лишь успокаивала себя мыслью о том, что скоро он уедет в университет. Клерхен не спускала с меня глаз. Сережу же мои поклонники не очень жаловали, так как он появлялся всегда не вовремя, и нельзя было избавиться от него.

Когда я вспоминаю все это, я чаще всего думаю о Лене. Он никогда не приближался ко мне, а восхищался только издали. На Новый год у Кожевниковых был большой прием, и я сидела между Колей и Леной. Коля был очень шумный и шокировал меня. Леня был грустный и мало говорил. У нас был обычай — в 12 часов ночи написать свое заветное желание.

Леня спросил меня: "Можно я вам скажу, что я напишу?". И я прочла: "Я буду вас любить всю мою жизнь". Так и случилось, но жизнь развела нас.

Папа решил больше не приглашать молодых людей, так как происходили ссоры на почве ревности, но я ничего не знала об этом.

Следующей зимой мы были в Петербурге и часто ездили в Москву. Леня блестяще закончил университет и стал доктором. Жизнь продолжалась. Я вышла замуж. Однажды из Москвы я получила письмо. Я не могла себе представить, кто мне оттуда мог написать. Письмо было очень длинное и написано мелким почерком. Старый верный друг моей юности писал о своей долгой любви ко мне и, хотя он был уже два раза женат, не забыл меня.

Миша Докс, которого я уже забыла, возвратился в наше общество. Он начал ухаживать за мной, но я к нему испытывала только дружеские чувства, хотя другие смотрели на него как на соперника и завидовали ему. Вначале они отнеслись к нему недружелюбно, но он обладал большим тактом и шармом, и постепенно все стали относиться к нему с симпатией. С ним было весело. Он замечательно танцевал и заправлял на всех танцах и балах, которые невозможно было себе представить без него. Все балы он открывал со мной.

Одесса после 1900 года

Когда нам исполнилось 15, 16, 17 лет, стала возрождаться одесская опера. Любимой нашей оперой была "Евгений Онегин". Володя знал все арии наизусть. Он пел Онегина и Ленского, а я Татьяну. Сейчас мне трудно представить себе, как мы пели у Анатры в их домашнем театре. Но я все еще помню, как Володя в своем сюртуке с серебряными пуговицами стоял передо мной на коленях и пел.

Очень скоро в одесское общество были приняты знаменитые певцы Яковлев, Фигнер и его блестящая жена Медея Фигнер. Для них устраивались большие приемы. С каким энтузиазмом, особенно молодежь, принимали их!

Леонид Григорьевич Яковлев знал моего отца. У него был замечательный голос и огромный сценический талант. Кроме этого, он был превосходно сложен и для общества просто идеален.

Публикация
Нелли ЗОЛОТАРЕВОЙ

НАШИ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ

Татьяна ЩУРОВА
"Ушла... ушли... ушло..." 285



"Ушла... ушли... ушло..."

В 90-е годы XIX столетия и вплоть до первой мировой войны в Одессе ежедневно выходили иллюстрированные приложения к газетам "Одесский листок" и "Одесские новости". Редакторы этих изданий В. Навроцкий и А. Эрманс считали необходимым дать одесситам еще и "картинку" актуальных политических и общественных событий, а заодно развлечь уважаемую публику и, чего греха таить, таким способом способствовать увеличению тиража своей газеты.

Недавно "Горьковке" подарили несколько десятков разрозненных номеров этих газетных приложений. Листая пожелтевшие страницы ушедшей жизни, невольно приобщаешься к событиям давно минувших лет. Конечно, газета — отражение своего времени, многое и остается "там", устаревают шутки и злободневность некоторых материалов. Плохо читаются рассказы-однодневки с превалирующей темой смерти, авторы их и тогда были мало известны, хотя изредка здесь можно встретить очерк Марка Твена или рассказ популярного в свое время писателя и драматурга Станислава Пшибышевского.

Зато и сегодня с комком в горле вглядываешься в лица погибших героев Порт-Артура, Цусимы, крейсера "Варяг". Благородные лица офицеров (среди них штаб-ротмистр И.М. Де-Рибас, отправляющийся на Дальний Восток в 1905 г.), юных сестер милосердия — за этими портретами сотни трагических судеб, связанных с "горячими точками" своего времени.

В иллюстрированных приложениях можно найти исторические рисунки к 50-летию бомбардировки англо-французским флотом г. Одессы (1854), репортаж об открытии памятника Генералиссимусу графу А.В. Суворову в Очакове в октябре 1907 г., материалы о деятельности станции "Скорой помощи", открытой в 1903 году на средства графа М.М. Толстого.

Не только война, но и "мир" находили отражение на страницах газет. Коронованные особы Европы и Азии, русская царская семья, знаменитые отечественные и итальянские певцы, посещавшие наш город, портреты Л. Толстого, М. Горького, И. Бунина и др. писателей. Жизнь продолжалась, устраивались костюмированные балы, и газеты охотно печатали новинки фасонов для модниц с подробными их описаниями.

В разделе "Смесь" "Одесский листок" знакомил читателей с забавными изобретениями, курьезами, набранными, что называется, "с миру по нитке". Узнаваемы работы популярного карикатуриста Михаила Линского, интересен оригинальный рисунок много одаренного Петра Нилуса. Как обычно, старая одесская реклама — кладезь идей и для сегодняшних предпринимателей.

Воспользуемся возможностью окунуться в события, которые происходили более века тому назад.

Татьяна ЩУРОВА



Цветочный кризисъ. Нѣтъ цвѣтовъ.
Они ушли на бенефисы
Любимыхъ вашихъ соловьевъ...
Вы загляните за кулисы
И тамъ найдете цѣлый возъ
Вѣнковъ лавровыхъ, пышныхъ розъ.
Насъ ждетъ теперь тоска и скука.
И жизни путь для насъ уныль,
Тяжка съ любимцами разлука,
А одесситъ ихъ такъ любилъ...
Пѣвцовъ родныхъ умолкло пѣнье,
И тускло, сѣро все кругомъ...
Друзья, бывшее наслажденіе
Когда мы вновь переживемъ?..
И нынѣ сами мы поемъ:
„Куда, куда вы улетѣли
"Тѣ золотые вечера,
„Когда плѣняли насъ и трели
"И образцовая игра...
Недаромъ зависти предметомъ
Тотъ одесситъ счастливый былъ,
Кто храмъ искусства посѣтилъ...
Онъ "артистическимъ букетомъ"
И слухъ, и взоръ свой усладилъ...

Первая Одесская мастерская бамбуковой мебели въ итальянск. и др. стиляхъ

У. Лившицъ

Прейсъ-куррантъ высылаются по востребованію.

Пріемъ заказовъ поотрогннхъ.

а также имѣется
ГОТОВАЯ МЕБЕЛЬ
Еврейская, 50, уг. Авчинников. пер.

Старѣйшія газеты.

Въ Европѣ есть много газетъ, которая основаны ранѣе, чѣмъ 250 лѣтъ тому назадъ, и поэтому гораздо старѣе "Лондонской газеты", которая недавно вступила въ 239 годъ своего существованія, — она основана въ 1665 году. Поэтому совершенно неосновательно господствующее въ Великобританіи мнѣніе, что островное государство колыбель газетъ. На континентѣ газеты появились раньше, чѣмъ на 50 лѣтъ до того, какъ онѣ стали издаваться въ Англіи. Разумѣется, здѣсь дѣло идетъ только о такихъ газетахъ, которые непрерывно выходили сначала отъ возникновенія. Старинныя ежедневныя газеты впервые появились въ 1571 году въ Нюрнбергѣ, въ 1569 году въ Деренингѣ, въ 1528 году въ Регенсбургѣ и въ 1521 году въ Вѣнѣ. Но ни одна изъ нихъ теперь не существуетъ. "Многія изъ этихъ старыхъ газетъ въ сущности представляли собраніе памфлетовъ, направленныхъ противъ высокихъ особъ или мѣстныхъ правителей. Эти первыя газеты были не что иное, какъ скандальныя листки, которыми въ наше время наводнены площади большихъ городовъ, и которые, не смотря на немилосердную конфискацію, неукоснительно появляются на слѣдующій же день только подъ другимъ именемъ.

Несторомъ англійской прессы считается основанный въ 1662 "Weekly News", за нимъ слѣдуетъ основанный въ 1663 г. "Kindam Intelligenee". Но ни одна изъ этихъ двухъ газетъ не пережила той бурной газетной эпохи, и обѣ покончили свое существованіе послѣ того, какъ были обезглавлены король Карлъ I. Существуетъ до сихъ поръ только одна, появившаяся въ XVII столѣтіи, газета, — основанная въ 1690 году въ Ворчестерѣ, "Postmen"; тогда онѣ выходили еженедѣльно и оставался такимъ до 1711 года.

Старѣйшія газеты, какъ мы уже говорили выше, существуютъ на континентѣ. Газетнымъ Несторомъ цѣлаго міра является голландскій "Mercurius", существующій болѣе 250 лѣтъ. Онѣ регулярно выходили уже за нѣсколько лѣтъ до появленія лондонской газеты и за 60 лѣтъ до выхода "Postman" и давали подробныя свѣдѣнія о народной войнѣ, опустошавшей тогда Англію. Въ 1633 году эта была самая распространенная газета. Въ 1906 г. будетъ праздновать свой 250-лѣтній юбилей "Harlem Courant"; въ 1910 году "Roostocker Zeitung" будетъ тоже праздновать 250-лѣтній юбилей. Газета Петра Великаго моложе: ей исполнилось 200 лѣтъ. Петръ Великій былъ, надо замѣтить, не только редакторомъ, но даже корректоромъ, и нѣкоторые корреktированные имъ оттиски хранятся и до сихъ поръ въ петербургскомъ Эрмитажѣ.

Несторомъ лондонскихъ газетъ является "Morning Post", о которой такъ, дурно отзывался лордъ Маколей. "Times" появилась въ 1782 году и сначала въ очень скромномъ видѣ; въ одинъ листъ въ два столбца.



ИСААКЪ ГОРНШТЕЙНЪ,
Олонецъ, Успенская ул., № 66 (во дворѣ).
ОПТОВЫЙ СКЛАДЪ
ШВЕЙНЫХЪ МАШИИЪ.
Пріеми-Курьеры выезжаютъ по требованію.



ПОЖАЛУЙТЕ — НО ПОЗДНО.
если приобретете велосипедъ, не ознакомившись
лично, сделайте съ нами: машина 1904 г.
Сбифто, Блокъ и велосипедный
МОТОЦИКЛЕТАМИ ВЕРНЕРЪ.
Единствен. пр-д-ль для Россіи Т-во
ОЛЕКСА, Ленинградская.
ПРАВИЛОНЪ — МОСКВА.
Отдѣленія: С.-Петербургъ, Кіевъ,
Одесса, Ташкентъ, Екатеринбургъ,
Варшава, Рига, Гродно, В/Д.

Къ завтрашнимъ публичнымъ собраніямъ по вопросу
объ избирательныхъ правахъ населенія по выборамъ въ Государственную Думу.



Ораторъ конст.-дем. партіи
Д. Я. ЦЕРГАМЕНТЬ.



Пресѣдатель одного изъ собраній
проф. В. А. КОСИНСКИЙ.



Пресѣд. другого собранія
проф. Н. Н. ЛАНГЕ.

Шаржи Мих. Линскаго

Пѣсни дня

— О чемъ идутъ теперь дебаты?
Да все о выборахъ у насъ...
Волненьемъ многіе объята,
И слышно много громкихъ фразъ...
Дѣлецъ испытанный и смѣлый
Здѣсь мѣсту тепленькому радъ,
Онъ агитируетъ умѣло,
Онъ въ этомъ званьи видитъ кладъ.
Теперь въ душѣ дѣльца въ избыткѣ
Такъ много плановъ и идей...
Уполномоченный въ Кредиткѣ —
Великій магъ и чародѣй!
Онъ другъ директору, кассиру,
Ему оцѣнщикъ руку жметъ.
Къ нему заемщикъ на квартиру
Съ поклономъ низенькимъ идетъ.
Когда-жъ промчится онъ въ коляскѣ,
Отъ встрѣчныхъ всѣхъ ему поклонъ.
Течетъ вся жизнь его какъ въ сказкѣ,
Передиваетъ чудный сонъ...



— Есть и мой кандидатъ. Безпартійный
а-муръ. Очень популяренъ даже у эсъ-де-
ковъ и эсъ-эровъ. Платформа "всѣ за мною!"



Одесса. — Баль Черноморскаго благотворительнаго общества
22 Ноября 1897 г.

(Оригин. рисунокъ П.А. Нилуса).

ЯЗЫКЪ ЗОНТИКА.



"Отвергнуть". "Можно". "Благосклонна". "Любопытна". "Жду".

Женщины издавна неустанно изобрѣтали новые способы дѣлиться мыслями, не прибѣгая ни къ письму, ни къ разговору. Этимъ-то путемъ и произошли языки — вѣера, почтовыхъ марокъ, цѣтвовъ... Теперь американки нашли подобное назначеніе и для зонтика: — конечно, не для такого, какимъ защищаются отъ дождя и солнца простые смертные. "Филологическій" зонтикъ — верхъ изящества: вызолоченный, покрытъ отличнымъ шелкомъ, тюлемъ и кружевами. Наши рисунки даютъ понятіе о своеобразномъ языкѣ зонтика.

Женщина — директоръ полиціи.

Мистрисъ Эмма Ванъ Дузень, первая женщина въ Соединенныхъ Штатахъ, получила мѣсто директора полиціи. Энергично править она полицейскимъ дѣломъ въ тѣхасскомъ городѣ Далласѣ, и обыватели города готовы поклясться, что никогда еще они не жили въ условіяхъ такой безопасности и порядка. Эмма Дузень красивая молодая вдова, которая поступила на полицейскую службу послѣ смерти супруга, девять лѣтъ тому назадъ, въ качествѣ надсмотрщицы. Съ первыхъ же шаговъ новой деятельности она проявила большую находчивость, настойчивость и храбрость. Никто изъ полицейскихъ не умѣлъ такъ ловко набросить арканъ на шею преступника на разстояніи ста шаговъ и никто такъ вѣрно не попадалъ револьверной пулей въ черепъ убійцы. Все это сдѣлало молодую вдову настолько популярною, что обыватели Далласа единогласно избрали ее директоромъ полиціи своего города.



Мысли о женщинахъ.

На огнѣ женской любви чаще всего сгораютъ мужскія состоянія.

Милліоны никогда не проживаетъ тотъ, кто ихъ наживалъ.

Мужчинъ любятъ такими, каковы они есть, а женщинъ такими, какими онѣ никогда не бывають.

Вся вина женщины происходитъ отъ ея невинности.

Горькій опытъ мудреца не годится для счастливыхъ дураковъ.

Въ любви побѣдители платятъ контрибуцію побѣжденнымъ.

Женщина можетъ сделаться постоянной только послѣ цѣлаго ряда измѣнъ.

Смѣсь.

Исторія вилки.

Изобрѣтеніе вилки относится собственно къ недавнему времени: въ древности для ѣды не употребляли вилокъ, для итога пользовались главнымъ образомъ пальцами и, кромѣ того, ложкой.

Впервые объ употребленіи вилки упоминается въ XI вѣкѣ у Петра Даміана; онъ сообщаетъ, что одна византійская принцесса привезла это нововведеніе въ Венецію, и онъ ратуетъ противъ этого орудія, считая, что употребленіе его изнѣживаетъ челоѣка. Еще въ продолженіе нѣсколькихъ столѣтій затѣмъ даже въ Италіи рѣдко пользовались вилокъ, а что употребленіе ея даже въ XVI вѣкѣ казалось еще дѣломъ совершенно исключительнымъ, объ этомъ свидѣлствуютъ нѣсколько интересныхъ культурно-историческихъ документовъ.

Въ Fynys Marrisons Itinerary изъ временъ Елизаветы говорится: "Въ Венеціи каждое лицо снабжалось (кромѣ ножа и ложки) вилокъ, чтобы держать мясо, пока его рѣжутъ, такъ какъ у нихъ повидимому считается дурнымъ тономъ касаться его рукой". Въ правленіе Елизаветы вилка затѣмъ была введена одновременно съ картофелемъ, чаемъ и шелковыми чулками. У королевы Елизаветы были три „вилки, немного украшенныя золотомъ", но на нихъ смотрѣли вначалѣ, болѣе какъ на диковинки. Когда-же дѣйствительно нѣкоторыя лица приняли новую моду, то и въ Англіи не было недостатка въ проповѣдникахъ объявлявшихъ употреб-

леніе вилки не только дурнымъ тономъ, но и оскорбленіемъ Всевышняго.

Томасъ Коріатъ рассказываетъ въ своей книгѣ Crudities, изданной въ 1603 году: "Я наблюдалъ во всѣхъ италіянскихъ городахъ, черезъ которые мнѣ случилось проѣзжать, обычаи, не виданныя мною ни въ какой другой странѣ; и я не думаю чтобы онъ существовалъ у какого-нибудь другаго христіанскаго народа, кромѣ италіянцевъ. Италіянцы и также большинство живущихъ въ Италіи иностранцевъ пользуются за столомъ обыкновенно маленькою вилокъ, когда они рѣжутъ мясо. А именно, въ то время, какъ рѣжутъ мясо, они придерживаютъ его вилокъ, находящеюся у нихъ въ другой рукѣ; и если кто-нибудь изъ сидящихъ за столомъ лишь нечаянно касается мяса пальцами, то онъ, нарушая правила приличія, оскорбляетъ этимъ все общество. Вилки италіянцевъ обыкновенно сдѣланы изъ желѣза, стали, а нѣкоторыя изъ серебра, но послѣднія употребляются только знатными людьми. Причина этого страннаго обычая заключается въ томъ, что италіянцы не любятъ, чтобы до мяса касались пальцами, такъ какъ они видятъ, что не у всѣхъ людей бывають чистые пальцы".

Даже въ первой половинѣ XVIII вѣка дворяне, путешествовавшіе по Англіи, возили съ собою ножи и вилки для собственнаго употребленія, такъ какъ не во всѣхъ гостинницахъ можно еще было встрѣтить эти предметы.

Свѣтящаяся рука.

Въ области электрическаго освѣщенія въ Германіи появилась эффектная новинка. Это — рука, внутри которой находится электрическая лампочка. Когда послѣдняя накалена, вся рука свѣтится. Новинка можетъ пригодиться для самыхъ разнообразныхъ цѣлей. Прежде всего ею могутъ воспользоваться магазины, для выставки передъ окнами. Для этой цѣли она тѣмъ болѣе пригодна, что можетъ быть прикрѣплена въ самыхъ разнообразныхъ положеніяхъ. Свѣтящаяся рука способна служить сверхъ того указателемъ направленія въ гостинницахъ на вокзалы и проч. Наконецъ она можетъ быть примѣнена и вмѣсто обыкновенной электрической лампы.



Съ натуры.

Кабинетъ. За столомъ, заваленнымъ бумагами, сидитъ мужъ и работаетъ. Входитъ жена и обращается къ мужу:

— Ты знаешь край, прелестный край,
Гдѣ пышно розы разцвѣтають?..
— Ты намекаешь на сарай,
Который "дачей" называютъ?..
— Ахъ, что за проза, милый мой!
Въ краю томъ небо такъ прекрасно..
— За небо то, хоть волкомъ вой,
Платить полтысячи... Ужасно..
— Мнѣ по душѣ Большой Фонтанъ..
Тамъ дача есть недорогая..
— Отъ пыли тамъ стоитъ туманъ,
Невыносимъ тамъ дымъ трамвая..
— Къ Фонтану Среднему мечта
Меня влечетъ, тамъ есть приманки..
— Тамъ лѣтомъ шумъ и суета
Какъ въ самомъ центрѣ Молдаванки...

Питье одеколона, особенно нервными женщинами, грозитъ принять все болѣе широкіе размѣры. Вначалѣ не знали, что употребленіе нѣсколькихъ капель одеколона въ кусочекъ сахара опасная привычка. Въ прежнихъ туалетныхъ указателяхъ это рекомендовалось, какъ средство, чтобы усилить блескъ глазъ; постепенно это обращается въ привычку и кончается прямо опьяненіемъ, могущимъ имѣть весьма опасныя послѣдствія.



— Ну ужъ навѣрно благодать
Найдемъ мы на Фонтанѣ Маломъ..
— Ахъ, чтобы дачу тамъ нанять -
Явиться нужно съ капиталомъ..
— Ну, что за счесть, не пойму!
Тамъ море... скалы... рощи... поле..
— Да гдѣ-жъ я денегъ-то возьму?
Что я — банкиръ, кассиръ я, что-ли?..
— Невыносимъ ты, наконецъ!
Знай: я на дачѣ жить желаю..
— Пойми, что денегъ нѣтъ... — Творецъ!
Мнѣ душно... дурно... умираю..
Зови врача скорѣй, палачъ!

(падаетъ безъ силъ)

Мужъ исчезаетъ. Является врачъ. Мужъ обращается къ врачу:

— Больна жена. Въ тревогѣ я,
Къ вамъ быстро мчался безъ оглядки..
Ну, что, скажите, у нея..
— Припадокъ "дачной лихорадки!"

АХ, ОДЕССА

Михаил ПОЙЗНЕР
...И в том строю есть промежуток малый... .295

Михаил ЛАНДЕР
Тетя Клава 298

Аркадий ВАЙНЕР, Эдуард КУЗНЕЦОВ
Стрельба стихами 301

Владимир ТРУХНИН, Ирина ПОЛТОРАК
"Городок" — пятый угол 319

Михаил ПОЙЗНЕР

...И в том строю есть промежуток малый...



...Ты МНЕ рассказываешь?!

Наша мореходка на Маразлиевской была больше, чем родной дом. Даже представить себе нельзя, сколько бы попало за решетку, если бы не мореходка. А какая другая дорога? Одесские улицы были подготовительными курсами именно туда. А что, нет?! Вспомнить хотя бы Дюковский, "Канаву", Костецкую, Книжный переулок, еще те рыбные ряды старого Привоза... А танцы в парке Шевченко, на "Майдане"? А только один наш экипаж на Осипова?!

Чего я это вспомнил?

...Кажется, на Ришельевской, где-то между Базарной и Успенской, жил Шпиц — бывший начальник нашей мореходки. Многих этот Шпиц вернул буквально с того света — в смысле, и помог, и посадил, и не сдал властям... Хотя, наверное, почти каждый заслуживал. Одним словом, "тянул за нас мазу". К тому времени он уже болел и, как говорится, уже был одной ногой больше туда, чем сюда...

И вот, как-то на 1-ое Мая училище шло на парад по Ришельевской,

к Куликовому полю... Обычно мы замыкали колонну Жовтневого района. Ну, шли себе и шли, правда, без особой выправки. Были такие места, где парадным шагом просто нельзя было пройти. А тут еще кругом девочки... А мы же все-таки моряки! Надо же хоть подмигнуть...

Двигались "коробочкой", по 8 человек в ряду. Порóтно. Человек так четыреста. Когда подходили к дому Шпица, еще издали увидели на балконе второго этажа его одинокую сухонькую фигуру. День был теплый. Он, в морской фуражке и длинной шинели, сидел на табуретке, держась за перила. И хотя мореходкой уже командовали другие, "старики", конечно, помнили Шпица, знали, где живет, и все такое.

По колонне прошелестело: "Шпиц... Шпиц... Шпиц!". И вот тут наши передние, мгновенно оценив обстановку, преднамеренно замедлили шаг, как бы отпуская гражданских вперед. Образовалась свободная полоса. Мы подтянулись, сжались, как пружина. И тогда кто-то из стариков тихо, но жестко скомандовал: "Марш! Равнение на... право!".

Внезапно ударили барабаны. Наши барабаны!

Всего три барабанщика, но какие! Это были уникальные пацаны, их отбирали из тысяч курсантов. Еще попробуй туда попасть!

Барабанная дробь — настоящая, флотская! Это тебе не пехотная возня. Сердце вторило, отбивая ритм: *"Старый барабанщик! Старый барабанщик! Старый барабанщик крепко спал, он проснулся, перевернулся, три копейки потерял..."*. Ну и так далее.

Наверное, именно под эту дробь в каждом произошел какой-то внутренний толчок, нарушивший общее оцепенение. Мы, внезапно даже для самих себя, моментально сгруппировались и перешли на парадный шаг — чеканный, с оттянутым носком и ударом по асфальту.

Затихли чужие оркестры...

Четыреста человек шли в едином порыве, повернув голову направо.

Четыреста человек смотрели на Шпица...

Руки плотно прижаты. Мичманки, сверкающие бляхи, синяя су-конка, гюйсы, белые перчатки... Замерли прохожие. Казалось, время остановилось...

Когда мы поравнялись с тем балконом, Шпиц буквально почувствовал нас. Может быть, по старой привычке он даже ожидал колонну училища. Старик оперся на перила, с помощью близких поднялся и... заплакал. Потом, освободившись от чужих рук, как бы одернув себя, стал по стойке *"смирно"* и взял *под козырек*...

Люди спрашивали, осматриваясь по сторонам: "Кто это? Кто это?..".

А это были мы. Мы — одно целое!

...Потом по Куликовому полю, мимо трибун, прошли нормально, но уже, конечно, не так.

Не так...

Так мы никогда больше не ходили.

Мореходка, мореходка...

Я и сегодня еще в том строю.

А вот с "равнением" сейчас тяжело.

Не на кого...



Тетя Клава

Она ворвалась в мою детскую память шуршанием шелкового платья, ароматом духов и громким смехом.

Помнится, в день моих восьмых именин, когда за столом сидели сверстники из нашего двора, а бабушка за всеми ухаживала, пришла мама с незнакомой женщиной высокого роста и коробкой в руках.

"Ну, Бетька, — сказала она маме, — покажи своего отпрыска". Мать подвела незнакомку ко мне. "Клавдия Ивановна, для тебя тетя Клава", — сказала она, вручая мне коробку, и поцеловала в щеку. Мелкие оспинки на ее щеках были тщательно запудрены. Я назвал свое имя. "Как, как?" — переспросила она и звонко рассмеялась. "Бетька! — обратилась она к матери. — Почему Муся? Он ведь Михаил!" Мать пыталась ей что-то объяснить, но тетя Клава продолжала хохотать. "Ладно, — сказала она, — будешь для меня Пусик". Потом мать села за пианино, а тетя Клава спела романс "Снова пою песнь свою" — "Для распевки", — сказала она и, прошуршав своим платьем, выплыла из комнаты на очередной концерт. Так я познакомился с Клавдией Ивановной Шульженко.

Об истории знакомства нашей семьи с Клавдией Шульженко мне рассказал дед Борис, отец моей матери. Дед Борис родился и вырос в украинском городе Чигирин. С детства и до глубокой старости у него было два друга — Женя Шве́ц и Иван Шульженко. Повзрослев, дед и Шве́ц перебрались в Одессу, а Иван в Харьков, но дружить продолжали и навещали друг друга. Дед Борис и друг Шве́ц поселились в одном дворе на Тираспольской улице. Там и поженились на подругах — дед Борис на Циле, а Шве́ц на Эльзе. Через год поехали в Харьков на свадьбу Ивана. Все это было век назад, задолго до революции. Дед приобрел специальность красителя на фабрике ниток, Шве́ц выучился на закройщика, а Иван окончил школу счетоводов и устроился на железную дорогу. Так и проработали они всю свою жизнь, не меняя профессию и место работы. Первое прибавление в семьях друзей было у Ивана — в 1906 г. у его жены Веры родилась дочь Клавдия. Еще через два года родилась моя мать Бетя (Берта), а у Шве́цов так детей и не было. Но дружба продолжалась. На рождественские праздники ездили к Ивану, на еврейский новый год к деду Борису — и всегда с детьми. Помню еще с дошкольных лет, мать посылала какие-то ноты в Харьков подружке Клаве, а дед Борис принимал гостей из Харькова. И в эти дни меня приводили туда, но лиц их я не помню, а вот

буденовские усы у всех троих запомнил, и что все они одинаково хорошо говорили и на русском, и на еврейском языках с доброй половиной украинского, что для меня было полной абракадаброй.

Когда родилась Клава, дед Борис стал ее крестным. А когда на Украине был голод, а в Харькове особенно, дед Борис и Шве́ц посылали Ивану "*абиселе харчування*", как говорил дед. Дед Борис среди друзей был самым авторитетным и сохранил ясность ума до последних дней. Умер он в санатории, отпраздновав свои 94 года и выиграв в карты приличную сумму. Лег спать и не вышел к завтраку. Дед прекрасно играл на пианино по слуху, не зная ни одной ноты. Он пережил своих друзей. В год моей демобилизации, в 1946 году, умер дядя Женя Шве́ц. На похороны из Харькова приехал больной Иван Иванович Шульженко с женой Верой, а из Москвы ставшая известной на всю страну Клавдия Ивановна с мужем Владимиром Коралли и сыном Игорем. Поразило меня, что дядю Женю, прекрасно говорящего на еврейском языке, а дома с женой Эльзой только на идиш, отпевал священник. Оказывается, Евгений Степанович Шве́ц был чистокровным украинцем и посещал церковь. В знак траура тетя Клава не дала ни одного концерта в Одессе. Через два дня я и мама проводили ее на вокзал. Она достала из сумки перочинный нож и, обращаясь ко мне, сказала: "Смотри, Пусик, как я храню твой подарок!". Через два года ушел из жизни Иван Шульженко, и дед Борис поехал в Харьков проводить последнего друга. Вернулся оттуда совсем седым и подавленным.

Удивительная штука наша жизнь. Дважды я встречал тетю Клаву во время войны. Первый раз в 1943, под Новороссийском. После десанта на Мысхако остатки нашего отряда морской пехоты доставили на отдых и переформирование в поселок Кабардинка. Там же расположился полевой госпиталь. Весть о прибытии артистов разнеслась мгновенно. На поляне за госпиталем сдвинули два грузовика, откинули борта — и сцена готова. Подошел автобус с артистами. Народу уйма — кто на костылях, кто на носилках; на палатках с ранеными откинули пологи. Что там объявляли, я слышал плохо из-за контузии, но Клавдию Ивановну я узнал сразу. Пела она под аккордеон. После концерта я подошел к ней и тихо окликнул. Она долго всматривалась, видимо, бинт на голове моей смущал ее. "Ой, Пусик", — ойкнула она, заплакала и присела на корточки. Кто-то ей подставил табуретку. И я увидел у нее под эстрадным платьем ватные брюки, заправленные в кирзовые сапоги. Всех артистов покормили в столовой и что-то дали с собой. Чтоб вскрывать банки с тушенкой, я подарил тете Клаве трофейный карманный нож "Золинген" со множеством при-

способлений. Я ей дал бумажку с адресом родителей. Обняла меня тетя Клава и, перекрестив, вытерла слезы. Она села в сигналивший обшарпанный автобус, который, рванув с места, быстро скрылся из вида.

Второй раз, в 1944 г., в Батуми она пела со своим джаз-оркестром в городском саду. После концерта она с мужем пришла к моим родителям. За разговорами рассвет пришел.

В 1946 г. во избежание тлетворного влияния Запада джаз-оркестры разогнали. Слава Клавдии Шульженко росла с каждым годом. Ее репертуар и манера исполнения пользовались огромным успехом. С концертами она объездила всю страну. Миллионный тираж грамзаписей раскупался мгновенно.

Последний раз я виделся с Клавдией Ивановной в 1979 г. в Сочи. Я обратил внимание на ее болезненный вид. "Хреново я себя чувствую, Пусик, — сказала она. — Вот, живу с Бетькой в Москве — и не видимся, все время в разъездах". После концерта она выглядела очень уставшей, исчез ее знакомый смех. Я не смел задерживаться.

Мать моя, переехав в Москву, видела Клавдию всего дважды: когда ей присвоили звание народной артистки и когда она умерла, 17 июня 1984 г. На кладбище мать не пошла — сама плохо ходила. Еще мать мне говорила, что личная жизнь Клавдии сложилась неудачно, но подробностей не рассказывала. Она была отменная певица, мастер музыкального слова и только эстрадная, с только ей присущей манерой исполнения. Если кто-то помнит ее "Челиту", "Голубку", "Руки", "Записку" — тот поймет, что я этим хотел сказать.

Но всему свое время, и прошлое покрывается паутиной забвения. Но вдруг сквозь эту паутину вырывается лучик из прошлого, и ты счастлив от соприкосновения с былым. Недавно одна молодая певица исполнила несколько песен "из репертуара Клавдии Шульженко", — как объявила она, не называя ни композиторов, ни авторов этих известных песен.

Конечно, это было не то, но спасибо, что вспомнили.



Стрельба стихами Одесские писатели в "прицелах" друг друга

"Стрельба стихами" — такая рубрика была введена в журнале "Чудак" в 1930 году. В ней можно было встретить реплики, эпиграммы, комментарии, отзывы по любому животрепещущему вопросу современности, связанному с литературой и искусством. Нечего и говорить, что большинство материалов состояло из эпиграмм в 2-4 строки, посвященных только что изданной книге, подборке стихов или разразившемуся литературному скандалу.

Особой новинки в этом начинании не было: везде, где сохранялась любовь к литературе, где существовало какое-либо общение между пишущими стихи и прозу, не обходилось без обмена мнениями, без заинтересованных разговоров и споров, принимающих порой причудливые формы, от восхищения до издевки.

Одним из ярких проявлений такого рода общения было содружество молодых людей, покоренных любовью к поэзии и живших в Одессе в начале XX века. Их было много — разных по своему возрасту, полу, развитию, образованию, социальному и материальному положению... Литература целиком и полностью владела их умами. Потому и реакция на творчество друг друга облекалась в литературные формы: появлялись мадригалы, эпиграммы, сатиры, пародии, статьи, рецензии... Требовать от них объективности было неразумно: молодой задор, категоричность, уверенность в собственной правоте исключали сомнения, колебания, нерешительность. Нужно было не только отозваться о работе коллеги, но и (что не менее важно!) продемонстрировать свою позицию, свое умение разбираться во всем и ставить точки над "i".

Никто не был застрахован от жесткой критики: перестрелка велась обоюдная — нападающий сегодня мог оказаться завтрашней жертвой. Перехлесты наблюдались во всем — в оценке событий, личностей, произведений... Создание эпиграмм сплошь и рядом диктовалось сведением личных счетов, потому немало их появлялось без подписи. Нельзя сказать, что критериями во взаимных оценках служили классические достижения литературы. Многое в отношениях молодых поэтов шло от чрезмерного самомнения, от противопоставления признанным авторитетам, от упрямого сопротивления поэтическим традициям. И тем не менее, их содружество подтвердило тезис: ничто так не сближает людей, как поэзия.

способлений. Я ей дал бумажку с адресом родителей. Обняла меня тетя Клава и, перекрестив, вытерла слезы. Она села в сигналивший обшарпанный автобус, который, рванув с места, быстро скрылся из вида.

Второй раз, в 1944 г., в Батуми она пела со своим джаз-оркестром в городском саду. После концерта она с мужем пришла к моим родителям. За разговорами рассвет пришел.

В 1946 г. во избежание тлетворного влияния Запада джаз-оркестры разогнали. Слава Клавдии Шульженко росла с каждым годом. Ее репертуар и манера исполнения пользовались огромным успехом. С концертами она объездила всю страну. Миллионный тираж грамзаписей раскупался мгновенно.

Последний раз я виделся с Клавдией Ивановной в 1979 г. в Сочи. Я обратил внимание на ее болезненный вид. "Хреново я себя чувствую, Пусик, — сказала она. — Вот, живу с Бетькой в Москве — и не видимся, все время в разъездах". После концерта она выглядела очень уставшей, исчез ее знакомый смех. Я не смел задерживаться.

Мать моя, переехав в Москву, видела Клавдию всего дважды: когда ей присвоили звание народной артистки и когда она умерла, 17 июня 1984 г. На кладбище мать не пошла — сама плохо ходила. Еще мать мне говорила, что личная жизнь Клавдии сложилась неудачно, но подробностей не рассказывала. Она была отменная певица, мастер музыкального слова и только эстрадная, с только ей присущей манерой исполнения. Если кто-то помнит ее "Челиту", "Голубку", "Руки", "Записку" — тот поймет, что я этим хотел сказать.

Но всему свое время, и прошлое покрывается паутиной забвения. Но вдруг сквозь эту паутину вырывается лучик из прошлого, и ты счастлив от соприкосновения с былым. Недавно одна молодая певица исполнила несколько песен "из репертуара Клавдии Шульженко", — как объявила она, не называя ни композиторов, ни авторов этих известных песен.

Конечно, это было не то, но спасибо, что вспомнили.



Стрельба стихами Одесские писатели в "прицелах" друг друга

"Стрельба стихами" — такая рубрика была введена в журнале "Чудак" в 1930 году. В ней можно было встретить реплики, эпиграммы, комментарии, отзывы по любому животрепещущему вопросу современности, связанному с литературой и искусством. Нечего и говорить, что большинство материалов состояло из эпиграмм в 2-4 строки, посвященных только что изданной книге, подборке стихов или разразившемуся литературному скандалу.

Особой новинки в этом начинании не было: везде, где сохранялась любовь к литературе, где существовало какое-либо общение между пишущими стихи и прозу, не обходилось без обмена мнениями, без заинтересованных разговоров и споров, принимающих порой причудливые формы, от восхищения до издевки.

Одним из ярких проявлений такого рода общения было содружество молодых людей, покоренных любовью к поэзии и живших в Одессе в начале XX века. Их было много — разных по своему возрасту, полу, развитию, образованию, социальному и материальному положению... Литература целиком и полностью владела их умами. Потому и реакция на творчество друг друга облекалась в литературные формы: появлялись мадригалы, эпиграммы, сатиры, пародии, статьи, рецензии... Требовать от них объективности было неразумно: молодой задор, категоричность, уверенность в собственной правоте исключали сомнения, колебания, нерешительность. Нужно было не только отозваться о работе коллеги, но и (что не менее важно!) продемонстрировать свою позицию, свое умение разбираться во всем и ставить точки над "i".

Никто не был застрахован от жесткой критики: перестрелка велась обоюдная — нападающий сегодня мог оказаться завтрашней жертвой. Перехлесты наблюдались во всем — в оценке событий, личностей, произведений... Создание эпиграмм сплошь и рядом диктовалось сведением личных счетов, потому немало их появлялось без подписи. Нельзя сказать, что критериями во взаимных оценках служили классические достижения литературы. Многое в отношениях молодых поэтов шло от чрезмерного самомнения, от противопоставления признанным авторитетам, от упрямого сопротивления поэтическим традициям. И тем не менее, их содружество подтвердило тезис: ничто так не сближает людей, как поэзия.

Посвящения, эпиграммы, сатиры, если они не приправлены перцем, скучны и унылы; читать их просто-напросто неинтересно. Потому любой иронический выпад или сатирическая оценка сегодня (с позиций последующих открывшихся знаний) становятся вдвойне любопытны. В пикировках, насмешках, издевательствах таились корни многих поступков, объяснение которым можно было найти лишь спустя годы. Не зря сказано: "нам не дано предугадать, как слово наше отзовется".

Судьба молодых одесситов, "ушибленных" литературой, сложилась по-разному: кто-то из них достиг всероссийской, а то и мировой славы, кто-то стал рядовым журналистом, переводчиком, редактором, кто-то занялся иной, более практической деятельностью. Приведенные здесь эпиграммы и пародии одесских авторов были написаны в разное время, по разным поводам и с разными намерениями. Важно, что все они стали свидетельствами того необычного феномена, что удивляет человечество уже сто лет — превращение никому не известных молодых одесситов в будущих знаменитых мастеров литературы.

А.Е. Крученых был много старше других стремящихся в литературу одесситов в 1906 году, когда будущие знаменитости ходили в коротких штанишках или только родились, как С. Кирсанов; он уже окончил Одесское художественное училище и примкнул к футуристам. Въедливый и настойчивый характер помог ему занять среди них одно из ведущих мест. Он стал теоретиком, изобретателем заумного языка, в 1912 году (вместе с В. Хлебниковым!) выпустил первый сборник.

Заумный язык и послужил главной причиной внимания сатириков к творчеству Крученых. Одна из острых пародий, оставшаяся без подписи, была обличена в форму загадки:

Все шиворот-навыворот. Все наоборот.
Верчено, мучено,
Хитро закручено,
Поэзии нет. Есть стихоплет.
Что это?

М. Пустынин — одессит и почти ровесник Крученых — не стал секретить свое авторство хлесткой пародии из цикла "Чижик", посвященной словотворчеству поэта.

Взюк
Назююкался
Чижик.

Взюк!
Назююкавшись, вспомнил
Юг.
В глазах
Истерика... ах!
Плывет Фонтанка...
Фонка!.. Анка!..
Чижик пьян чересчур.
Дыр-бул-щур!
Чижик прищурился,
Чижик надырбулщурился!..
Перья — в клочья!
Голова у чижики — сорочья!
Чижик превратился в сову.
В-в-в-в-ву-у-у!..
Чижик достукался,
Вдрыг назююкался,
Назююкавшись, вспомнил юк...
Зе-це-эй!.. Взюк!..

Собственно говоря, и миниатюра В. Инбер — также представительница старшего поколения одесских литераторов — прозвучала как предупреждение Крученых и ему подобным — не писать как курица лапой:

Если будешь печь стихи,
Попадешь в Крученыхи.

Варясь в общем одесском литературном котле, Л.П. Гроссман, тем не менее, держался некоторым особняком, соблюдая дистанцию по отношению к восторженно-романтическим поэтам. К тому времени, когда они стали серьезно увлекаться литературой, он уже окончил университет. Печался он с 15 лет, и юношеский ажиотажный интерес к публикациям был для него делом прошлым. К тому же и интересы его лежали не столько в области поэзии, сколько в критике и литературоведении.

Конечно, его старшинство и обширные познания были некоторым препятствием для дружбы с молодыми авторами на равных. Это не могло не отразиться в эпиграммах.

Аноним:
Как чтит он доблести свои
И как ярки его претензии!

Но как бледны его статьи,
Его стихи, его рецензии...

Однако большинство эпиграмм на Гроссмана появилось позднее, когда он напечатал оригинальнейшие работы — о пушкинском времени (стилизовав их под записки современника поэта), о судьбе Сухова-Кобылина, о Достоевском... Конечно, не литературоведческие изыскания Гроссмана, какими бы оригинальными они ни были, обращали внимание сатириков: откликались они на мистификационные "Записки д'Аршиака", на книгу о недоказанном преступлении Сухова-Кобылина, на его исторические произведения.

Особенной активностью отличались бывшие знакомцы по Одессе — Э. Кроткий и Аргю. Они дотошно следили за работами Гроссмана и спорами вокруг них, облекая свои наблюдения в яркую комическую форму. Одной из эпиграмм ("Два Гроссмана") Кроткий предпослал эпиграф из литературной хроники: "В. Гроссман в своей книге пространно опровергает утверждение Л. Гроссмана об убийстве драматургом Сухова-Кобылиным француженки Симон де-Диманш".

Гроссман к Гроссману летит
Гроссман Гроссману кричит:
— Гроссман, где б нам пообедать,
Как бы нам о том проведать?
Гроссман Гроссману в ответ:
— Знаю, будет нам обед —
В чистом поле, под раkitой,
Труп француженки убитой!

Этот отзыв был опубликован в 1933 году в журнале "Крокодил" и в том же году, но уже в "Литературной газете" появилась еще одна (составная) эпиграмма Кроткого на Гроссмана "Исторический роман":

1

Подделка? Подлинник? Названья цель двояка.
Записки Гроссмана? Записки д'Аршиака?
Пожалуй, Гроссмана. Но если что не так,
То... отвечает д'Аршиак!

2

Москва далекого столетья.
Хоромы. Терем. Мать (сестра),
Крича в оконце: "Петя, Петя!" —
Зовет великого Петра.

Приказы. Казни... страшно инда
Вопит читатель: — Скрыться б в скит!
Стрельцы бунтуют. Рядом рында
Статистом оперным стоит.
Потом, конечно, — ветер неvский
И Брантов бот с прогнившим дном,
И... добросовестный Ключевский
Тебе поможет в остальном.

Такое внимание эпиграмматиста к Гроссману нельзя списать только на счет общей одесской юности. В 30-е годы общественность бурно реагировала на каждую литературную новинку, появлявшуюся в печати. Гроссман писал нестандартно, поднимал вопросы малоизученные, излагал свои версии увлекательно. Что еще нужно было читателю и сатирику, чтобы отметить интересного автора?

К женщинам, сгорающим от желания писать стихи, в Одессе относились скептически и насмешливо. Женщина-поэт рисовалось как нечто восторженное, сентиментальное, многословное... Нечего удивляться, что В.М. Инбер сильно доставалось от ее земляков.

Аноним:

Слова об объятых и ядах,
Повторенные стократ.
В "Ваших горьких уладах"
Не найдет читатель улад.

А. Крученых:

Как машина Зингер,
Ловко строчит Инбер.

Особенно досаждали Инбер профессиональные сатирики с одесским прошлым — Э. Кроткий и М. Пустынин. Они изводили ее по любому поводу. Пустынин включал пародии на ее стихи в самые разнообразные циклы, например, "Стреляй метко!", "Упал метеор", "Поезд опоздал на восемь часов"...

Опоздавший поезд
Полон интереса...
Опоздавший поезд —
Это же Одесса!

Кроткий не отставал от Пустынина. В его пародиях были не только шутки, но и весьма серьезная критика — и литературная, и идеологическая. Например, в этой:

Как позабыть Вертинского дорожку,
Салонный парадокс?
Вот, например, влюбился как-то в кошку
Обыкновенный фокс.
Ха-ха. Смешно! Но фоксику, однако,
Совсем не до острот:
Ведь, говорят, от эдакого брака
Рождается... фокстрот!
Фокс приуныл. От острого сюжета
"Прожектор" без ума!
Я не шучу. Конечно ж, кошка эта —
Советская весьма.
В эпохи дух вникаю понемножку.
Извольте-с, дань поре:
Я напишу, что фокс влюбился в кошку
В мятежном Октябре.
Я не эстет. Но все ж про лак японский, —
Я напишу про кррровь!
Я такова. Меня почтил Воронский*
И приглашает в "Новь"**.
И вот — стихи, изделие дамских ручек,
Не рифмы, а хрусталь.
Но... женщина не может быть "попутчик",
"И это очень жаль"!

Не довольствуясь только пародиями, Кроткий писал на Инбер и эпиграммы, напирая на присущие поэте сиююющие интонации.

Она для салонов,
Она и для фабрик:
Фокстротик и фоксик,
И — рядом — "Октябрик".

В конце концов, Кроткий так надоед Инбер, что она пустила о нем шутку (причем, написала ее на стихах Кроткого, помещенных в стенгазете):

Мели, Эмиля,
Твоя нидиля!

Досаду Инбер можно понять; однако как автор пародий и эпиграмм

*А.К. Воронский — редактор журнала "Красная новь"; начинал литературную деятельность в Одессе.

**"Прожектор" и "Красная новь" — популярные журналы 20-30-х годов.

(а этому виду творчества поэте тоже отдала дань), она должна была бы выучиться держать удар.

Последнее слово все же осталось за Кротким: на это двустилие он ответил четверостишием, в котором задел не только Инбер, но и ее тогдашнего мужа Чайку:

Типично дамская манера, —
И не умно, и не остро,
Сие писала Инбер Вера,
Из Чайки выдернув перо!..

Г.А. Шенгели также относился к старшей группе одесских литераторов. Уже говорилось о том, что одесская литературная молодежь не очень-то почитала авторитеты, поэтому отношение к поэзии Шенгели у нее было неоднозначное. Признавая за ним некоторые поэтические заслуги, они, тем не менее, воспринимали его скептически. Это отношение сохранилось на долгие годы: ситуация типичная, описанная Д. Кедриним, — "у поэтов есть такой обычай — в круг сойдясь, оплевывать друг друга...".

Э. Багрицкий, неплохо зная поэта и его творчество, не простил ему некоторого высокомерия и вспомнил о нем уже в московские годы жизни. Описывая вечера в литературном Доме Герцена, он вскользь (но от этого не менее ехидно) упомянул о поэте:

...Там корчит поэта Шенгели...

И. Сельвинский, в юности какое-то время живший в Одессе, тоже саркастически отозвался о поэзии Шенгели:

В лоскутных ямбиках скандовочкой коварной
То пушкинзоновский, то брюсовский язык,
И лишь тогда вопрект шенгелиевский лик,
Когда он переводит из Верхарна.

Сельвинский же поймал поэта на слиянии букв в строке и тут же повеселился на этот счет:

"И шаг мой стих"...
Сказал Шенгели.
И в самом деле:
Ишак твой стих.

У многих, очевидно, на всю жизнь откладываются негативные юношеские впечатления.

И.Э. Бабель довольно поздно вошел в литературу и потому от молодых одесских сатириков почти не пострадал. Одесситы оценивали его творчество уже задним числом, постфактум, пытаясь разобраться в особенностях его недожизненного таланта.

С. Кирсанов:

Не надо даром зубрить сабель, —
Меня интересует Бабель,
Наш знаменитый одессит.
Он долго ль фабулу вынашивал,
Писал ли он сначала начерно
Иль, может, сразу шпарил набело, —
В чем, черт возьми, загадка Бабеля?

Расшифровкой творчества Бабеля с пристрастием занимались одесские прозаики, отдавшие дань пародийному жанру — Д. Мэллори (Б. Флит), И. Ильф и И. Прут. Бабель не был на них в обиде. О его отношении к пародиям свидетельствует надпись писателя на черновике пародии Прута: "Ончик!* Это — гениально!".

Вот отрывки из больших пародий Прута, Мэллори и Ильфа. Выдержки дают возможность судить о мастерстве пародистов и об узнаваемости прозы Бабеля.

И. Прут:

"Вы спрашиваете, почему Беню Крика прозвали Королем? Так это знаю я, собирающий милостыню около синагоги биндюжников, старый еврей, у которого на сердце тоска и родная дочка учится ув русской гимназии.

Произошло все это тогда, когда в городе стояла весна. Был тот период года, когда на деревьях набухали почки, рождалась любовь, а у пожилых людей начиналась осень. На бульварах гремела музыка, лихачи носились по улицам круглые сутки, а девушки готовили приданое, ибо весна в Одессе означала замужество.

Молдаванка шумела. Шесть человек соскочили с красной машины французской фирмы "Панар-Левассор" у дома номер шесть по Костецкой..."

Д. Мэллори:

"Крик Бени Крика неописуемо несется в незабываемо прекрасной ночи, когда старая побирושка луна с изъеденным луэсом носом стоит за посьбием в Соцобес на беспредельном небосклоне...

...Солнце свисало с неба, как розовый язык бешеной собаки или желательная брань обольстительного критика. Исполинская волна

*Так называли И. Прута его друзья.

контрамарочников накатывалась на весь театральный сезон, как приступ рвоты во время морской болезни: безудержно и властно..."

И. Ильф:

"...Вся Косарка давилась от смеха, но что с того? Кто делает такие вещи в три часа дня, когда Женья из угрозыска с целой бандой прыщей на лице идет домой на обед?

Он взял всех, как новорожденных, и повел прямо на протокол. Вперед шла Фенья-Локш, за ней женихи, которые крутились от досады, потом Женья с немцем, а позади всех топал старый Семка с своей смешливой истерикой, которая в тот день была у всей Косарки".

Что сказать об этих пародиях? Во-первых, об одной из них уже положительно отозвался сам Бабель, а во-вторых — одесситу всегда проще понять одессита, а ведь в произведениях Бабеля одесские интонации — уже половина успеха.

Э.Г. Багрицкий был весьма почитаем среди одесских любителей и знатоков поэзии. З. Шишова шутя назвала "милого Эдуарда" "обрусевшим эмигрантом страны персидской". Так же шутливо писал о нем Л. Славин:

...Кривя зловеще губы,
Рыча, как пьяный леопард,
Встает надменный и беззубый
Поэт Багрицкий Эдуард.
Его поэмы — совершенство,
Он не марает даром лист.
И телеграфное агентство
Ведет как истинный артист.

От тех же времен одесской молодости сохранилась анонимная эпиграмма:

Парис Багрицкий Эдуард —
Ему омфалосный* парнастик
Хвалы слагает: "Вы наш бард
Вы наша гордость, вы наш классик!"

В анонимной же пародии была сделана попытка "приземлить" морскую романтику поэта, которая — по мысли пародиста — не могла выдерживать конкуренции с прозой действительности:

По Черному морю, по волнам белесым
С тобою в шаланде мы плыли в Одессу.

*В 1918-1919 годах в Одессе существовало издательство "Омфалос", а еще прежде был образован кружок "Омфалитический Олимп".

Летели над нами соленые брызги,
Сидели в шаланде влюбленные вдрызг мы.

Но только к тебе я хотел прислониться,
Чтоб вместе с тобою под ручку пройтись,
А ветер как взвояет, а ветер как всвищет,
Как двинет волною под самое днище!

Хлебнула шаланда воды по края.
"Постой, — говорю, — дорогая моя!
Катись со своею "под ручкою" к бесу,
Добраться б нам только живыми в Одессу!"

Звание романтика не исключает реалистического отношения к окружающей обстановке. Багрицкий прекрасно представлял, с каких позиций некоторые критики пытались оценивать его стихи. Издеваясь над ними, он писал об их желании видеть в его стихах различные "красивости".

Чтоб были страсти, чтоб огонь, чтоб гром,
Чтоб жеребец, чтоб кровь, чтоб клубы дыма...

Багрицкий иронически относился к тому образу, который представлялся идеологам. Следствием этого были далекие от бравады автоэпиграммы. Вот одна — о его неустроенном быте в Одессе:

Вас покидает со слезой
Поэт, единственнейший в мире,
Что на Ремесленной хмельной
Живет под номером четыре.

А вот другая — о своем творчестве, горько и саркастично:

...Я вижу, как взволнованные воды
Зажаты в тесные водопроводы,
Как захлестнула молнию струна.
Механики, чекисты, рыбководы,
Я ваш товарищ, мы одной породы, —
Побоями нас нянчила страна!

Вряд ли кто другой смог бы превзойти в самоиронии Багрицкого.

Найдется ли другой одесский писатель, о ком бы говорили больше, чем о В.П. Катаеве? Разнообразными произведениями он обеспечил внимание к собственной персоне на длительное время. Одесситы, близко знавшие Катаева, так или иначе не могли не откликнуться на результаты

его литературной работы или на факты его личной жизни. Едва ли не самая ранняя эпиграмма на него (без подписи) носила негативный характер:

Могу ль украсить я венком
Того, кто полон злобы жалкой!
Вы не владеете стихом,
Зато владеете вы палкой.

Мастеровитость писателя уже в молодые годы отметил его земляк Л. Славин:

Но вот ввергая в жуткий трепет,
Влетает бешеный поэт —
Катаев — и с разбега лепит
Рассказ, поэму и сонет.

Не мог, конечно, не найти отражения в эпиграммах факт литературного наставничества Катаева над И. Ильфом и Е. Петровым.

А. Иванов, А. Рейжевский:

В веселом цехе каждый рад
Его увидеть снова.
Сатиры нашей друг и брат
(Друг Ильфа, брат Петрова).

Эпиграмма подписана двумя авторами, один из которых — одессит. Рейжевский всю жизнь писал эпиграммы; были среди них сатирические, но чаще попадались лирические: автор не хотел портить отношения с персонажами. На Катаева им написана масса эпиграмм и, конечно, большинство из них — доброжелательных, если не сказать, медоточивых. Вот, например, эпиграмма, посвященная появлению журнала "Юность", первым редактором которого был Катаев:

Он в хор писателей широко
Ввел молодые голоса,
Чтоб не белели одиноко
В литературе паруса.

Конечно, редакторская работа Катаева оценивалась положительно, им были опубликованы воистину новаторские произведения и открыты новые талантливые авторы. Но истинный сатирик и в бочке меда найдет ложку дегтя и обратит внимание именно на нее. Так и сделал одессит Э. Кроткий:

Катаев, юных ждя гостей,
Им вход в искусство открывает, —
А сам, пожалуй, застревает
В одесской юности своей...

А Рейжевский и дальше продолжал славословить земляка:

Писатель полон свежих сил
И творческого рвения.
"Святой колодец" оросил
Его "траву забвения".

Тут его благодушное мнение столкнулось с мнением иных творческих личностей (также связанных с Одессой), совершенно иначе прореагировавших на названные произведения. В. Шкловский, женатый на одной из трех знаменитых сестер Суок, задетый чрезмерно откровенными и субъективными мемуарами Катаева, ответил ему с необыкновенной резкостью:

Из десяти венцов терновых
Алмазный свил себе венец
И так явился — гений новый! —
Завистник старый и подлец.

Эпиграмма эта далеко не открывала перечень злых миниатюр в адрес Катаева. Их было достаточно много, написанных с позиций людей обиженных, раздраженных, оскорбленных. Достаточно сослаться на одну (в форме эпиграфии), приписываемую то Ю. Олеше, то Л. Никулину:

Здесь лежит на Новодевичьем
Помесь Бунина с Юшкевичем.

Даже этот беглый перечень эпиграмм позволяет ощутить всю неоднозначность отношений современников к Катаеву.

И в заключение уместна эпиграмма неодессита А. Вознесенского, выполненная, тем не менее, вполне в одесском стиле. Она настолько живописна, что даже у людей, никогда не встречавших Катаева, рождает ощущение близкого с ним знакомства:

В жилетке, точно туз козырный,
Прищурясь, как парижский сноб,
Катаев, как малокозырку,
Надвинет челочку на лоб.

Таким писатель остался в памяти многих, имевших с ним дело.

Если Катаева можно считать самым знаменитым из плеяды одесситов начала XX века, то Ю.К. Олеша вполне подойдет под определение самого экзотичного. Говоря об истинном романтизме, еще неизвестно, кому надо будет в первую очередь присвоить звание романтика — Э. Багрицкому или Олеше. И в юности, когда он писал стихи, и в зрелом возрасте, когда пере-

шел на прозу, Олеша был оригинален и ни на кого не похож. Об этом же говорят эпиграммы, относящиеся к далеким одесским временам.

З. Шишова:

Ты, Олеша вдохновенный,
Рыцарь маленьких актрис,
Почитатель неизменный
Золотых фиордализ!

Л. Ласк:

Ты ритмом Пушкина свой стих ударный меряешь,
За это, друг Олеша, я тебя люблю.
Но до тех пор, пока в Катаева ты веришь,
В тебя поверить не могу.

Л. Славин:

Небритый, хмурый, шепелявый
Скрипит Олеша лилипут.
Там в будущем — сиянье славы
И злая проза жизни тут.

Действительно, и слава, и "злая проза жизни" шли рука об руку в судьбе Олеша. Роковую роль в биографии писателя, как ни странно, сыграла гениальная повесть "Зависть". Она стала его победой, но одновременно и его бедой. Вот начало пародии А. Архангельского:

"Андрей Петрович!

Я плачу по утрам в клозете. Можете представить, до чего довела меня зависть..."

Конечно, это имитация письма героя повести Кавалерова, но если подумать, не только... Л. Озеров, вспоминая Олешу, писал: журналам не нужны были его новые произведения, все ждали повторения "Зависти". Как рефрен через мемуары прошла фраза Олеша: "Прошу запомнить — Юрий Олеша, невестребованный писатель...". Наверно, и отсюда тоже многолетнее легендарное молчание художника.

Но "Зависть" и в этой ситуации была палочкой-выручалочкой.

В. Инбер:

Юрий Карлович Олеша!
Вот вам срочная депеша:
"Разошлась мгновенно "Зависть",
Прекращаем в Лавке запись.

Инбер ведет речь о переизданной повести Олеша, которую после очередного выхода в свет невозможно было приобрести даже по предварительной записи в Книжной лавке писателей.

Одесса всю жизнь не отпускала Олешу. И в периоды долгого молчания он не переставал думать о ней и с ностальгическими подробностями день за днем, шаг за шагом вспоминал все те мелочи, что окружали его в Одессе в годы детства и юности.

Пусть и с небольшим числом созданных произведений Олеша остался в советской литературе знаменитым писателем. Дело, в конечном итоге, не в количестве...

А.Е. Адалис — поэтессе с весьма своеобразной репутацией — было посвящено не так много эпиграмм, но их смысл сводился к одному и тому же. Еще об одесской юности З. Шишова писала:

...Или со стрелой Эроса
Ты, всех женщин впереди
Розу нежную Пафоса
Возрастившая в груди;
Знаменитая певунья
И — за правду не сердись —
Ослепительная лгунья
Аделина Адалис...

Эта характеристика потянулась за поэтессой из Одессы в Москву. М. Светлову приписывают авторство эпиграммы в форме откровенного диалога:

— Вы в первый раз в Москве, Адалис?
— Да, я приехала сейчас.
— Вы в первый раз в Москве отдались?
— Нет! И в Одессе много раз!

С. Эфрон высказался на эту же тему более кратко:

Расскажите мне, Адалис,
Как вы Брюсову отдались...

Конечно, к провокационной рифме подталкивало соблазнительное звучание фамилии. Но, как говорят, без дыма огня не бывает. С. Васильев недаром завершил пародию на Адалис символической строкой:

Держите меня, ведь сама я себя не сдержу...

Не об этом ли и у И. Сельвинского?

...Alles
Über Адалис.

И Илья Ильф и Евгений Петров проявились как литераторы, уже уехав из Одессы, поэтому следы стихотворных отзывов периода их одес-

ской молодости найти сложно. Но одессит М. Пустынин, тоже давно покинувший родной город, сумел достать их и на "чужбине":

Добра немного на двоих.
Об этом знает и ребенок:
Всего имущества у них —
12 стульев и теленок.

Он же (в соавторстве с А. Архангельским) упомянул о них в переделке "Евгения Онегина":

Имелась двойня: Ильф-Петров.
О сих владельцах острых перьев
Провозгласил остряк один:
Ильф — Салтыков,
Петров — Щедрин.

Надо сказать, что сатирики не так уж часто нападают друг на друга. Может быть, именно поэтому Ильф и Петров, по большому счету, остались "не охвачены" злыми пародиями и эпиграммами не только одесских, но и иных авторов. Не хотели шутить с огнем сатирики!

Сегодня, когда смещаются литературные и политические акценты, трудно говорить о лидирующем значении какого-либо писателя. Когда речь шла о Катаеве, он был назван самым известным из одесской плеяды авторов начала XX века. Сейчас книги Ильфа и Петрова, пожалуй, легко составят конкуренцию его произведениям, а с течением времени соавторы вполне могут стать более популярными, чем их "крестный отец".

С.И. Кирсанов относится к поэтам в некоторой степени недооцененным. Среди одесситов он пользуется известностью, скорее всего, благодаря авторству слов песни "У Черного моря". В свою очередь, и он сам попал в персонажи одесской пародийной песни:

...И Сеня Корчик. Он теперь Кирсанов.
Среди поэтов он в Москве как туз.
Родился он на улице Гаванной,
И только ростом вышел карапуз...

Московская жизнь Кирсанова нерасторжимым образом связана с изданием его стихов и бурным потоком пародий и эпиграмм в ответ на эти издания. В этот поток ручейком вливались сатирические миниатюры одесситов. М. Пустынин, обычно не щадивший даже земляков, "проехался" и по особенностям поэзии Кирсанова. Им написана масса пародий на поэта в составе циклов "Прибежали в избу дети", "Памятник Пушкину", "Стреляй

метко", "Сон Татьяны", "Открытие кафе при Доме печати" и др. Например, в его представлении сам Пушкин мог так отозваться о творчестве поэта:

Спустя сто лет
начну писать я заново,
В Семена
воплотятся
Кирсанова.

Одесситка старшего поколения В. Инбер, сочиняя стихотворный текст к шаржам Кукрыниксов "Литературный планетарий", не забыла про земляков и упомянула Кирсанова:

...небеса нам
Освещает Семен Кирсанов,
Играя огнями спектра.
Этот лит. метеорит
Падает и горит
Необычайно эффектно.

Инбер попала в самый нерв поэзии Кирсанова, упомянув о его эффектном горении. Многие, писавшие о работе поэта, сосредотачивали внимание на его поэтических исканиях в словотворчестве. Аноним, фактически отказывая Кирсанову в праве на эксперимент, назвал его стремление к новаторству иным термином:

У Кирсанова три качества:
Трюкачество, трюкачество
И еще раз трюкачество.

Люди, смотрящие более глубоко и более чутко понимающие природу поэтических открытий, оценивали Кирсанова иначе. Упомянувшийся уже А. Крученых предупреждал грядущих новаторов от литературы, что те новинки, которыми они желали бы прославиться, можно считать давно пройденным этапом творчества Кирсанова:

Взявши курс наново,
Наткнешься на Кирсанова.

Поэт не был оторван от действительности, он не замыкался в выдуманном им радужно-мозаичном мире; у него доставало мужества отстаивать право поэта на фантазию и поиск вопреки догматам политических и литературных бюрократов. В конце сложных 30-х годов он иронически писал о политике литвождей:

Всех раздemeянили.
Решения близкого
С трепетом жду оттуда,

Будут ли нас теперь обагрицковать
Или обЖаровать будут.

Свой взгляд на текущие проблемы в то время мог себе позволить далеко не каждый советский литератор, тем значимее была независимая позиция Кирсанова.

Сейчас, по прошествии многих лет, всматриваясь в фигуры, окружавшие будущих знаменитых писателей в Одессе их юности, кажется, что среди них было много случайных лиц. Это ощущение обманчиво и в корне не верно. Одесское поэтическое сообщество в целом создало необыкновенную атмосферу, располагающую к творчеству, к особому восприятию мира, к интересу к литературе во всех ее проявлениях. И неизвестно еще, кто оказал большее влияние на будущие таланты: общезначимые авторитеты или не знакомые широкой публике увлеченные литературой одесские юноши и девушки.

Среди них были те, кто впоследствии совсем забросил литературу, и те, для кого она стала смыслом жизни. Их имена не печатались крупными буквами и не мелькали на страницах прессы, но это не означало, что их литературная юность прошла бесследно. Они были той средой, без которой будущие титаны могли просто зачихнуть в непонимании, безразличии, пренебрежении...

Отношение к литературным мальчикам и девочкам было общее для того времени: от восхищения до насмешки. И если о Зинаиде Шишовой Ю. Олеша сказал: "Она талантливее всех нас", то существовавший рядом коллега, не назвавший своего имени, отозвался о ней прямо противоположным образом:

Стихов ее характеристика:
Скучища безмерная,
Безмерная мистика
И рифма прескверная.

К С. Бондарину относились с легкой насмешкой: "Бондарин — рифмами ударен...". Об интересном поэте С. Кессельмане (кстати, авторе эпиграмм и пародий) осталась весьма ядовитая сатира Э. Багрицкого, не имевшая, впрочем, к нему как к поэту никакого отношения:

Мне мама не дает ни водки, ни вина.
Она твердит: вино бросает в жар любовный;
Мой Сема должен быть как камень хладнокровный,
Мамашу слушаться и не кричать со сна.

Не совсем внятная эпиграмма была посвящена анонимом Б. Бобовичу:

Пускай вас злобный критик не порочит,
Ваш каждый стих в потомстве будет жить, —
Потомок ваш, конечно, не захочет
Бесцветных, вялых, скверных рифм простить.

Эпиграмма Аргена в форме шуточной эпитафии свидетельствовала о сохранении Бобовичем и в более поздние годы одесской склонности к шутке по любому поводу:

О мертвых неудобно говорить,
Лежит здесь прах Бобовича унылый.
Хоть в жизни порывался он острить,
Но пусть острит он лучше из могилы.

Очевидно, эпиграммы, посвященные не менее талантливым поэтам В. Бабаджану, А. Фиолетову, Д. Агатову и многим другим остались неизвестны читающей публике и не дошли до нашего времени. Свидетельством того, что увлечение литературой для одесской молодежи не было случайным, является появление мемуаров о том далеком времени. Среди авторов, вспоминавших юность, были В. Катаев, Ю. Олеша, Л. Славин, В. Инбер, С. Бондарин, З. Шишова, Б. Бобович, Г. Долинов, Т. Лишина и др.

Приведенные в этом коротком обзоре эпиграммы и пародии еще раз напоминают о славном для литературы времени, когда Одесса явилась родиной целого отряда выдающихся литераторов, о которых (вне зависимости от масштаба их талантов) забывать не следует в любые времена.

Пожалуй, не следует забывать (а при случае и выполнять) просьбу З. Шишовой — одной из одесских поэтесс, обращенную к друзьям юности:

У себя, на светлом юге,
Память к прошлому храня,
Вы бокал последний, други,
Подымайте за меня.

Будем же верны завещанию поэтессы...



"Городок" — пятый угол

Городские романсы

* * *

КОРРЕСПОНДЕНТ. Перед нами — гость из небольшого города Нафиганска господин Кукушкин. Однако он известен во всей нашей стране как автор Нафиганского экономического чуда. Расскажите, пожалуйста, нашим читателям, что это такое и как оно работает?

ГОСТЬ. Пожалуйста! У нас в городе Нафиганске уже 10 лет вообще ничего не работает, а город живет. Это и есть Нафиганское экономическое чудо!

* * *

Мэр и проверяющий из столицы у карты городка.

МЭР. В основном наш город, за исключением центра, состоит из одноэтажных бараков.

ГОСТЬ. А центр?

МЭР. Ну, центр! Центр — из пятиэтажных. А вот тут я живу.

ГОСТЬ. А, значит, это ваша вилла у озера? Видел, видел.

МЭР. Ну что вы, откуда у меня вилла? Вилла принадлежит моей жене.

ГОСТЬ. Ну да, ну да. (*Присматривается.*) Я смотрю, у вас тут иличный кинотеатр есть?

МЭР. Кто вам сказал? Это клевета! Кинотеатр тоже принадлежит моей жене!

Это еще цветочки

* * *

Мужчина выбирает цветы у продавца на улице.

МУЖЧИНА. Даже не знаю, какие выбрать. Мне нужны цветы для жены, у нас с ней сегодня серебряная свадьба — 25 лет совместной жизни.

ПРОДАВЕЦ. Поздравляю! Тогда бери вот этот букет. Видишь, какие шикарные бутоны? Возьмешь 25 штук — и жена 25 дней будет любить тебя, как после свадьбы!

Не совсем внятная эпиграмма была посвящена анонимом Б. Бобовичу:

Пускай вас злобный критик не порочит,
Ваш каждый стих в потомстве будет жить, —
Потомок ваш, конечно, не захочет
Бесцветных, вялых, скверных рифм простить.

Эпиграмма Аргена в форме шуточной эпитафии свидетельствовала о сохранении Бобовичем и в более поздние годы одесской склонности к шутке по любому поводу:

О мертвых неудобно говорить,
Лежит здесь прах Бобовича унылый.
Хоть в жизни порывался он острить,
Но пусть острит он лучше из могилы.

Очевидно, эпиграммы, посвященные не менее талантливым поэтам В. Бабаджану, А. Фиолетову, Д. Агатову и многим другим остались неизвестны читающей публике и не дошли до нашего времени. Свидетельством того, что увлечение литературой для одесской молодежи не было случайным, что юношеское поэтическое общение имело для них огромное значение, является появление мемуаров о том далеком времени. Среди авторов, вспоминавших юность, были В. Катаев, Ю. Олеша, Л. Славин, В. Инбер, С. Бондарин, З. Шишова, Б. Бобович, Г. Долинов, Т. Лишина и др.

Приведенные в этом коротком обзоре эпиграммы и пародии еще раз напоминают о славном для литературы времени, когда Одесса явилась родиной целого отряда выдающихся литераторов, о которых (вне зависимости от масштаба их талантов) забывать не следует в любые времена.

Пожалуй, не следует забывать (а при случае и выполнять) просьбу З. Шишовой — одной из одесских поэтесс, обращенную к друзьям юности:

У себя, на светлом юге,
Память к прошлому храня,
Вы бокал последний, други,
Подымайте за меня.

Будем же верны завещанию поэтессы...



"Городок" — пятый угол

Городские романсы

* * *

КОРРЕСПОНДЕНТ. Перед нами — гость из небольшого города Нафиганска господин Кукушкин. Однако он известен во всей нашей стране как автор Нафиганского экономического чуда. Расскажите, пожалуйста, нашим читателям, что это такое и как оно работает?

ГОСТЬ. Пожалуйста! У нас в городе Нафиганске уже 10 лет вообще ничего не работает, а город живет. Это и есть Нафиганское экономическое чудо!

* * *

Мэр и проверяющий из столицы у карты городка.

МЭР. В основном наш город, за исключением центра, состоит из одноэтажных бараков.

ГОСТЬ. А центр?

МЭР. Ну, центр! Центр — из пятиэтажных. А вот тут я живу.

ГОСТЬ. А, значит, это ваша вилла у озера? Видел, видел.

МЭР. Ну что вы, откуда у меня вилла? Вилла принадлежит моей жене.

ГОСТЬ. Ну да, ну да. (*Присматривается.*) Я смотрю, у вас тут иличный кинотеатр есть?

МЭР. Кто вам сказал? Это клевета! Кинотеатр тоже принадлежит моей жене!

Это еще цветочки

* * *

Мужчина выбирает цветы у продавца на улице.

МУЖЧИНА. Даже не знаю, какие выбрать. Мне нужны цветы для жены, у нас с ней сегодня серебряная свадьба — 25 лет совместной жизни.

ПРОДАВЕЦ. Поздравляю! Тогда бери вот этот букет. Видишь, какие шикарные бутоны? Возьмешь 25 штук — и жена 25 дней будет любить тебя, как после свадьбы!

МУЖЧИНА. Да? Тогда дайте мне один бутончик.
ПРОДАВЕЦ. Один? Почему один?
МУЖЧИНА. Думаю, один день я еще как-нибудь продержусь...

* * *

В цветочном парнике селекционного института аспирант ковыряется в земле. Подходит профессор.

ПРОФЕССОР. Аспирант Гулькин? Уж не ждал вас здесь увидеть. Третий год аспирантуры заканчивается, а результатов никаких.

АСПИРАНТ. Обижаете, профессор. Я, между прочим, путем сложнейшей селекции вывел новый сорт роз.

ПРОФЕССОР. Между прочим? Кто бы мог подумать... Интересно, и как вы его решили назвать?

АСПИРАНТ. А я его так и назвал: "Третий".

ПРОФЕССОР. Третий? Ха-ха, забавно! В честь третьего года аспирантуры?

АСПИРАНТ. Почти. Вот! *(Показывает несколько цветочков.)* Будет называться: "Роза. Третий сорт". Голландия отдыхает!

* * *

Жена гадает на ромашке. Рядом муж.

ЖЕНА. Любит. Не любит. Любит. Не любит.

Входит муж.

МУЖ. Дорогая, что ты делаешь?

ЖЕНА. Не мешай. Любит, не любит, любит, не любит, любит...

МУЖ. Птичка моя, не понимаю, чем ты занимаешься?

ЖЕНА. Что ж тут непонятного? Я гадаю. Не мешай! Любит, не любит...

МУЖ. Так вот я и не понимаю, зачем ты потратила деньги на эти цветы, а теперь еще и попусту тратишь время, когда и так давно известно, что твой козлик тебя любит!

ЖЕНА. Господи, ты-то здесь причем? Не мешай! Любит. Не любит. Любит. Не любит...

А еще культурные люди...

* * *

По улице идет мужчина. Вдруг возле него падает и разбивается пустая бутылка.

МУЖЧИНА. Вот культура... *(Смотрит вверх и видит пьяную рожу на балконе.)* Эй! Вы что?! Вы же могли попасть мне в голову!

ПЬЯНИЦА *(грустно)*. Неа, не мог. Я уже по третьему мужику промахиваюсь...

* * *

Культуролог беседует с простым мужиком.

КУЛЬТУРОЛОГ. Мне как специалисту по культуре любопытно проверить одно свое наблюдение: вот вам лично что ближе — кино, театр, литература, живопись?

МУЖИК. Мне? Ну, мне ближе всего театр.

КУЛЬТУРОЛОГ. Театр?! Однако... Значит, я ошибался. Я, честно говоря, был уверен, что как раз вам ближе кино.

МУЖИК. Не-е, театр мне гораздо ближе, что вы! Кино от меня — три остановки ехать, а театр — прямо за углом!

* * *

Начальник распекает подчиненного.

НАЧАЛЬНИК. Я как новый начальник управления культуры намерен полностью сменить кадры. Вы же пооформляли тут черт знает кого! Какие-то безграмотные необразованные люди! А нам нужны специалисты, настоящие профессионалы, понятно?

ПОДЧИНЕННЫЙ. Так оно это... трудно к нам прохвессиналов набрать. Но я справился, во! *(Кладет на стол начальника бумагу.)* Тут и хвамили, и прохвессии.

НАЧАЛЬНИК. О-о, да вы и сами... *(Смотрит в бумагу.)* Ужас какой-то... Вы же работник управления культуры! Как же можно так написать — "культуролоХ"? Надо писать "Г", а не "Х"! Это вопиющая ошибка!

ПОДЧИНЕННЫЙ. Да ну, какая ошибка, Андрей Сергееч? Нету никакой ошибки. На такую зарплату, как у нас, может пойти только лох. Поэтому тут у нас их целый список: культуроло-ЛОХ, психо-ЛОХ, археоло-ЛОХ, фило-ЛОХ...

* * *

В костюмерную входит директор театра. Там костюмер.

ДИРЕКТОР. Сидоров, на вас опять жалоба. Артист Шпендриков жалуется, что вы пошили ему костюм слишком маленького размера.

КОСТЮМЕР. А я вам говорю, что этот Шпендриков о себе слишком большого мнения.

ДИРЕКТОР. Может, Шпендриков и не выдающийся артист, но он жалуется, что костюм ему мал! Он все время боится оказаться в глупом положении во время спектакля! Во время спектакля (*смотрит в жалобу*) "Адам любит Еву".

КОСТЮМЕР. А я считаю, что для роли Адама я ему как раз пошил костюм слишком большого размера! Вот! (*Показывает фиговый листок.*) Видите? Я же сказал — этот Шпендриков о себе слишком большого мнения!

У психотерапевта

* * *

ДОКТОР. Так, главное найти первопричину вашей проблемы. Что вас волнует? Я вас слушаю.

ПАЦИЕНТ. Раньше меня волновали зеленые человечки. Я имею в виду инопланетян. Они ко мне во сне приходили и спать не давали. Но потом товарищ мне посоветовал перед сном выпивать бутылку вина — и все.

ДОКТОР. Что, пропали зеленые человечки?

ПАЦИЕНТ. Начисто пропали. Стали приходить синие.

* * *

ДОКТОР. А в молодости какого-нибудь шока у вас не было? Потрясения какого-нибудь?

ПАЦИЕНТ. Как вы догадались?! Не хочу вспоминать. Не хочу! (*Закрывается руками.*) Не надо!

ДОКТОР. Так-так-так, говорите. Это очень важно!

ПАЦИЕНТ. Пошел я как-то с девушкой на фильм Хичкока. Билетов не было, еле достал ей в первом ряду, себе в тридцатом. Помню, тишина гробовая, зал оцепенел от страха. И зачем я полез к ней целоваться?..

ДОКТОР. Она испугалась?

ПАЦИЕНТ. Не знаю. Я долез только до третьего ряда...

* * *

ДОКТОР. Может быть, у вас есть какие-нибудь навязчивые идеи?

ПАЦИЕНТ. Вообще-то есть одна, навязчивая такая, сумасшедшая даже... Я хочу продать свою квартиру и купить какой-нибудь английский футбольный клуб.

ДОКТОР. Что же тут сумасшедшего? Идея вполне разумная. Я думаю, через пару лет вы вполне сможете ее реализовать.

ПАЦИЕНТ. Правда?! Вы думаете, что скоро у них клубы так подешевеют?

ДОКТОР. Нет, я думаю, скоро у нас квартиры так подорожают...



ПУТЕШЕСТВИЕ

Феликс КОХРИХТ
Проснуться в Иерусалиме... 325

Феликс КОХРИХТ

Проснуться в Иерусалиме...

Существует туристский штамп: "Вы находитесь в самом сердце города...". И далее — по путеводителю: "В Пражском Граде, на Бродвее, на площади Тяньяньмынь, на Дерибасовской...".

Если речь идет об Иерусалиме, то нам особенно повезло — мы жили на улице Бейт Эл, что у Сионских ворот. Отсюда веером расходятся Еврейский, Армянский, Арабский кварталы Старого города.

Мы привезли в Иерусалим необычную для этих засушливых мест неделю холодного весеннего дождя. Это обрадовало местных жителей, но нам приходилось туга под зонтиками, мешающими в узких улочках и оставляющими лужи в музеях и храмах...

Лишь однажды — ранним утром — выглянуло солнце, ветер разогнал тучи, напоминающие булгаковские ("Тьма, пришедшая со Средиземного моря..."), я распахнул окно и сделал снимок, на котором запечатлелись храмы трех религий, родившихся в Вечном городе. Справа — фрагмент арки над мемориалом — синагогой Хурва, разрушенной иорданцами в 1948 году. Вдали — колокольня католической церкви. Слева — минарет.

На Сионской горе — святыни, к которым тянутся верующие со всего мира. У гробницы основателя Иерусалима царя Давида в этот день молились паломники — иудеи из Дели — в индийских национальных костюмах, но в кипах. Царь — воин и псалмопевец — был и ценителем женской красоты, и видным мужчиной, что и запечатлел Микеланджело в статуе, считающейся и сегодня эталоном мужской стати.

По соседству — Сенакулум, дом горожанина, пригласившего Иисуса с учениками на пасхальную трапезу, которой суждено было стать Тайной вечерей... Отсюда — через Арабский рынок — можно пройти к Масличной горе. Здесь соседствуют старейшее в мире еврейское кладбище и Гефсиманский сад, где сохранилась олива (и сегодня это дерево покрыто листвою), под которой Иисус провел последнюю ночь после Тайной вечери — перед арестом...

...Для того чтобы обойти Старый город по периметру крепостной стены потребуется всего несколько часов. Но и несколько тысячелетий...

Несколько фрагментов из рифмованного путевого дневника.

* * *

Иерусалим встречает нас дождем...
Затянуты тучами дивные дали...
— Для урожая это — хорошо,
А вас, извините, не ждали...

* * *

Проснуться в Иерусалиме,
Проснуться в городе Вечном.
Язык не поворачивается,
Цепенеют конечности...

* * *

Выпьем, бедная старушка —
Старожилка этих мест...
Выпьем молча...
Где же кружка,
Могеновед, полумесяц, крест?..

* * *

Весело резвиться на Масличной горе
Козочкам послушным, арабской детворе.

* * *

Иерусалимские коты...
Глаза видны за три версты...
Не сладка в Вечном городе
Жизнь кошачья...
Я попросил для них еды
Под Стеною Плача...

* * *

На остановке Конечной,
Что у Сионских ворот,
Который уж век

Жид, конечно же, вечный
Автобуса вечного ждет...

* * *

Во Флоренции стоит
Необрезанный Давид...
Царский член его укрыт
Нежной крайней плотью:
Дрогнула в тот день рука
У М. Буонаротти...

* * *

Цари Иудейские —
Все, как один, —
Повесы и женолюбы —
Держали в готовности
Номер один
Иерихонские трубы!

* * *

Толкователь Торы —
Худосочный ребе...
Отслужил в спецназе,
Что штурмовал Энтебе*,
Мозг — сродни компьютеру,
Печальные очи...
Наш Вергилий по террасам
Ерушалаимской ночи...

* * *

Железная поступь, красный подбой,
Чистые руки, ума палата...
Читая Булгакова, мается тень
Римского консула П. Пилата...

* Аэропорт в Африке, где террористы удерживали захваченный самолет с израильянами.

Не для каждого, не для всякого —
Для Авраама, Исаака, Иакова —
Построена эта громада
Дивного Вертограда —
Вечного Детского сада.
Здесь изучают Тору
И кушают манную кашу
Абраша, Изя и Яша —
В вечном Иерусалиме.
А вы — нехорошие дети —
Скорей проходите мимо!
Воздастся вам все одинаково —
Дразнившим и обижавшим
Авраама, Исаака, Иакова!

Одесса — Иерусалим
Фото автора



ИЗДАНО . . .

Феликс КОХРИХТ
"Королевское лето" 330

Евгений ГОЛУБОВСКИЙ
Книжная полка Одессы 331

Олег ГУБАРЬ
Рождение Одессы
в контексте европейской истории 335

"Королевское лето" (с)



Ефим ЯРОШЕВСКИЙ
Королевское лето
Одесса, 2005

Частица (с) отсутствует в названии книги, недавно увидевшей свет в издательстве "Печатный двор". Под ее обложкой — практически все, написанное Ефимом Ярошевским, и многое из нарисованного на полях рукописей за всю его сознательную жизнь. Сознательную — от глагола повелительного наклонения: "СознавайтеСЫ!".

Кто из современников автора не вздрагивал от грозного и не терпящего увиливания оклика?! И стихи, и проза Ефима — и есть со знанка, поток признаний, перманентная отчетность, то, что некоторые неосторожно и высокопарно именуют исповедью... Впрочем, и здесь — частица (с) — фирменный знак романа "Провинциальный (с)". Стеснение и некий вызов талантливого разночинца...

Мне довелось читать его на листочках, исписанных витиеватым почерком автора, слышать, как он декламирует новые главы на посиделках в приюте одесской богемы — у тех, кого Ефим зашифровал в романе — у Шурика (Рихтера), вывел под собственными фамилиями — у Валика Хруща. Заходил ассиробородый Саша Ануфриев, забегала хлопотливая Галя Маркелова...

На презентации книги в Литературном музее она не стала читать своих ранних стихов (а ведь я ее упрашивал!), а присоединила свой голос к тем, кто уверен: выход книги Ярошевского, "может быть, самое заметное из незаметных литературных событий...". Это — из статьи Бориса Херсонского по поводу издания в 1999 году "Провинциального романа (с)" в Нью-Йорке — она входит в новый сборник, как и заметки других рецензентов. Действительно, и почти шесть лет спустя еще одно "заметное-незаметное-заметное" событие собрало практически всех, кто остался в Одессе, кто еще не попал в мартиролог "Люди, вышедшие из обихода", который, судя по всему, так ведет Ефим в своей вечерней школе...

Это уже — из раздела "Лето и ливни", имеющего подзаголовок "Вторая проза". Подобно многим нашим впечатлительным землякам Ефим имеет склонность к постмодерну, и его произведения — сущее лакомство для нас, вздрагивающих, услышав: "Бессонница. Гомер", но есть в его прозе и стихах и подлинное чувство, и выстраданное, и продуманное, и беспощадность к себе, и любовь к немногим...

Откуда же взялось название сборника, в котором — лучшее, что написал Ярошевский? Фраза взята им из новеллки "Сиеста": "Итак, лето. Великое, поистине королевское лето 1952 года. Десятый класс..."

Многим его нынешним читательницам трудно даже представить себе это время, а автор между тем не меняется: "Он читал новые стихи и прозу. Среди внимавших Ефиму были и растроганные шестидесятники, и восхищенные барышни, в сторону которых бенефициант то и дело косил своим выразительным глазом". Цитата — из моих заметок, увы, минувшего 2000 года, но и сегодня, в новом, XXI веке, все повторилось...

Феликс КОХРИХТ

Книжная полка Одессы



Все чаще убеждаешься, что мир из года в год становится маленьким, а Одесса — большой. Может, поэтому на всех континентах выходят книги о жизни города — исторические исследования, воспоминания, стихи и проза.

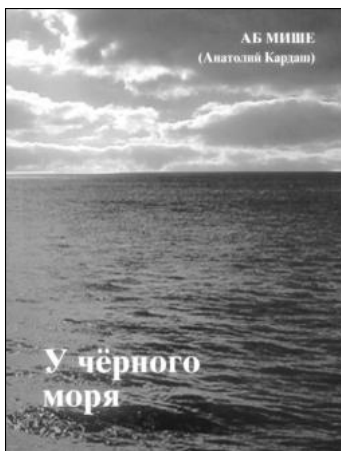
Итак, книги об Одессе, изданные вдали от нашего города.

А. и М. БЕККЕР
Одесса — "крестные родители"
Нью-Йорк, 2004

Авторы книги, а это своеобразная история Одессы, пишут: "Мы старались в хронологическом порядке назвать имена людей — "крестных родителей", оставивших нам такой прекрасный город в наследство. Мы считаем необходимым назвать по возможности всех поименно, ибо они заслужили не быть забытыми, как "забыты" отцы нашего города после прихода советской власти в Одессу..."

И биография за биографией оживают на страницах книги не только Екатерина II, дюк де Ришелье, де Рибас, де Волан, М.С. Воронцов, И.Н. Инзов, но и совсем забытые герои — основатели нашего города, так же как градоначальник Д.С. Дестуни, городские головы А.Ф. Железцов, Л.С. Портнов, И.П. Амвросий, И. Андросов и С. Андросов.

В книге приведена хронология событий в нашем городе, в основном касающихся строительства, мореходства. Открываешь любой год — и узнаешь этапы строительства Одессы. К примеру... 1888 год. В Одессе предприниматель И.Л. Лазариди построил модернизированную мельницу. И это один штрих биографии нашего города.



АБ МИШЕ (Анатолий КАРДАШ)
У Черного моря
Иерусалим, 2004

Две цитаты. Одна принадлежит автору книги Анатолию Кардашу: "У Черного моря — полудokument-полувыдумка. В этой книге одесские евреи — вся община и отдельная семья, их судьба и война, расцвет и увядание, страх, смех, горечь и надежда... Книга родилась из желания воздать должное тем, кто выручал евреев в смертельную для них пору оккупации... И слово писателя Рафаила

Нудельмана: "Читаю "У Черного моря" и все время безумно боюсь, что большинство читателей не заметит, мимо какого замечательного писателя они прошли, увлеченные и потрясенные документами, показаниями, кровью и муками..."

Боязнь Р. Нудельмана не оправдалась. Только что, в этом году, в апреле, Анатолий Кардаш был в Одессе, во Всемирном клубе одесситов, он встречался со своими читателями — и слова признания тонкому стилисту, умному автору звучали и звучали от тех, кто прочел главы из книги в газете "Ор Самеах", в альманахе "Мория".



Марк ТАЛОВ
Воспоминания, стихи переводы
Москва — Париж, 2005

Известный французский критик и собиратель русской литературы, вышедшей в эмиграции, Рене Герра пишет в предисловии: "Странно и парадоксально жестока, грустна судьба поэта и переводчика Марка Талова, успевшего стать видной литературной фигурой "русского Монпарнаса" в самом начале 20-х годов, на самой заре первой русской эмиграции. В декабре 1913 года он вышел из поезда на парижском Восточном вокзале — без денег, без документов, без знания языка... Уехав в 1922 году из Парижа

признанным русским и французским поэтом, за 46 лет в Советском Союзе он смог опубликовать лишь одно свое стихотворение".

Когда-то в "Комсомольской искре" я опубликовал портрет М. Талова работы Амадео Модильяни. Затем в Одессе вышли в газетах несколько его стихов. И вновь — долгое молчание.

А воспоминания Талова начинаются так: "Я родился в Одессе 1 (13) марта 1892 года в семье столяра. Всего в семье было семеро детей. Мы жили на Молдаванке, в доме Базили, занимавшем целый квартал...". Благодаря поискам краеведа А. Розебойма мы можем указать его нынешний адрес: Колонтаевская, дом 2.

Не пора ли подумать о том, что этому поэту тонкой парижской ноты давно пришел черед поставить мемориальную доску у нас в городе?

"Королевское лето" (с)



Ефим ЯРОШЕВСКИЙ
Королевское лето
Одесса, 2005

Частица (с) отсутствует в названии книги, недавно увидевшей свет в издательстве "Печатный двор". Под ее обложкой — практически все, написанное Ефимом Ярошевским, и многое из нарисованного на полях рукописей за всю его сознательную жизнь. Сознательную — от глагола повелительного наклонения: "СознавайтеСЫ!".

Кто из современников автора не вздрагивал от грозного и не терпящего увиливания оклика?! И стихи, и проза Ефима — и есть со знанка, поток признаний, перманентная отчетность, то, что некоторые неосторожно и высокопарно именуют исповедью... Впрочем, и здесь — частица (с) — фирменный знак романа "Провинциальный (с)". Стеснение и некий вызов талантливого разночинца...

Мне довелось читать его на листочках, исписанных витиеватым почерком автора, слышать, как он декламирует новые главы на посиделках в приюте одесской богемы — у тех, кого Ефим зашифровал в романе — у Шурика (Рихтера), вывел под собственными фамилиями — у Валика Хруща. Заходил ассиробородый Саша Ануфриев, забегала хлопотливая Галя Маркелова...

На презентации книги в Литературном музее она не стала читать своих ранних стихов (а ведь я ее упрашивал!), а присоединила свой голос к тем, кто уверен: выход книги Ярошевского, "может быть, самое заметное из незаметных литературных событий...". Это — из статьи Бориса Херсонского по поводу издания в 1999 году "Провинциального романа (с)" в Нью-Йорке — она входит в новый сборник, как и заметки других рецензентов. Действительно, и почти шесть лет спустя еще одно "заметное-незаметное-заметное" событие собрало практически всех, кто остался в Одессе, кто еще не попал в мартиролог "Люди, вышедшие из обихода", который, судя по всему, так ведет Ефим в своей вечерней школе...

Это уже — из раздела "Лето и ливни", имеющего подзаголовок "Вторая проза". Подобно многим нашим впечатлительным землякам Ефим имеет склонность к постмодерну, и его произведения — сущее лакомство для нас, вздрагивающих, услышав: "Бессонница. Гомер", но есть в его прозе и стихах и подлинное чувство, и выстраданное, и продуманное, и беспощадность к себе, и любовь к немногим...

Откуда же взялось название сборника, в котором — лучшее, что написал Ярошевский? Фраза взята им из новеллки "Сиеста": "Итак, лето. Великое, поистине королевское лето 1952 года. Десятый класс..."

Многим его нынешним читательницам трудно даже представить себе это время, а автор между тем не меняется: "Он читал новые стихи и прозу. Среди внимавших Ефиму были и растроганные шестидесятники, и восхищенные барышни, в сторону которых бенефициант то и дело косил своим выразительным глазом". Цитата — из моих заметок, увы, минувшего 2000 года, но и сегодня, в новом, XXI веке, все повторилось...

Феликс КОХРИХТ

Книжная полка Одессы



Все чаще убеждаешься, что мир из года в год становится маленьким, а Одесса — большой. Может, поэтому на всех континентах выходят книги о жизни города — исторические исследования, воспоминания, стихи и проза.

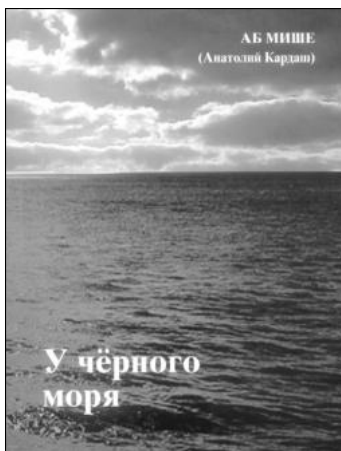
Итак, книги об Одессе, изданные вдали от нашего города.

А. и М. БЕККЕР
Одесса — "крестные родители"
Нью-Йорк, 2004

Авторы книги, а это своеобразная история Одессы, пишут: "Мы старались в хронологическом порядке назвать имена людей — "крестных родителей", оставивших нам такой прекрасный город в наследство. Мы считаем необходимым назвать по возможности всех поименно, ибо они заслужили не быть забытыми, как "забыты" отцы нашего города после прихода советской власти в Одессу..."

И биография за биографией оживают на страницах книги не только Екатерина II, дюк де Ришелье, де Рибас, де Волан, М.С. Воронцов, И.Н. Инзов, но и совсем забытые герои — основатели нашего города, так же как градоначальник Д.С. Дестуни, городские головы А.Ф. Железцов, Л.С. Портнов, И.П. Амвросий, И. Андросов и С. Андросов.

В книге приведена хронология событий в нашем городе, в основном касающихся строительства, мореходства. Открываешь любой год — и узнаешь этапы строительства Одессы. К примеру... 1888 год. В Одессе предприниматель И.Л. Лазариди построил модернизированную мельницу. И это один штрих биографии нашего города.



АБ МИШЕ (Анатолий КАРДАШ)
У Черного моря
Иерусалим, 2004

Две цитаты. Одна принадлежит автору книги Анатолию Кардашу: "У Черного моря — полудokument-полувыдумка. В этой книге одесские евреи — вся община и отдельная семья, их судьба и война, расцвет и увядание, страх, смех, горечь и надежда... Книга родилась из желания воздать должное тем, кто выручал евреев в смертельную для них пору оккупации... И слово писателя Рафаила

Нудельмана: "Читаю "У Черного моря" и все время безумно боюсь, что большинство читателей не заметит, мимо какого замечательного писателя они прошли, увлеченные и потрясенные документами, показаниями, кровью и муками..."

Боязнь Р. Нудельмана не оправдалась. Только что, в этом году, в апреле, Анатолий Кардаш был в Одессе, во Всемирном клубе одесситов, он встречался со своими читателями — и слова признания тонкому стилисту, умному автору звучали и звучали от тех, кто прочел главы из книги в газете "Ор Самеах", в альманахе "Мория".



Марк ТАЛОВ
Воспоминания, стихи переводы
Москва — Париж, 2005

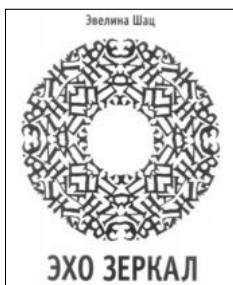
Известный французский критик и собиратель русской литературы, вышедшей в эмиграции, Рене Герра пишет в предисловии: "Странно и парадоксально жестока, грустна судьба поэта и переводчика Марка Талова, успевшего стать видной литературной фигурой "русского Монпарнаса" в самом начале 20-х годов, на самой заре первой русской эмиграции. В декабре 1913 года он вышел из поезда на парижском Восточном вокзале — без денег, без документов, без знания языка... Уехав в 1922 году из Парижа признанным русским и французским поэтом, за 46 лет в Советском

Союзе он смог опубликовать лишь одно свое стихотворение".

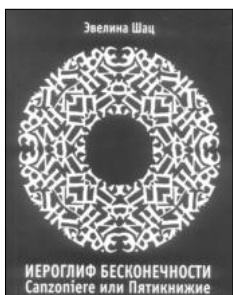
Когда-то в "Комсомольской искре" я опубликовал портрет М. Талова работы Амадео Модильяни. Затем в Одессе вышли в газетах несколько его стихов. И вновь — долгое молчание.

А воспоминания Талова начинаются так: "Я родился в Одессе 1 (13) марта 1892 года в семье столяра. Всего в семье было семеро детей. Мы жили на Молдаванке, в доме Базили, занимавшем целый квартал...". Благодаря поискам краеведа А. Розебойма мы можем указать его нынешний адрес: Колонтаевская, дом 2.

Не пора ли подумать о том, что этому поэту тонкой парижской ноты давно пришел черед поставить мемориальную доску у нас в городе?



Эвелина ШАЦ
Эхо зеркал
Москва, 2005



Эвелина ШАЦ
Иероглиф бесконечности, Canzoniere, или Пятикнижие
Москва, 2005



Алла ГОЛОВАНОВА, Вера КАЛМЫКОВА, Геннадий КУЛАКИН.
Археология поэта. Словарь образов Эвелины Шац
Милан — Москва, 2005

Эвелина Шац — одесситка. Но признание как к поэту, художнику, эссеисту к ней пришло в Италии. Она пишет на русском и итальянском, хоть могла бы писать и на многих европейских языках. Множество ее книг вышли в Милане. И вот, наконец, в Москве издан большой двухтомник ее творений, пользуясь термином В. Хлебникова, так любимого ею.

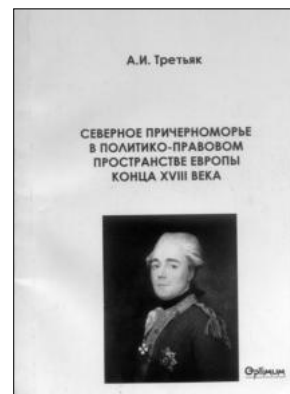
Она дружила с И. Бродским, дружит с Е. Рейном, помогала в постановке на сцене Ла Скала Ю. Любимову. Ее дом в Милане был частью Москвы, перенесенной в Италию. Но и частью Одессы, где картины южнорусской школы соседствовали с акварелями Олега Соколова, где ощущалась бесконечность иероглифа Большой Арнаутской и Белинского. Кстати, Эвелина Шац написала тонкую поэму, изящную и мудрую, об одесской гостинице "Лондонская".

Сейчас литературоведы исследуют ее иероглифы. Выдающийся русский литературовед и лингвист Михаил Гаспаров, оценивая работу своих коллег, пишет: "Составители взяли корпус стихов одного поэта... Это материал для науки. И это материал для непосредственного художественного восприятия: эти короткие, по несколько строк, фрагменты множества стихотворений воспринимаются как концентрат поэтического стиля".

И вновь вернемся в Одессу. Нет пророков в своем отечестве. До сих пор здесь не издана ни одна из многочисленных книг Эвелины Шац. А это обедняет наше представление о звучании Одессы в мировой цивилизации.

Евгений ГОЛУБОВСКИЙ

Рождение Одессы в контексте европейской истории



Александр ТРЕТЬЯК
Северное Причерноморье
в политико-правовом пространстве Европы
конца XVIII века
Одесса, "Optimum", 2004

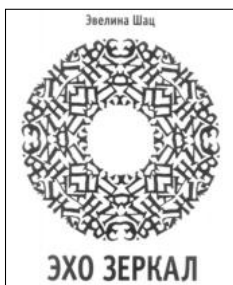
Постоянный автор нашего альманаха, талантливый историк Александр Иванович Третьяк, выпустил в свет солидную академическую монографию "Северное Причерноморье в политико-правовом пространстве Европы конца XVIII века": Одесса. "Optimum", 2004, 176 с.

Книга представляет малоисследованный период ликвидации Крымского ханства и присоединения к России обширных территорий Северного Причерноморья в контексте политической истории Европы. Систематизировав и включив в научный оборот широкий круг архивных и печатных материалов, автор воссоздал и продемонстрировал механизм перехода "Дикого Поля" в пространство цивилизованного мира и возникновение предпосылок превращения этого колоссального региона в житницу Европы.

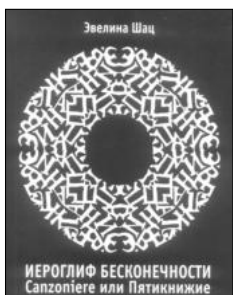
Профессиональные историки, студенты, любители истории найдут в этой монографии не только полезную, но и занимательную информацию, касающуюся, скажем, обстоятельств русско-турецкой кампании 1787-1791 годов и так называемого "Очаковского кризиса", подписания Ясского мирного трактата, европейских политических интриг, деятельности известных персоналий — Екатерины II, С.Р. Воронцова, Г.А. Потемкина, И.М. Дерибаса, Ф.П. Деволана, П.А. Зубова и др. Крайне интересны и материалы, связанные непосредственно с ранней историей Одессы — например, развенчание мифа о будто бы исключительной финансовой поддержке нарождающегося города правительством.

Остается поздравить А.И. Третьяка с творческой удачей, пожелать ему дальнейших успехов и выразить надежду, что читатели альманаха еще не раз с удовольствием прочтут его новые очерки.

Олег ГУБАРЬ



Эвелина ШАЦ
Эхо зеркал
Москва, 2005



Эвелина ШАЦ
Иероглиф бесконечности, Canzoniere, или Пятикнижие
Москва, 2005



Алла ГОЛОВАНОВА, Вера КАЛМЫКОВА, Геннадий КУЛАКИН.
Археология поэта. Словарь образов Эвелины Шац
Милан — Москва, 2005

Эвелина Шац — одесситка. Но признание как к поэту, художнику, эссеисту к ней пришло в Италии. Она пишет на русском и итальянском, хоть могла бы писать и на многих европейских языках. Множество ее книг вышли в Милане. И вот, наконец, в Москве издан большой двухтомник ее творений, пользуясь термином В. Хлебникова, так любимого ею.

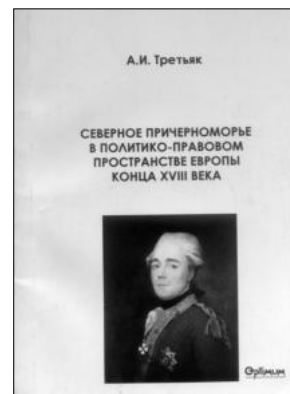
Она дружила с И. Бродским, дружит с Е. Рейном, помогала в постановке на сцене Ла Скала Ю. Любимову. Ее дом в Милане был частью Москвы, перенесенной в Италию. Но и частью Одессы, где картины южнорусской школы соседствовали с акварелями Олега Соколова, где ощущалась бесконечность иероглифа Большой Арнаутской и Белинского. Кстати, Эвелина Шац написала тонкую поэму, изящную и мудрую, об одесской гостинице "Лондонская".

Сейчас литературоведы исследуют ее иероглифы. Выдающийся русский литературовед и лингвист Михаил Гаспаров, оценивая работу своих коллег, пишет: "Составители взяли корпус стихов одного поэта... Это материал для науки. И это материал для непосредственного художественного восприятия: эти короткие, по несколько строк, фрагменты множества стихотворений воспринимаются как концентрат поэтического стиля".

И вновь вернемся в Одессу. Нет пророков в своем отечестве. До сих пор здесь не издана ни одна из многочисленных книг Эвелины Шац. А это обедняет наше представление о звучании Одессы в мировой цивилизации.

Евгений ГОЛУБОВСКИЙ

Рождение Одессы в контексте европейской истории



Александр ТРЕТЬЯК
Северное Причерноморье
в политико-правовом пространстве Европы
конца XVIII века
Одесса, "Optimum", 2004

Постоянный автор нашего альманаха, талантливый историк Александр Иванович Третьяк, выпустил в свет солидную академическую монографию "Северное Причерноморье в политико-правовом пространстве Европы конца XVIII века": Одесса. "Optimum", 2004, 176 с.

Книга представляет малоисследованный период ликвидации Крымского ханства и присоединения к России обширных территорий Северного Причерноморья в контексте политической истории Европы. Систематизировав и включив в научный оборот широкий круг архивных и печатных материалов, автор воссоздал и продемонстрировал механизм перехода "Дикого Поля" в пространство цивилизованного мира и возникновение предпосылок превращения этого колоссального региона в житницу Европы.

Профессиональные историки, студенты, любители истории найдут в этой монографии не только полезную, но и занимательную информацию, касающуюся, скажем, обстоятельств русско-турецкой кампании 1787-1791 годов и так называемого "Очаковского кризиса", подписания Ясского мирного трактата, европейских политических интриг, деятельности известных персоналий — Екатерины II, С.Р. Воронцова, Г.А. Потемкина, И.М. Дерибаса, Ф.П. Деволана, П.А. Зубова и др. Крайне интересны и материалы, связанные непосредственно с ранней историей Одессы — например, развенчание мифа о будто бы исключительной финансовой поддержке нарождающегося города правительством.

Остается поздравить А.И. Третьяка с творческой удачей, пожелать ему дальнейших успехов и выразить надежду, что читатели альманаха еще не раз с удовольствием прочтут его новые очерки.

Олег ГУБАРЬ

Содержание

От редакции 3

ИСТОРИЯ, КРАЕВЕДЕНИЕ

Виктор ФЕЛЬДМАН
**Фонд А.Г. Строганова
в Научной библиотеке Одесского национального университета
им. И.И. Мечникова** 6

Мирон БЕЛЬСКИЙ
"Бой цветов", "Одесский листок" и Василий Навроцкий 15

Олег ГУБАРЬ
Приморский бульвар, № 3 25

60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
Михаил КАЧУР
17 мемуаров о войне 39

Михаил ПОЙЗНЕР
Формула Булаха 61

Глеб БУЛАХ
Арест. Тюрьма. Допросы 63

Евгений ЧЕРНОИВАНЕНКО
Слова, слова, слова... 71

ПРОЗА

Михаил ЖВАНЕЦКИЙ
Помолчим 80

Аркадий ЛЬВОВ
Жора-профессор 82

Валерий ХАИТ
Мы были тогда молодыми... 93

Игорь БОЖКО
Любовь и гвозди 102

Сергей ШАМАНОВ
Стучащий 143

Сергей ЧЕТВЕРТКОВ
Скорбь и теснота 159

Татьяна СОКУР
Театральное межсезонье 176

ПОЭЗИЯ

Илья РЕЙДЕРМАН
У моря жить, у моря умереть... 181

Анатолий ГЛУЩАК
Вірші без назв 188

Анатолий ГЛАНЦ
Вот такой я теперь... 196

Ирина БЕНЬКОВСКАЯ
Гавана 206

Алена ЩЕРБАКОВА
В сторону -от- 209

Алена БЕЛЯКОВА
Звезда 213

ЖИЗНЬ – ИСКУССТВО – ЖИЗНЬ

Михаил ИЛЬВЕС
Лидия и Матисс 216

Владимир МИНЕНКО
Седнев 227

К 70-ЛЕТИЮ ИОСИФА ОСТРОВСКОГО
Евгений ГОЛУБОВСКИЙ
Свет души 238

Марк СОКОЛЯНСКИЙ
"Денно, ночью, вечно..." 239

Валентина ГОЛУБОВСКАЯ
Последняя встреча 245

Белла ВЕРНИКОВА
Работа нуждается в споре и согласии 247

ПУБЛИКАЦИИ

Баронесса Ольга ШВАХГЕЙМ-ДОКС
"Я хотела бы разделить с тобой
мою прекрасную молодость..." 252
Публикация Нелли ЗОЛОТАРЕВОЙ

НАШИ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ

Татьяна ЩУРОВА
"Ушла... ушли... ушло..." 285

АХ, ОДЕССА

Михаил ПОЙЗНЕР
...И в том строю есть промежуток малый... 295

Михаил ЛАНДЕР
Тетя Клава 298

Аркадий ВАЙНЕР, Эдуард КУЗНЕЦОВ
Стрельба стихами 301

Владимир ТРУХНИН, Ирина ПОЛТОРАК
"Городок" – пятый угол 319

ПУТЕШЕСТВИЕ

Феликс КОХРИХТ
Проснуться в Иерусалиме... 325

ИЗДАНО...

Феликс КОХРИХТ
"Королевское лето" 330

Евгений ГОЛУБОВСКИЙ
Книжная полка Одессы 331

Олег ГУБАРЬ
Рождение Одессы в контексте европейской истории 335

Литературно-художественное издание

ДЕРИБАСОВСКАЯ — РИШЕЛЬЕВСКАЯ

Одесский альманах

Книга 21

DERIBASOVSKAYA — RISHELIEVSKAYA

Odessa almanac

Book 21

Издается с 2000 года

**Технический редактор Андрей Вишненко
Корректор Татьяна Коциевская**

**Оригинал-макет, верстка
ТИА "Вікна-Одеса"
Тел. 23-13-60**

**Подписано в печать хх.хх.2005.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Формат 60х84/16
Физ. печ. л. 20,75. Усл. печ. л. 19,2
Зак. № 2. Тираж 500 экз.**

www.odessitclub.org

**Отпечатано в типографии издательства "ВМВ"
Свидетельство ДК № 225 от 25.12.2000.
65053 Одесса, прт. Добровольского, 82-а
Тел. 52-22-03**